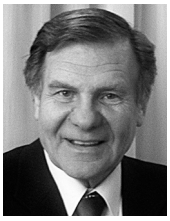
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД

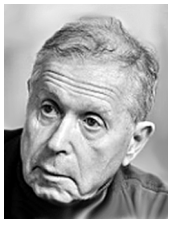
NIZHNY NOVGOROD 4(21)/2018

Юрий БУЙДА
Москва
4

Игорь Чурдалёв
Нижний Новгород
63



Александр БОБРОВ
Москва
68



Юрий РЯШЕНЦЕВ
Москва
72

Олег МАКОША
Нижний Новгород
135

Олег РЯБОВ
Нижний Новгород
144

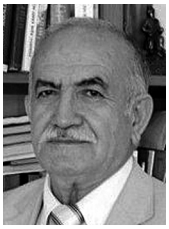
Евгений ЭРАСТОВ
Нижний Новгород
149

Андрей ДМИТРИЕВ
Нижний Новгород
154

Олег ЗАХАРОВ
Кстово
161

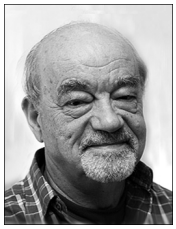
Елена КРЮКОВА
Нижний Новгород
166

Николай БЕНЕДИКТОВ
Нижний Новгород
180



Мамед ИСМАИЛ
Чанаккале, Турция
190

Андрей РУДАЛЁВ
Северодвинск
198



Игорь ЗОЛОТУССКИЙ
Москва
206

Валерия БЕЛОНОГОВА
Нижний Новгород
217

16+

В НОМЕРЕ

Проза

Юрий БУЙДА
ЮДО 4
СВЕТОМ И ЖАРОМ 21
Елена ОНОСОВСКАЯ
АХ, ВОЙНА, ЧТО Ж ТЫ СДЕЛАЛА, ПОДЛАЯ... 34
ПРОЧНЫЕ ВЕЩИ ПРОШЛОГО 49
Андрей ЕВСЕЕНКО
ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА 54
ПОСЛЕДНЯЯ МЕЛОДИЯ 57
Людмила ТОБОЛЬСКАЯ
ЭХО 60

Поэзия

Игорь ЧУРДАЛЕВ
НАИВНОСТЬ НАМ ДАРОВАНА КАК МИЛОСТЬ... 63
Александр БОБРОВ
ТАК ЧТО ВАЖНЕЙ: МОЛИТВА ИЛИ ХЛЕБ?.. 68
Юрий РЯШЕНЦЕВ
Я ВСЕ ИСПЫТАЛ: И УПАДОК, И ДЕРЗКИЙ ПОДЪЕМ... 72
Надежда КНЯЗЕВА
ЭТО МУКА, В КОТОРОЙ РОЖДАЕШЬСЯ НОВЫЙ ТЫ... 77

Проза

Владимир АЛЕЙНИКОВ
НЕ СЛУЧАЙНО Я ВСПОМИНАЮ (окончание) 81
Дмитрий ЛАГУТИН
ИДА 120
ГНЕЗДО 132
Олег МАКОША
АЛКА ЗЕЛЬЦЕР 135
ДЕЛИКАТНЫЙ ЧЕЛОВЕК 137
ОДИН ДЕНЬ 139
ПОЛУБОЯРОВА 140
ГЕРМАН 142

Поэзия

Олег РЯБОВ
ЕСТЬ У ОСЕНИ МНОГО ПЕСЕН... 144
Евгений ЭРАСТОВ
А ЕСЛИ БЫЛ СЧАСТЛИВ КОГДА-ТО, ТО ТОЛЬКО, НАВЕРНОЕ, ЗДЕСЬ.... . . .149

Андрей ДМИТРИЕВ
ДЕМОН СМОТРИТ С ХОЛСТА... 154
Олег ЗАХАРОВ
КАК ЗАСТАВИТЬ ЭТАКИХ ПИИТОВ ОТНОСИТЬСЯ ТЩАТЕЛЬНО К СЛОВАМ? . . . 161

Из будущих книг

Елена КРЮКОВА
МАВЗОЛЕЙ 166
Николай СВЕЧИН
ФАРТОВЫЙ ГОРОД 174

Публицистика

Николай БЕНЕДИКТОВ
«ВЕЛИКОЕ ДИТЯ ОКАЯННОГО МИРА». По прочтении
книги Льва Данилкина «Ленин: Пантократор солнечных пылинок» 180

Литпроцесс

Мамед ИСМАИЛ:
Я – ХЛЕБ МАТЕРИ, СОК ЯБЛОКА, МОЛОКО ОВЦЫ 190
Андрей РУДАЛЁВ
СЛУЧАЙ ЯХИНОЙ, или Легенда об успешном дебютанте 198
Валерий РУМЯНЦЕВ
«...И ТАКИЕ ГОГОЛИ, ЧТОБЫ НАС НЕ ТРОГАЛИ» 203

Вехи памяти

Игорь ЗОЛОТУССКИЙ
РУССКИЙ МИР ИВАНА ТУРГЕНЕВА
К 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева 206
Валерия БЕЛОНОГОВА
ПУШКИН ИДЁТ ПО ПОКРОВКЕ
К 185-летию посещения Нижнего Новгорода великим поэтом 217
София ИВАНОВА
АРОМАТ ВИШНЕВОГО САДА
К 150-летию со дня рождения О. Л. Книппер-Чеховой 231

Проза

Юрий БУЙДА

Родился в 1954 году в поселке Знаменск Калининградской области. Окончил Калининградский университет, работал в СМИ, пройдя путь от фотокорреспондента районной до заместителя главного редактора областной газеты. Работал в «Российской газете», «Независимой газете», в журналах «Новое время», «Знамя», обозревателем газеты «Известия».

Публиковался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов» и других. Его рассказы послужили основой для спектаклей московского театра Et cetera под руководством А. Калягина, Театра D в Калининграде и театральной труппы Theatre O из Лондона.

Лауреат премии «Большая книга» и других литературных премий. Его произведения переведены на немецкий, польский, финский, французский, японский языки.

Живет в Москве.

ЮДО

Рано утром старик Мансур Мансуров постучал в дверь Леши Леонтьева.

– У меня там нога, Леша, – сказал Мансуров. – Пойдем-ка со мной, Леша, там у меня нога.

Леша Леонтьев хорошо знал старика Мансурова, человека, который не переменился в лице, даже когда узнал о смерти Сталина. Тогда Мансуров только и сказал, глядя на плачущую жену: «Но куры-то все равно жрать хотят», – и вышел во двор, чтобы покормить птицу. Таким, как в это утро, старика не видел никто. У него дрожали губы и дергался глаз.

– Нога, – сказал Леша. – И что там у тебя с ногой, Мансур?

– С моей ничего. Это чужая нога, Леша.

– Ну пойдем, – сказал капитан, стирая мыло со щеки, – посмотрим на твою ногу.

– Это не моя нога, – возразил старик. – Чужая.

Леша накинул ватник – на улице было прохладно – и двинулся за Мансуровым. До дома старика было минут пять ходу.

Нога торчала из навозной кучи, рядом валялись вилы.

– Вилы твои? – Леша присел на корточки, потрогал коричневый ботинок.

– Вилы мои, – ответил старик, – а нога не знаю чья.

– Вижу, что не знаешь...

– Хотел навоз разбросать, а тут она...

Капитан взял вилы, подцепил пласт слежавшегося навоза и отбросил к ограде.

– Я тебе говорил, – сказал Мансуров. – Не моя нога.

– Это ж командир, – пробормотал Леша. – Это ж Сваровский...

Командирами в городке называли командированных – ревизоров, наладчиков, снабженцев, которые время от времени наезжали на бумажную фабрику. Этот Сваровский был наладчиком. Он приехал вместе с греком Жогло.

– Чем его так, а? – спросил Мансуров. – Вся голова пополам...

– Мансур, сбегай за Ноздриновым, – сказал Леша. – А я пока тут осмотрюсь.

Начальник милиции капитан Ноздринов был известным пьяницей и болел раком, и все ждали, что не сегодня-завтра начальником станет Леша.

– Тогда давай твоих закурим, – сказал старик.

Леша достал из кармана ватника коробку.

После повышения в звании Леонтьев стал курить папиросы «Люкс», по три рубля старыми за коробку, но мало кому удавалось одолжиться у него дорогим табаком: для стрелков Леша держал грошовый «Север». Однако для Мансура он сделал исключение.

Когда старик ушел, капитан обошел кучу, присел, огляделся. Судя по следам на влажной земле, труп сюда притащили волоком. Сваровского ударили по голове, а потом приволокли в огород и закопали в навоз. Леша тщательно обследовал огород, спустился в низину, прорезанную полузаросшими мелиоративными канавами. Ударили Сваровского, скорее всего, топором, а кто ж станет выбрасывать топор? Топор – важная вещь, без нее в хозяйстве никуда. Орудия убийства Леша не нашел.

У Сваровского тоже был топор – привез с собой в сумке с инструментами. Топор был небольшой, со стальной рифленой ручкой. Сваровский даже в Красной столовой с ним не расставался и любил демонстрировать собутыльникам. Мужчины взвешивали топор в руке, качали головами: «Вещь». Дед Муханов, который никогда не расставался с сигаретой, набитой черным грузинским чаем, однажды спросил: «А почем продал бы?» «Не продается, – ответил Сваровский. – Немецкий, сталь – золинген, настоящая. Бриться можно». Мужики сошлись на том, что за такой топор и ста рублей не жалко – старыми, конечно.

Солнце начинало пригревать.

Леша присел на корточки перед навозной кучей. В правой руке Сваровского что-то было зажато. Капитан с трудом разогнул окаменевшие пальцы, взял кусок гребенки, украшенной фальшивыми жемчужинками, огляделся – вокруг никого – и спрятал в карман. Закурил.

Наконец приехал Ноздринов – рыхлое отечное лицо, огромное пузо, тонкие кривые ножки в хромовых сапогах, а с ним – усатый старшина Миколайчук и тощий сержант Петька Рыбаков, то и дело цыкавший слюной под ноги.

За заборами собирались любопытные.

– Увозить его надо, – просипел Ноздринов. – Машину надо.

– Подводу возьмем, – сказал Миколайчук. – Где ж мы машину сейчас найдем? А подвода есть, Сашка только что на склад поехал.

Белобрысый Сашка был конюхом, возчиком, экспедитором и грузчиком, доставлявшим товары в магазины со склада горторга. Склад, располагавшийся в кирхе, находился неподалеку – напротив Лешиного дома.

Ноздринов кивнул.

– Пойду, – сказал Леша. – Поищу Жогло этого, может, он что знает.

– Он вчера из гостиницы выписался, – сказала из-за забора Буяниха. – Оба выписались. У них сегодня поезд.

– Московский? – спросил Ноздринов.

– Китайский, – ответила Буяниха. – Семичасовой.

Леша посмотрел на часы – восемь. Значит, у них в запасе одиннадцать часов. Обычно в день отъезда командиры устраивали отвальную на фабрике или в Красной столовой.

– Сбегай-ка ты, Петька, к Светке, – сказал Леша, не глядя на Рыбакова. – Может, он у нее там? Или у Шарманки.

– Она мне жена, что ли? – Петька отвел взгляд. – Она мне даже не баба. Она мне нет никто.

Леша покраснел: в городке знали, что он захаживал и к Светке Чесотке, и к Шарманке, которые были известны своей безотказностью.

– Ты почему тут мне стоишь на хрен руки в брюки, а? – Ноздринов побагровел. – Тебе что старший по званию сказал, а? Он тебе сказал говно есть, что ли? Он тебе сказал дело делать!

Петька смутился, цыкнул слюной и ушел.

– Ты с ними построже, Алексей, – одышливо проговорил Ноздринов, вытирая лицо платком. – Особенно с Петькой. Его каждый день надо пидорасить, не то совсем парень оцыганится...

Начальник милиции никак не мог смириться с тем, что его подчиненный женился на цыганке.

– Ладно, – сказал Леша. – Ты бы поаккуратней, Николай Филиппыч, с твоим-то давлением...

– Ничего. – Ноздринов усмехнулся. – Вот понесут вперед медалями – и давление успокоится.

Леша знал, что Ноздринов уже расписал свои похороны: кто понесет перед гробом его фронтовые награды на бархатной подушечке, кто – венки, кто скажет речь, а кому на поминках не наливать ни под каким видом.

– Как там Катя-то? – спросил Леша, чтобы сменить тему.

Катя, старшая дочь Ноздринова, со дня на день должна была разродиться первенцем.

– Не родила пока, – ответил Ноздринов, глядя на мертвеца. – А ботинки у него хорошие. Такие ботинки хоронить жалко... кожа-то какая – чистое масло, а не кожа...

Леша объехал на мотоцикле городок, но ни на фабрике, ни в Красной столовой Жогло не нашел. Никто не знал, где этот грек. Утром он побывал на фабрике, отметил командировку и исчез, оставив в раздевалке две бутылки водки – прощальный подарок дружкам из электроцеха.

Вернувшийся Петька Рыбаков сказал, что Жогло нет и не было ни у Светки Чесотки, ни у Шарманки.

– Надо на вокзал ехать, – сказал Леша. – Жогло билет не сдавал.

– А почему ты с утра в телогрейке болтаешься? – строго спросил Ноздринов. – Ты офицер или ты мне тут лилипут из цирка? Здесь у нас милиция на хрен, а не бордель, чтоб в телогрейках тут бегать. Тебе что,

закон жизни не писан? Поезжай домой, переоденься. Чтоб как полагается у меня. Понял?

– Так точно, Николай Филиппыч, – ответил Леша.

– И возьми с собой кого-нибудь... Сырцова возьми – он трех медведей стоит...

– Это ты там, Леша? – крикнула из спальни старуха Латышева. – А это я тут!..

Леша открыл дверь. Старуха стояла на коленях перед комодом. Леонтьев попросил ее разобрать вещи покойной жены, и старуха второй день перерывала шкафы и комоды.

– Ася тебе обед сготовила, – сказала старуха не оборачиваясь. – И трусы эти я возьму... шелковые... чего ж не взять?

– А где сама?

– Ася-то? Да ушла. Так я возьму трусы? И эти. Из двоих трусов сошьем двое блузок... рукава пришьем и сошьем...

– Бери что хочешь. На чердаке сундук, посмотри, там, кажется, тоже есть что-то женское...

– Леша, сынок... – Старуха повернулась к нему. – Ну давай я тут хоть обои обдеру...

– Не надо – я сам. Потом...

Старуха Латышева, жившая наверху, Ольга Гофман и ее дочь Ася, которые обитали в доме по соседству, помогали Леонтьеву ухаживать за его парализованной женой Верочкой, готовили еду, стирали белье. В доме постоянно пахло лизолом и нашатырным спиртом. После похорон Верочки прошло больше недели, а Леша все никак не мог решиться отремонтировать комнату, где почти шестнадцать лет умирала его жена.

Они поженились весной 1941 года, и, когда Леша уходил на фронт, Верочка была уже беременна. Он воевал на Кавказе, под Сталинградом, на Курской дуге, в Белоруссии и Восточной Пруссии. А Верочка осталась в деревне на оккупированной территории. Однажды, спасаясь от немцев и латышей, пришедших жечь деревню, она бежала в лес к партизанам и в суматохе потеряла сынишку. Каратели стреляли вслед беглецам, вокруг рвались мины, люди падали, кричали, бежали не разбирая дороги. Контуженная Верочка пришла в себя в партизанском госпитале и узнала, что сына ее не нашли. Никто не знал, остался ли он в живых, погиб ли. Через два года Верочка поселилась в землянке на окраине сожженной деревни. Поиски ребенка оказались безуспешными. Вернувшийся домой Леша нашел жену поседевшей и молчаливой. Она никого не узнавала. Спустя несколько месяцев, устав мыкаться по землянкам, супруги перебрались в Восточную Пруссию. А через год Верочка слегла и больше никогда не поднималась. «Это душевная болезнь, Леша, – сказал доктор Шеберстов. – Помрачение ума». Вскоре у Верочки начались проблемы с сердцем и почками, и врачи не могли ничем помочь.

Леша перекусил, побрился, надел милицейский мундир с погонами, повернулся к зеркалу боком, втянул живот. Вздохнул, надел фуражку.

– Надежда Сергеевна! – крикнул он, поправляя фуражку перед зеркалом. – Теть Надь!

– Аиньки? – Старуха вошла в кухню, прижимая к животу ворох тряпья.

– Ты что такое тюрьма, знаешь? – Леша наклонился к зеркалу и нахмурился: кажется, на носу намечался прыщик. – Знаешь или нет?

– Да скажу я ему, Леша, скажу!

– Вот и скажи. – Он выпрямился. – Самогоноварение – дело подсудное, статейное, а сын у тебя один...

– Дурак он, Леша, – вздохнула старуха. – Сорок лет, а ума нет. – Помялась, понизила голос. – Я ему тут жену присмотрела... хорошая женщина...

– С детьми?

– А что дети? У него у самого двое.

– Кто такая?

– Люся Касатонова.

– Которая за китайцем была?

– За киргизом, Леша.

– Люся – женщина самостоятельная, теть Надь...

– А я с ней поговорила... она ничего...

– Ничего пойдет или ничего не пойдет?

– Да, говорит, почему бы и не пойти? Можно, говорит, и за Андрея.

– Так и сказала?

– Ну, говорит, пальто мне справите – пойду. Габардиновое.

– Габардиновое!

– А что поделаешь, Леша? Справлю. Сын все-таки.

– Сын... – Леша вздохнул. – Ладно, Надежда Сергеевна, пора мне, служба. А насчет самогона ты ему скажи, а то никакие киргизы ему не помогут. – Надел плащ, повел плечами, фыркнул. – Габардиновое! Совсем народ распустился... Она б еще шубу с тебя потребовала!

– Шуба... – Старуха вздохнула. – Она что – Ленин, что ли, чтобы шубу требовать?

Оба имели в виду одну и ту же шубу, единственную.

Напротив Лешиного дома в бывшей кирхе располагались склады горторга и промтоварный магазин. Главным товаром в магазине была шуба за тысячу сто рублей новыми. Эта шуба была мечтой всех женщин. Они приходили в магазин, чтобы просто ею полюбоваться. Всем хотелось подержать вещь в руках, примерить, повздыхать, поговорить о прекрасной шубе, позлиться на безденежье, позавидовать счастливчикам, которые могут позволить себе такую покупку. Ну, может, директор бумажной фабрики. Или генерал – командир ракетной бригады, размещавшейся на окраине городка. Или китобой Чижов, который любил рассказывать о том, как по возвращении из десятимесячного плавания прикуривал от четвертной за столиком в калининградском ресторане «Чайка». Этот Чижов купил «Волгу» и по воскресеньям катал на ней по очереди соседей. А кому еще по карману такое чудо – горностаевая шуба? И сколько ж на нее надо копить, если у тебя трое детей-школьников? А если еще и муж пьет? А если и поросята, которых надеялась продать с выгодой, только дрищут и дохнут? Отчаянная Ленка Уразова, сушильщица с бумфабрики, однажды не выдержала и при свидетелях от всего сердца плюнула на эту шубу: «Пусть ее Гитлер носит – нам такое все равно не по зубам!»

В зале ожидания железнодорожного вокзала было пусто.

Кассирша – костлявая Конституция Константиновна, тетя Костя, – сказала, что Жогло тут не объявлялся и билет не сдавал.

Леша заглянул в туалет – никого.

У водонапорной башни в конце перрона покуривал младший сержант Сырцов – три медведя.

– До поезда семь минут, – сказал Леша. – Стоянка две минуты.

– А если он на автобусе уехал? – Сырцов отшвырнул окурок. – Или на попутке?

– Если – в кресле, – сказал сурово Леонтьев, – а мы с тобой на стуле. Ты стой здесь, а я к хвосту пройду.

– Чует мое сердце, что не был Петька сегодня у Чесотки, – сказал Сырцов. – И к Шарманке не ходил. Потому что если он к ним пойдет, а баба его про это узнает, то она ему яйца пообрывает – как вишни с веточки...

– Поезд, – сказал Леонтьев. – Смотри у меня тут.

И побежал по перрону к вокзалу.

Поезд простоял две минуты и ушел, а Жогло так и не объявился.

– Может, запил? – сказал Леша.

– А может, и его убили? – предположил Сырцов. – Билет до Москвы – девятнадцать рупчиков новыми, живые люди такими деньгами не бросаются...

– Это купе девятнадцать, – сказал Леша. – Плацкарт дешевле. Давайка все же прокатимся к Светке.

Светка Чесотка занимала половину домика возле мукомольного завода. В двадцать шесть лет эта бойкая рыжая бабенка лишилась мужа – его посадили на пятнадцать лет за убийство Виктора Гофмана. Ее адрес знали все «командиры» и холостые офицеры из частей, расквартированных в городке и окрестностях, а языка ее побаивались даже такие известные городские крикуньи, как Буяниха и Машка Геббельс. Зато овощи в ее огороде были отменные: морковь, которую выращивала Светка, женщины стеснялись брать в руки при свидетелях. Иногда на пару с соседкой и подружкой – безалаберной Шарманкой – Светка развлекалась стрельбой по каштану, который рос напротив ее дома. В громадной кроне этого каштана жили сотни ворон, и от грохота выстрела они с оглушительным криком поднимались в небо, опорожняя при этом желудки. Завидев какого-нибудь своего врага из числа прежних ухажеров, Светка заряжала двустволку, оставшуюся от мужа, и ждала у открытого окна, когда тот окажется под кроной каштана, чтобы обрушить на мерзавца водопад птичьего дерьма.

Леша остановил мотоцикл подальше от каштана.

Крашеные окна Чесотки и некрашеные окна Шарманки были распахнуты настежь, слышно было, как заевшая игла подпрыгивает на патефонной пластинке.

– Не нравится мне это, – сказал Леонтьев. – Что думаешь, Сырцов?

Сырцов пожал плечами.

Они двинулись к дому, но не успели сделать и пяти шагов, как навстречу из двери вылетел толстяк Жогло – голый, босой, всклокоченный, с ружьем в руках.

– Брось оружие! – закричал Леша, хватаясь за кобуру и приседая. – Брось, кому говорю!

Жогло вскинул двустволку, но Сырцов оказался проворнее – он выстрелил первым. Жогло упал, забился на земле. Леонтьев подбежал к нему, схватил за плечи, перевернул – лицо Жогло превратилось в кровавую маску.

– Дядя Леша! – закричала Светка, высунувшаяся из окна. – Дядя Леша, миленький, он Катьку убил! Катьку-у!..

Леша обернулся. Сырцов никак не мог попасть пистолетом в кобуру – руки дрожали.

– Вези его в больницу, – приказал Леша. – Вот хрень-то... Сырцов! Кому говорю! Вези его в больницу! Ну же!

Сырцов наконец засунул пистолет в кобуру и бросился к Жогло.

Растрепанная и дрожащая Светка встретила Леонтьева в маленькой прихожей. Она крепко обняла Лешу. Изо рта у нее текло – она не могла говорить.

Шарманка сидела в кухне, уронив разбитую голову в лужу крови, расплывшуюся на столе. Ее волосы, куски хлеба, ложки, тарелки, соль в чайной чашке – все было в крови. На полу валялся топор со стальной рифленой ручкой.

Леша снял с гвоздика полотенце, завернул в него топор.

Чесотка сидела на корточках, прислонившись лбом к стене, и по-прежнему вся дрожала.

– Эх, Светка, – сказал Леша, – Светка ты, Светка...

Вечером в Красной столовой начальника милиции капитана Ноздринова поздравляли с рождением внука.

– Три килограмма сто граммов, – с умилением повторял Ноздринов. – Ну девка! Ну молодец!

– А я сразу понял, что это Жогло, – сказал Петька Рыбаков. – У него на правой руке все пальцы одинаковые...

– Как это – одинаковые? – спросил Сырцов, пережевывая котлету.

– Одной длины, – пояснил Петька. – Я как увидел, так и понял. Ну, думаю, этот мужик что-нибудь да натворит...

– Как назвать-то решили? – громко спросил солидный Миколайчук.

– Пацана-то? – Ноздринов махнул рукой. – Да пусть сами решают!

– Не, имя – это важное дело, – возразил Миколайчук. – У нас вот тетку одну в деревне назвали Революцией, так ее и убили...

– Как это убили? – спросил Леонтьев.

– Муж застал с хахалем – и убил.

– А революция тут при чем?

– Убили ж!

– Пусть хоть Димкой назовут, – продолжал Ноздринов. – Хоть Иваном...

– Иванами сейчас не называют, – сказал Петька. – Бабам Иваны не нравятся.

– А кто им нравится? – Миколайчук нахмурился. – Ты баб больше слушай, они тебе наговорят...

– Им Сергеи нравятся, – гнул свое Петька. – Владимиры и Сергеи.

– Георгий, – сказал Сырцов, вытирая рот рукой. – Георгий – вот это имя.

– Георгий? – наклонился к нему Ноздринов. – Как у Жукова? У маршала Жукова?

– Георгий, – с удовольствием повторил Сырцов, хлопая себя по животу. – У меня деда Георгием звали. Как даст в ухо – три дня звенит.

– Алексей Федорович... – Рядом с Леонтьевым села толстенная Феня, буфетчица. – А скажи мне, милый, страшно-то было, нет?

Леша усмехнулся, пожал плечами.

– Спроси Сырцова – он у нас герой.

– Откуда мне было знать, что у него ружье пустое? – Сырцов развел руками. – А если бы там была пуля? Или картечь?

– Да я у Светки давно всю дробь отобрал, – сказал Леонтьев. – И дробь, и картечь. Да ладно, не переживай ты, Сырцов!

– Товарищ Сырцов! – Ноздринов постучал вилкой по граненому стакану. – Ты не виноват, товарищ Сырцов. Ни грамма не виноват. Задержание задержанного произведено по всем законным правилам советского правосудия и закона. – Осклабился. – Плохо только, что ты ему в рожу попал. Доктор Шеберстов говорит, что языки пришивать пока не научился... – Хохотнул. – Это ж надо – пулей язык вырвать!

– Пуля – дура, – сказал Сырцов. – А зачем ему теперь язык? Пусть спасибо скажет, что живой остался. А без языка и без зубов можно до ста лет прожить...

– А как ты про топор-то догадался? – спросила Феня.

– А чего тут гадать? – Леонтьев закурил. – Топор-то у Сваровского был – сто рублей топор. Ты бы такой топор бросила? И я не бросил бы. Топор – это вещь. Сто рублей!

– Предмет, – согласился Ноздринов. – Георгий – мне нравится. Как Жуков. Но пусть сами называют. Как захотят, так и будет. Я сказал: баста. – Пристукнул кулаком по столу. – Так и будет!

– Какая у вас работа, Алексей Федорович, жуткая, – сказала Феня, придвигаясь еще ближе к Леонтьеву. – Я бы со страху умерла. Легла бы и умерла, ей-богу! И он что же, Жогло-то, этим топором сперва одного кокнул, а потом и Шарманку? Ой, бедная...

– От зависти чего не сделаешь, – сказал Миколайчук. – Они же оба к Ольге Гофман подкатывались, тот и этот, так этому она дала отлуп, вот он и отомстил тому. Его же топором ему и отомстил.

– Шерлок Холмс тут у нас нашелся, – сказал Леша. – Ольга-то тут при чем?

– Везде бабы, Леша, – сказал Миколайчук, поднимая рюмку, – везде они.

– Она сегодня все деньги с книжки сняла, – сказал вдруг Петька (его мать работала в сберкассе). – Восемьсот пятьдесят рублей. Это на старые восемь с половиной тыщ. Неспроста это. Все сняла, до копеечки. Чую я – неспроста это.

– Неспроста... – Леша нахмурился и подался вперед. – Ты сегодня был у Светки или нет, а?

– Был, – сказал Петька. – Не было там никакого Жогло.

– Не было, не было, а потом вдруг появился? – Леша погрозил Петьке пальцем. – Чует он! Ты что, цыган, что ли, чтобы чуять? Ты милиционер, а не цыган!

– Дядь Леш... – начал было Петька.

– Что – дядь Леш? Ты у нас милиционер или Робертино Лоретти? Дядь Леш... А если бы у него пуля была? У нас служба, Рыбаков! Служба! Тебя в разведку послали, а ты не пошел, товарищей подвел. А ведь Жогло мог нас поубивать... и меня, и Сырцова... Это хорошо, что Сырцов у нас такой меткий... – Леша откинулся на спинку стула. – Дурак ты, Петька, и когда поумнеешь? Женатый человек, а дурак.

Петька обиженно отвернулся.

Сырцов надел фуражку козырьком назад, отдал честь и захохотал.

– Страшная у вас работа, – продолжала Феня, поправляя огромную грудь. – Неужели вы с нее удовольствие имеете? Я бы легла и померла...

– Какое удовольствие... – Леша пыхнул папироской. – Удовольствие – это когда хорошо, а у нас что? У нас работа.

– Меня однажды в команду назначили, – сказал Миколайчук, морщась и бросая в рот гриб. – Расстреливать дезертира. Мальчишка совсем,

господи, а уже дезертир... Но ведь закон, понимаешь? Приказ! – Вздохнул. – Расстреляли. Налили нам после этого по сто пятьдесят, потом еще по сто, а удовольствия, братцы вы мои, – ни ерша, ни щучки... первый раз в жизни водку пил без удовольствия...

– За Георгия! – закричал Ноздринов, вставая. – Налей-ка! Тост говорить буду.

Феня улыбнулась Леонтьеву напомаженным ртом и стала разливать водку по стаканам.

– Тост, – повторил Ноздринов. – Не умею, а скажу... надо сказать... такое, значит, дело, что не хочешь, а надо... – Он помолчал. – Мне, товарищи, как говорится, скоро помирать... – Милиционеры загудели. – Тиха-а! Кто помирает тут, я или вы? Вот и молчите. Помирать... внук родился... когда внук родился, помирать легче... да... Вот, товарищи, какое странное дело... я ведь раза три помирал... или четыре... на войне помирал... и ничего, думал, привык уже, а выходит, что к смерти не привыкнешь... нельзя привыкнуть... – Он глубоко вздохнул. – Я много тут сейчас по ночам чего думаю... всякое думаю... – Помолчал. – Я вот все про космос думаю... люди в космос летают то по одному, а тут сразу по двое... Попович с Николаевым полетели парочкой... скоро, наверное, стаями летать будут... на Луне дома построят, жизнь заведут... я-то не увижу, а вы еще на Луне поживете...

– На Луне милиция не нужна, – сказал Петька.

– На Луне-то? – Ноздринов погрозил Рыбакову пальцем. – Нет, Петька, и на Луне милиция будет... у меня на фронте был один дружок, тоже Петькой звали, но умный, учитель математики, необыкновенной головы мужик, необыкновенной... любил поговорить про космос, про звезды и про все такое... он говорил, что космос – это порядок... – Ноздринов поднял палец. – Порядок! Посередине – солнце, по краям люди и всякие животные, растения и дома... а дальше родители... родители любят детей, дети – родителей, жена – мужа, брат – брата... это и есть порядок... вот что такое космос, братцы... Порядок! А где порядок, там и милиция. Так что милиция, братцы, это на самом деле не милиция, а закон природы. И чтобы люди про этот закон не забывали, им опять нужен милиционер... и светофор, конечно...

Милиционеры оживились: светофор был давней мечтой Ноздринова. Он каждый год писал начальству письма о том, что в городке нужен светофор, хотя бы один, чтобы обеспечить соблюдение транспортного движения, которое с каждым годом становится все напряженнее, переходит с конной и паровой тяги на бензиновую, а бензиновой тяге без светофора нельзя. В качестве примера, подкрепляющего его аргументацию, Ноздринов рассказывал о Виталии Носовихине, который выехал на своем мотоцикле на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком, после чего в городке одним мотоциклом стало меньше, а Виталий лишился ноги и от страха стал закусывать водку дождевыми червями, а если бы висел светофор, то и мотоцикл остался бы цел, и дождевые черви живы...

Начальство, однако, на просьбы Ноздринова не отвечало.

– Когда человек видит светофор, – продолжал Ноздринов, – он сразу понимает, что живет не в диком лесу среди животных и зверей, а в населенном пункте, где есть порядок и закон. А если светофора нету, всякому могут разные глупости в голову прийти... то он жене под глаз засветит, то на стенку начнет мочиться и ссать в общественном месте... а увидел светофор – и сразу ясно: ага, нельзя, тут закон, а не цыганский

табор... Закон! – Ноздринов поднял стакан. – Давайте, товарищи, выпьем! За победу! За товарища Жукова! Ура!

Все встали и выпили.

– Устал говорить, – сказал Ноздринов, опускаясь на стул. – А ты, Алексей, молодец. И Сырцов молодец – не растерялся. Молодцы вы у меня тут, мужики. И ты, Петька, – ты еще молодой, у тебя все впереди... Ну, еще по одной! На посошок! А ну! За Георгия!

Снова выпили.

– Ну что, братцы? – Ноздринов вскинул руку, чтобы взглянуть на часы, и сбил локтем стакан. – Пора по домам, товарищи. Завтра на службу. У людей воскресенье, а у нас служба. Кто завтра на дежурстве?

– Я, товарищ капитан, – сказал Миколайчук.

– Ну вот и пошли... – Ноздринов встал, покачнулся. – Миколайчук, запевай!

И Миколайчук затянул «Катюшу».

Леша высадил Ноздринова у дома – начальник милиции жил в маленьком особнячке за рекой, неподалеку от Гаража.

– Ну, Николай Филиппыч, как говорится, спокойной ночи. И привет Георгию...

– Георгию... – Ноздринов усмехнулся. – Леша, что ты-то мне голову морочишь? Ну что вы все мне голову морочите, а?

Леша промолчал.

– Эх вы, собаки лысые... – Ноздринов закурил. – Жена ушла, дочка видеть меня не хочет... и к внуку меня, конечно, не подпустят на пушечный... я ж для них кто? Я ж для них, Леша, хуже негра. Хуже цыгана. Фашист я для них, а не Ноздринов. Пьяница, дебошир, мурло... а тут еще рак... доктора говорят, что это не заразно... что они понимают, доктора...

– Николай Филиппыч...

– Танька Сизова! – Ноздринов свирепо оскалился. – Танька Сизова – вот и все, что у меня, Леша, осталось. Знаешь Таньку? Танька на хрен Сизова, вот и все. Пехотная давалка у меня осталась. Левая грудь у нее отрезана, а правая – не грудь, а жидкость, смотреть не на что. Зато она не боится заразиться от меня. За десять рублей ложится со мной... за десятку, Леша!

– Новыми, что ли?

– Ну на хрен новыми! Ты что! Старыми, конечно. Новыми тут рубль. Ложится и сразу – дрыхнуть. Я уже давно не годен ни на что, Леша, но я человек... ну да что ж, Танька так Танька... тоже ведь живая душа... какая-никакая – а живая... а жена сказала, что и хоронить не придет... ну и хрен с ними со всеми...

Ноздринов выбрался из мотоциклетной коляски и тяжело двинулся к дому. На крыльце вдруг остановился.

– Я завтра, может, не приду, Леша... совсем что-то я расклеился... – Помолчал. – Знаешь, если что, ты все-таки про светофор не забывай... светофор – он закон, понимаешь? Закон! И Ольге привет передавай... эх и дура она! Я ж ей еще когда говорил: выходи за меня – не пожалеешь, а она... – Махнул рукой. – Если б согласилась, может, и рака этого у меня не было б... а, да ладно... ехай, Леша, и смотри мне там... чтоб все, как говорится... понял? Ну и ехай, Леша, ехай...

Леонтьев загнал мотоцикл во двор и сел на скамейку покурить. Из темноты возник дед Семенов – босиком, во всегдашних своих

широченных кавалерийских галифе, с трубкой-носогрейкой в зубах и полевым биноклем на груди.

– Сапоги-то свои пропил, что ли? – лениво спросил Леша. – Чего босой-то?

У Семенова были хромовые сапоги, которыми он гордился. Даже летом, в жару, он не снимал сапоги, утверждая, что ногам в них прохладно, как у Христа за пазухой.

– Подбить отдал, – проскрипел дед. – Завтра заберу. Скучаю я по ним, Леша. Без сапог – как без рук, Леша... ты должен понимать... другие нет, а ты друг – ты должен...

Леша усмехнулся.

– Ну, если друг...

Лишь однажды Леонтьева видели разъяренным да еще с оружием в руках – когда в большом доме у железнодорожного переезда, между водонапорной башней и старым кладбищем, поймали и стали бить бельевого вора. Толпа распаленных мужиков стащила ворюгу с чердака во двор и, обмотав ему голову какой-то тряпкой, уже красной от крови, повалила наземь и стала добивать ногами. На помощь прибежали даже больные из ближайшей больнички – все как один в квелых байковых халатах. Следом за ними во двор ворвался на мотоцикле Леонтьев. Он заорал на мужиков, но те вошли в раж и послали милиционера подальше. Тогда он выхватил из кобуры пистолет и выстрелил в воздух. Народ рассыпался и уставился на Леонтьева. «Даю честное слово, – тихо сказал Леша, – первый, кто его коснется, получит пулю в куда надо». Все молчали. Леонтьев отвез несчастного воришку в больницу. А потом того судили за попытку кражи десятка простыней и лифчиков, дали полтора года исправработ. «Вообще-то, если б он нас не остановил, – задумчиво проговорил дед Семенов, поймавший вора и затеявший драку, – нас бы законопатили за убийство. Справедливо, конечно, но неправильно». И на следующий день дед Семенов с соседями пришел к Леше с бутылкой водки – «проставляться» за то, что спас их от верной тюрьмы.

– Ну и кого ты там сегодня рассмотрел? – спросил Леша. – Шевелятся они там у тебя?

После 12 апреля 1961 года дед Семенов раздобыл где-то бинокль и стал каждую ночь изучать поверхность Луны в поисках жизни. И вскоре он эту жизнь нашел. Ему, конечно, никто не верил, а он твердил свое: на Луне жизнь есть. Три или четыре жизни – точно есть: мужчина, женщина и ребенок, а с ними, похоже, коза. Или собака. С такого расстояния трудно разглядеть, собака с ними или коза. Иногда население Луны увеличивалось, иногда убывало. Однажды дед Семенов увидел на Луне дом с трубой, из которой шел дым. В другой раз – кита, плывшего по лунному морю. «Смейтесь, смейтесь, – обиженно говорил старик. – Чудо-юдо... в чудо и дурак поверит, а вот юдо – для него надо особую настройку в душе иметь...»

– Корова там у них, – сказал дед, – с теленком. На наших похожи, только без хвостов...

– И хвосты разглядел? – Леша затоптал окурок. – Ну ты молодец. Скажи мне, дед, а на хрена тебе там жизнь, а? Тут со своей бы разобраться, а тебе еще и на Луне нужна...

– Одному-то, Леша, тоскливо, – сказал дед Семенов. – Один человек – не человек, а цифра. Когда хотя бы двое, они уже люди. А один даже и не поймет, человек он или что. Без народа человек неполный, Леша.

Я вот хожу к своей старухе на могилку, разговариваю – и мне легче. Она хоть и мертвая, но человек, а значит, мы уже народ...

– Заведи себе кого-нибудь, – сказал Леша. – Ты мужик еще крепкий, баб вокруг полно... а ты вместо этого на Луне счастья ищешь...

– Не, я счастья не ищу, – сказал Семенов. – Закусывай не закусывай, а наутро от него все равно голова болит.

– Ладно, дед, поздно уже. – Леша встал. – А на Луну свою ты смотри, да не засматривайся, не то мозги просмотришь. Луна – планета злая, желтая. Не люблю желтых.

– Тебя там Ася ждет, – сказал дед. – У тебя.

– Ася?

– Немочка. Давно ждет.

Ася спала на Лешином диване – Леонтьев никак не решался купить кровать при живой жене. Девушка спала при верхнем свете, натянув на голову одеяло. Ее белоснежная нога – округлое бедро, крошечные пальчики, розовая круглая пятка – свисала до пола.

Леша выключил свет и вышел на цыпочках, скрипя сапогами. Он не понимал, почему это вдруг Ася осталась у него ночевать. Такого никогда еще не бывало. Что-то, значит, у них там случилось. Но думать об этом уже не было сил. Он бросил на пол в соседней комнате старую шинель, лег, подумал о белой Асиной ноге, повернулся на другой бок и уснул.

Ася была старшей дочерью Ольги Гофман. У нее были каштановые волосы, ярко-синие глаза, пушистые брови, сросшиеся на переносье, и искусанные губы страстотерпицы. Она была заикой. Учителя ее побаивались: отвечая у доски, Ася запиналась, подчас не могла выговорить ни слова, и когда это случалось, ее лицо страшно перекашивалось, шея вздувалась, как живот у жабы, и от стыда она падала в обморок. Мать водила ее к логопеду, но это не помогало.

Отец ее был учителем физкультуры по прозвищу Анти-Дюринг. В городке его тихо презирали: этот красавчик с зачесанными на лысину кудрями любил лапать школьниц. Уроки он вел по пояс голым – мальчишки восхищались его мускулатурой.

По воскресеньям после футбола на стадионе устраивались спортивные праздники – их главным героем неизменно бывал Анти-Дюринг. Он быстрее всех бегал, поднимал самую тяжелую штангу и ловко жонглировал двухпудовыми гирями, играя мускулатурой – к восхищению женского населения. Антон Горячев, муж Светки Чесотки, однажды предложил учителю побороться. Их схватка переросла в драку, и Антон на глазах у всех утопил Анти-Дюринга в мелиоративной канаве, куда толевый завод сливал мазут. Тело учителя потом пришлось отмывать бензином, а Антона отправили на пятнадцать лет в мордовские лагеря.

После смерти отца нелюдимая Ася вообще замкнулась. Сверстницы ее сторонились, а вот мальчишки не давали прохода: в тринадцать лет у Немочки были широкие женские бедра и высокая грудь. Но когда силач Сухарев попытался однажды ее обнять, она врезала ему коленом по яйцам, повалила на пол, схватила со стола карандаш, воткнула ему в нос и сломала. Окровавленный, обоссавшийся от боли и сорвавший голос Сухарев ползал на карачках по полу и шипел, пуская носом красные пузыри, а Немочка убежала домой, спряталась в подвале и разрыдалась.

Летом она уходила подальше от людей, подальше от городка – в лес, за Первую казарму. Однажды в заброшенном домике она наткнулась

на мертвую женщину. Женщина была голой, крупной и самой красивой на свете – так решила Ася. Она приходила в домик каждый день – с цветами, которые собирала по дороге, чтобы украсить тело единственной подруги. Странгуляционную борозду на шее подруги она перевязала алой шелковой лентой. Перед возвращением домой Ася укрывала мертвую куском перкаля, который стащила из дома, и забрасывала травой и ветками.

Ее тайну открыли дети железнодорожников с Первой казармы. Их поразила девушка, стоявшая на коленях перед мертвым телом, которое было покрыто трупными пятнами и украшено полевыми цветами, и что-то оживленно говорившая. А потом она запела – этого дети не выдержали...

Выяснилось, что Асины походы к мертвому телу продолжались полтора месяца. Полтора месяца – сорок четыре дня – она тайком от матери каждый день убегала в лес, собирала по дороге цветы, а потом часами разговаривала с мертвой женщиной. Немочку не смущали ни трупные пятна, ни усиливающийся запах. Возвращаясь домой, она повязывала на шею алую ленту и была счастлива.

Узнав про все это, Ольга Гофман заперла дочь на ключ, перестала с нею разговаривать и даже взяла отпуск, чтобы пересидеть стыд за дверями.

Несколько раз к Гофманам приходил Барин – следователь прокуратуры, носивший белый шелковый шарф, но Ася не желала с ним говорить. Она разговаривала только с Лешей Леонтьевым. Ему она рассказала и о цветах, и об алой ленте, и о кассете с фотопленкой, которая закатилась под обломок бетонной плиты. Пленку проявили – на ней были запечатлены все участники попойки, устроенной в лесу и закончившейся изнасилованием и убийством. После этого прокуратура перестала интересоваться Асей.

Леонтьев же по-прежнему приходил к Гофманам, чтобы поговорить с Немочкой. Она почти не заикалась, когда рассказывала Леше об отце и его потных ладонях, о Наташе Ростовой и Печорине, об островах, затерянных в океане и населенных прекрасными людьми, которые обходятся без языка, потому что умеют читать мысли друг друга на расстоянии...

Ася сидела на стуле, чуть подавшись вперед, и говорила, говорила, а Леша слушал, не отрывая взгляда от ее рук, лежавших на коленях. У нее были красивые руки и красивые круглые коленки. Она перебирала слова, иногда путалась и сбивалась, находила нужное слово и вздыхала с облегчением... ей так редко приходилось разговаривать с людьми... голос ее день ото дня набирал силу, становился богаче, глубже, краше, он уже мог выразить и то, что таится в языке, но недоступно речи... может, это и было то самое настоящее и непостижимое юдо, о котором говорил нелепый старик дед Семенов...

Леша был зачарован Асиным темным голосом гораздо сильнее, чем ее рассказами об одиночестве, чудесах и прочитанных книгах.

Возвращаясь домой, он останавливался перед зеркалом и качал головой: «Тебе за сорок, а ей пятнадцать... тюрьма по тебе плачет, мудила, тюрьма или дурка...»

Ольга Гофман помалкивала, испытующе поглядывая на Лешу, а он только пожимал плечами: «Болтаем... надо же человеку выговориться...»

Однажды в прихожей Ася взяла Лешу за руку, и так они простояли молча в темноте несколько минут. В прихожей пахло керосином, вак-

сой – от Лешиных сапог, а от Немочки – детским потом и молочным шоколадом, и эти запахи преследовали Леонтьева весь день...

Каждый день Ольга и Ася приходили к Леонтьеву. Ольга обмывала Верочку, меняла белье, а Немочка мыла полы и занималась стиркой – ее не смущали ни простыни, испачканные фекалиями, ни Лешины трусы. Мать перестала следить за каждым Асиным шагом – хватало хлопот с младшей дочерью Ниточкой, милой дурочкой, которой и в пять, и в десять лет было три года. Ася больше не убегала в лес – лето она проводила на реке, купалась, загорала, читала. Мужчины и мальчишки поглядывали на нее – у Немочки было спелое тело, но не приближались: кто знает, на что способна девушка, которая полтора месяца разговаривала с трупом...

Леша проснулся от шума воды. Ася растопила плиту, занимавшую половину кухни, а сама умывалась под краном. Когда она подняла голову, Леонтьев увидел у нее под глазом синяк.

– Тебе яичницу или что, д-дядь Леш? – спросила она, глядя на себя в зеркало, которое висело над раковиной.

– Давай яичницу.

Ася набрала в чайник воды, поставила на конфорку, рядом пристроила сковороду.

Леонтьев закурил папиросу.

– Это кто тебя так? – спросил он. – Мать, что ли?

– Тебе т-три или пять? – Ася взяла из глубокой тарелки яйцо и занесла нож.

– Пять. – Леша погасил папиросу в медной пепельнице. – Я с ней поговорю...

– Она сказала, чтобы я шла к тебе...

Леша выжидательно молчал.

– Чтоббы я у тебя жила... чтобы м-мы жили... чтобы я насовсем... – Асина шея стала малиновой, голос ее сорвался. – Я к ней н-не вернусь, дядя Леша...

– Что у вас там произошло, Ася?

– Ничего. Но домой я не в-вернусь. Послезавтра последний экзамен, и в-все.

– Что все?

– Все.

– По какому у тебя экзамен?

– П-по немецкому.

– Что случилось, Ася? – снова спросил он.

– Н-ничего, – снова ответила Ася.

Она выложила яичницу на тарелку, не глядя на Лешу. А он принялся за еду, боясь взглянуть на Немочку.

Ольга Гофман открыла дверь не сразу. Не поздоровавшись, прошла в кухню, высыпала из банки на стол рис и села на табуретку.

Леша толкнул дверь в маленькую спальню. Шторы были задернуты, и Леша не сразу разглядел Ниточку. Он лежала на кровати, укрытая пуховым одеялом до глаз. Леонтьев сел боком на кровать, откинул одеяло и чиркнул спичкой. Ниточка попыталась улыбнуться, но у нее не получилось: губы, нос у нее распухли, под глазами набрякли синие мешки.

Леша дунул на спичку, провел ладонью по Ниточкиным волосам – девочка вздрогнула, – укрыл ее одеялом и вышел.

Ольга перебирала рис, не поднимая головы и пошмыгивая носом.

Леша опустился на табуретку напротив и выложил на стол обломок гребня, тот самый, что был зажат в кулаке у Сваровского.

– А я-то думала, где он. – Ольга придвинула к Леше пепельницу. – А ты, значит, нашел.

– Нашел. – Леонтьев закурил. – Вот, значит, в чем дело... в Ниточке, значит, все дело...

– Лешенька... – Ольга одним движением смахнула весь рис на пол – зерна с сухим шелестом рассыпались по линолеуму – и закрыла руками лицо. – Лешенька...

– Оля...

– Я ведь сама ему ключ дала... подожди, говорю, пока нас нету... Ася в школе, я на работе... и мысли не было... и мысли не было, Леша! – Она отняла руки от лица и подняла голову. – И мысли не было... – Сглотнула. – Мы вернулись, а тут он... и Ниточка... она же никому никогда зла не делала... никому... а он... Лешенька, он ведь как жаба с ней... как жаба... ящер какой-то, господи, а не человек... она ж совсем ребенок, Леша... то отец родной, то этот... за что ей так, Леша? Все из-за меня, из-за меня, Леша... как вышла за этого ящера, так и пошло... из-за меня все... а куда мне было деваться? Куда, Леша? Ты же знаешь...

Он взял ее за руку и крепко сжал.

– Оля, посмотри на меня. На меня, Оля! В глаза! Смотри мне в глаза!

Она обмякла.

– Сейчас ты отдашь мне топор... понимаешь? Топор. Заверни во что-нибудь и отдай.

Она кивнула.

– Топор, – повторил Леша. – И деньги. Понимаешь? Которые с книжки сняла.

Она снова кивнула.

– Никуда не ходи. Что надо – скажи мне, я принесу. Хлеба там или чего...

– Ася у тебя?

– Дома. – Леша покачал головой. – Оля ты, Оля...

– Не отпускай ее от себя, Леша, не отпускай. Она уже взрослая... ей восемнадцать зимой будет, на Крещенье... она тебе детей нарожает... она хорошая девочка, только не отпускай ее от себя... двоих или троих... хоть четверых... нарожает, Леша... она ведь тебе нравится, я вижу, вот и пусть рожает... один, другой, третий... только держи ее при себе, Леша, чтоб всегда на глазах...

Леонтьев вздохнул.

– Неси топор, – сказал он. – Заверни только. И деньги давай сюда. Поскорее, Оля, мне еще на службу надо.

Пока она ходила за топором, Леша собрал веником рис с пола, ссыпал в банку.

Ольга принесла топор и деньги, завернутые в газету.

В прихожей Леша замешкался.

– Слушай, Ольга... а почему ты за Ноздринова не пошла, а? Он ведь звал...

– Дура была, вот и не пошла. Да теперь-то что говорить?

– Сходила б ты к нему, что ли. Совсем мужик один остался, а ему вот-вот помирать...

– Зачем?

– Сходила бы ты, – повторил Леша. – В последний раз.

– У нас с ним и первого не было.
– Тем более. – Помялся. – Так, значит, кто его – Ася?
– Леша... – Ольга всхлипнула. – Господи, да уходи же ты, Леша...
Он поцеловал ее в лоб. Ольга закрыла за ним дверь и без сил опустилась на пол.

К вечеру весь городок знал о том, что Леша Леонтьев купил знаменитую шубу. Снял с книжки триста рублей, добавил Ольгины и купил. Ольга принарядилась, подкрасилась, и Леша отвез ее к Ноздринову. А дома его ждала Ася Гофман, Немочка, та самая. Похоже, она переехала к Леонтьеву насовсем. К вечеру об этом знал весь городок.

А вот о чем никто не знал и так никогда и не узнал, так это о том, что тем же вечером Леша в конце своего сада закопал топор, которым был убит командир Сваровский. И только после этого пошел в дом, где его ждала Ася. Они поужинали и легли спать. Ася постелила в спальне – двуспальная кровать была только там – и легла у стенки, а Леша с краю.

Леша встал затемно, открыл окно в палисадник и закурил.
– Я тоже не сплю, – сказала Ася с тихим смехом.
Леша наклонился к ней, поцеловал в душистое полное плечо.
– Будет гроза.
– Ты разговаривал с матерью?
– Да. Когда у тебя экзамен закончится?
– Если пойду первой, то в десять.
– Надо съездить в загс, – сказал Леша. – Заявление подать.
– А я буду в белом платье? По-настоящему?
– Конечно, в белом. – Леша выбросил окурок в окно. – И в туфлях на каблуках. А еще бывает такая штука на голове... как шапочка с цветами...
– Это не шапочка, а венок. – Ася взяла его за руку, притянула. – Что она тебе сказала?
– Что сказала, то и сказала...
– И тебе все равно?
– Что – все равно?
– Все равно ты меня возьмешь за себя? – Ее голос упал. – Все равно?
– Все равно.
– Я никогда не думала... – Ася всхлипнула. – Я всегда думала, что скоро умру... я хотела умереть, Леша... чтобы насовсем... я думала, вот ты сейчас уйдешь, и я что-нибудь сделаю... а ты пришел, и я... и вот мы...
– Это называется юдо, – сказал Леша.
– Юдо?
Леша лег рядом, Ася прижалась к нему, засопела в ухо.
– Я когда маленький был, отец взял меня в гости... у него друг был – лесник, и вот к нему мы пошли за медом... в августе это было, на Спаса... день был хороший, теплый... а идти было верст семь-восемь, а то и больше... пешком, конечно... своего коня у нас уже не было, а велосипеды тогда только у богачей были, а мы деревенские, у нас и патефона-то не было... – Помолчал. – Туда мы дошли хорошо... вышли рано, по холодку, весело шли, быстро... пришли – нас позвали за стол... пообедали, значит, отдохнули... там красивые места были – как в журнале... а потом набрали мы меда и пошли назад, опять пешком, конечно... дело к вечеру, а солнце жарит... пить хочется... я устал – не могу... мне ж тогда было-то – десяти не было... отец у меня крепкий был – идет себе

и идет, как конь... я хныкать: есть хочу, пить хочу, ногу натер... отец вдруг остановился, посмотрел на меня с такой усмешкой и говорит: «Значит, жив», – и дальше пошагал... шагает не оборачиваясь, и я за ним... а потом втянулся... до сих пор помню и никогда не забуду этих его слов: «Значит, жив»... вся жизнь мне вдруг открылась, Ася, вся жизнь... никаких тайн в жизни нету... ну, то есть, конечно, да... но все это пустое, Ася... – Помолчал. – Вся наша жизнь, Ася, вся наша жизнь...

Он прислушался – в прихожей зазвонил телефон. Но Леше не хотелось беспокоить Асю, которая спала, уткнувшись носом в его плечо. Он знал, кто звонит в такую рань и почему. Он знал, что это Ольга звонит, чтобы сообщить о смерти Ноздринова. Ольга плакала, Ноздринов умер, топор был закопан в саду, от Аси пахло молочным шоколадом и потом, сердце билось сильно и ровно, голова чуть-чуть кружилась, мимо окон шел харьковский, светало, пламенело, болело, мучило, любило и обещало, обещало...

СВЕТОМ И ЖАРОМ

В конце нашей улицы стоял клуб бумажной фабрики – двухэтажное здание из красного кирпича под черепичной крышей, с зарешеченными окнами и летней верандой, обращенной к старому парку. Высокие вязы, могучие дубы, густые заросли орешника, извилистые оплывшие траншеи, в которых после дождя можно было найти патронные гильзы, простреленную каску или неразорвавшуюся гранату с длинной деревянной ручкой. Весной 1945-го немцы пытались здесь, в этом парке, остановить советские войска, наступавшие на Велау и Кенигсберг с востока, вдоль железной дороги, со стороны Гросс-Егерсдорфа, где за двести лет до того, в августе 1757 года, полуголодные солдаты Апраксина и Румянцева разгромили прусскую армию Левальда...

Добрую половину клуба занимал зал с паркетным полом и высоким потолком. В этом зале трижды в неделю крутили кино – на «Трех мушкетеров», «Крестоносцев» или «Бродягу» с Раджем Капуром билеты продавали не только в ряды, но и стоячие, то есть люди соглашались весь сеанс подпирать стену, а мальчишки запросто устраивались в проходах на полу.

По большим праздникам здесь проводились торжественные собрания – с речью директора бумажной фабрики, раздачей почетных грамот и премий под духовой оркестр, под тот же самый оркестр, который играл на всех похоронах, с концертом художественной самодеятельности, гвоздем которого были «Катины трусы»: в финале танцевального номера красавица Катя Недзвецкая так самозабвенно кружилась на одном месте, что ее юбки поднимались почти до пояса.

А после собрания и концерта все поднимались в буфет. В этой маленькой комнатке с прилавком помещались человек десять, если буфетчицу Зину, состоявшую из огромной груди и огромной задницы, считать за одного человека, а считать ее надо было за пятерых. Когда она подавалась к клиенту всем своим декольте, у мужчин, набивавшихся в буфет, начинали слезиться глаза. Схватив свои сто пятьдесят и конфетку, они бежали на лестницу или вниз, в бильярдную, где обычно и завершался вечер – под стук шаров, в папиросном дыму, крики и хохот игроков...

По субботам и воскресеньям здесь устраивались танцы. Из зала выносили кресла, на сцене включался проигрыватель или магнитофон, и сотни парней, принявших для храбрости портвейна «три топора», и сотни девушек, закапавших в глаза для привлекательности атропина, выходили на паркет. Танцев было два – быстрый и медленный. Твист и пареньки в коротких обтягивающих брючках и остроносых туфлях вскоре уступили шейку и мальчикам в клешах и с волосами до плеч,

а на смену девушкам в блузках и туфлях-лодочках пришли босые пьяненькие оторвы в мини-юбках...

Медленные танцы были самым важным номером программы. Именно тогда и выяснялось, что Галя любит Мишу, потому что позволяет ему прижиматься и класть руку на попу, и Вере остается либо врезать изменнику Мише каблуком по яйцам, либо оттаскать Галю за волосы, либо поссорить Костю и Олю, после чего Костя, конечно, добавит «трех топоров» и попытается оттереть Колю от Ксаны, и вся эта история естественно перейдет в драку с участием множества парней и девушек, которые будут бегать с криками по старому парку, кататься по земле, биться на дамбе, тянувшейся вдоль реки, или пускать в ход штакетины, с треском выдранные из заборов по нашей улице...

Я приобщился к клубной жизни благодаря родителям – они брали меня с собой на торжественные собрания, поскольку дома оставить меня было не с кем, а потом стали давать деньги на кино. Однажды отец взял меня в библиотеку.

Фабричная библиотека занимала две комнаты, тесно заставленные полками с книгами. У входа стояла конторка резного темного дерева с настольной лампой и бронзовым чернильным прибором. За конторкой восседала величественная старуха Парамонова, костлявая и страшная. Ее внук нечаянно убил своего отца из охотничьего ружья, с перепуга спрятал тело в подвале, где мыши обглодали его добела. Старуха несколько дней ловила мышей, наевшихся человеческого мяса, «чтобы было что хоронить»: голые кости закапывать было стыдно. Но хоронить мышей ей не позволили родственники. С той поры она была немножко не в себе – то ни с того ни с сего смеялась, то вдруг начинала приплясывать посреди улицы, то напивалась в ивняках у реки в компании беспричинных людей, которые обещали сделать ей нового ребенка. Мне она казалась очень старой, хотя тогда ей не было и пятидесяти.

Дело свое, однако, она знала хорошо, и ее не трогали. Отец любил поболтать с нею о книгах, о журнальных новинках, и старуха Парамонова всегда придерживала для него свежий номер «Нового мира».

Пока отец разговаривал со старухой, я бродил между полками, читая названия книг, которые тотчас вылетали из головы. Вытащил из ряда толстый затрепанный том «Речных заводей», полистал, поставил на место. К книгам я не испытывал ни любви, ни ненависти, и их запах тогда вовсе меня не волновал. Вот в книжном магазине, который открылся на нашей улице, в самом ее начале, пахло потрясающе – новенькой резиновой стеркой, красками, клеем, чернилами, дешевой кожей – от портфелей и готовален. А в той части, где стояли книги, пахло печеным хлебом. Еще недавно здесь была булочная, где всегда клокотала очередь, злая и потная, следившая за тем, чтобы белого хлеба давали не больше «одного в руки», и отоваривавшая хрущевские талоны на пшеничную муку.

Никогда не видел, чтобы в новом книжном кто-нибудь покупал не школьные учебники, а, скажем, Пушкина или там Чехова, а уж тем более – классиков марксизма, под которых был отведен отдельный стеллаж.

Книжный бум в нашем городке начался после приказа Хрущева о сокращении армии. Ликвидировались военные училища, армии, дивизии, и книги из их библиотек хлынули на нашу Свалку – на гидропульперную площадку картоноделательного участка, одного из подразделений

бумажной фабрики. Днем и ночью сюда шли эшелоны с книгами, журналами, газетными подшивками, помеченными штампами и печатями воинских частей и училищ. Хорошо помню «сталинские» и «китайские» эшелоны, полностью забитые собраниями сочинений Сталина и Мао Цзэдуна.

И все это – Сталин, Мао Цзэдун, Пушкин, Гюго, Тургенев, Бальзак, Чехов, Толстой, Островский, Шекспир, Фадеев, Федин, Сергеев-Ценский, «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Советский воин», «Старшина и сержант», «Огонек» – размалывалось в кашу, в пульпу, которая по трубам подавалась на огромные машины, превращавшие Сталина, Пушкина и Стендаля в картон. Этот картон пропитывали пековой смолой – получался гидроизоляционный толь, которым обматывали нефтепроводы и крыли свинарники.

К прибытию эшелонов у Свалки собиралась толпа. Сторожа лениво покрикивали, но не мешали людям рыться в книгах и утаскивать домой какого-нибудь «огоньковского» Тургенева, собрание сочинений Золя или даже, черт возьми, Белинского, которого принес домой Костя Маевский, слесарь мукомольного завода. Книги читали, а если не читали, то выстраивали из них стены в сараях, отделявшие мотоцикл от свиней. Впрочем, на эти цели обычно использовали какие-нибудь словари или книги на иностранных языках.

Справедливости ради надо сказать, что в те дни, когда на Свалку доставляли отходы табачных фабрик, народу сбегалось не в пример больше. Мужики набивали карманы и хозяйственные сумки неразрезанными сигаретами, достигавшими иногда трех-четырех метров в длину, и этого запаса многим хватало надолго. Человек, который выкуривал в день пачку «Примы» за четырнадцать копеек, выгадывал на отходах тридцать-сорок рублей в год – немалые деньги для того, кто зарабатывал около сотни в месяц. На книгах же ничего выгадать было нельзя – в городской и фабричной библиотеках их выдавали бесплатно. Разницу между земным и небесным, между пользой и баловством жители городка понимали с детства.

Дома у нас книг было мало, а те, что были – вроде «Обломова» или стихов Ду Фу, меня, понятно, не интересовали. Единственной нашей книгой, которая вызывала у меня неизменный восторг, были «Три мушкетера» без обложки, начинавшиеся с семнадцатой страницы. А вот у соседей можно было разжиться «Библиотекой фантастики и приключений», жемчужиной которой был, конечно, Эдгар По с «Золотым жуком» и «Убийством на улице Морг» и Дюма с романом «Сорок пять».

В фабричной библиотеке я боялся просить у старухи Парамоновой книги, но иногда она сама совала мне Жюля Верна или Станюковича, записывая их в формуляр отца. Фенимор Купер и Майн Рид всегда были «на руках», и впервые я прочел их в университете, когда надо было сдавать зачет по романтизму, так что оценить по достоинству новизну «Последнего из могикан» или «Всадника без головы» я уже не мог физиологически...

Позднее я узнал, что старуха Парамонова потчевала меня книгами из сострадания: я был единственным ребенком в городке, который носил очки.

Прогрессирующая близорукость на фоне общей физической слабости побудила врачей назначить мне по тридцать уколов алоэ, фибса и витамина В. Девяносто уколов. И это летом! Каждое утро я должен был

рано вставать и тащиться в поликлинику, стоявшую на другом краю широкой низины, в центре которой был устроен стадион. Я всегда оказывался последним в очереди из рыхлых толстух, которые подробно рассказывали друг дружке о своих болезнях, а когда им становилось скучно, начинали расспрашивать, чем таким я болен, что ношу очки, и какие уколы мне назначили. Тон у них при этом был такой, что мне слышалось: «Чем ты провинился, что тебя наказали очками?» Наконец процедурная сестра тетя Лида звала меня, ставила уколы и отпускала на волю.

Из узкого высокого здания поликлиники я выходил во двор, на другой стороне которого громоздилось массивное двухэтажное здание под черепичной крышей. Первый этаж этого здания занимали почта, междугородний телефон, милиция, сберкасса, а на втором располагалась городская библиотека.

Вот туда, в эту библиотеку, я однажды после поликлиники и отправился – скорее из любопытства, чем из любви к книгам.

Туда многие ходили именно из любопытства, чтобы поглазеть на двух красавиц – черненькую Катю Недзвецкую и беленькую Нину Кудряшову, которые работали в библиотеке и испытывали друг к дружке ненависть почти библейскую.

За год до моего первого появления в городской библиотеке наш городок был потрясен страшным преступлением. Вацлав Недзвецкий на глазах у всех убил Ивана Кудряшова. Это случилось после торжественного собрания, посвященного Первомаю. Катя Недзвецкая, как всегда, под бурные аплодисменты мужчин продемонстрировала залу свои прекрасные ножки и чистенькие трусы, раскланялась и уж было собралась уходить за кулису, как вдруг Иван Кудряшов подбежал к сцене и бросил к Катиным ногам огромный букет цветов. Зал замер. Такого в городке не бывало никогда. Чтобы мужчина подарил цветы взрослой женщине, не жене и не учительнице его детей, а чужой женщине, пусть даже жене друга, да еще на глазах у всех, – нет, такого никто не ожидал. На Ивана смотрели как на Гагарина или Гитлера, а на опозоренную Катю и вовсе старались не смотреть.

После буфета, приняв по сто пятьдесят, Вацлав Недзвецкий и Иван Кудряшов вышли во двор, потом спустились к дамбе, где внезапно между ними началась драка. Недзвецкий вдруг выхватил нож и ударил Кудряшова в живот, потом в грудь, потом опять в живот и снова в грудь. Все произошло так быстро, что кричать люди начали только после того, как тело Ивана, скатившегося с дамбы, замерло на берегу у воды.

Участковый Леша Леонтьев забрал у Недзвецкого нож, осмотрел труп, при помощи добровольцев погрузил тело Кудряшова в мотоциклетную коляску и поехал в больницу. Мотоцикл медленно полз по улице, люди стояли на тротуарах, Иван в белой рубашке, заляпанной кровью, сидел в коляске, свесив голову набок, а убийца бежал за ними, размахивая левой рукой и пряча правую – страшную, окровавленную.

Суд приговорил Вацлава Недзвецкого к пятнадцати годам тюрьмы, Ивана Кудряшова похоронили.

Когда-то Кудряшовы и Недзвецкие были лучшими друзьями. Жили в одном доме, вместе ходили в кино и по грибы, вместе по выходным выпивали на берегу реки. Огромный Вацлав Недзвецкий был начальником цеха на бумажной фабрике, а жилистый Иван Кудряшов – электриком и чемпионом фабрики по шахматам. Женились они в один день

на подругах, выпускницах культпросветучилища. Катя Недзвецкая, в которой смешались крови русские и кабардинские, была худенькой, остроносенькой, бойкой, вспыльчивой, а Нина Кудряшова – белокурой, курносой, полноватой, круглолицей, и характер у нее был мирный, мягкий. Их дети – Игорь Недзвецкий и сестры-близняшки Оля и Таня Кудряшовы – вместе ходили в садик, вместе пошли и в школу.

Когда и при каких обстоятельствах дружеские отношения Ивана Кудряшова и Кати Недзвецкой переросли в любовные и было ли это на самом деле, никто, конечно, так и не узнал. Но после того как обе женщины лишились мужей, между ними началась война, которая не доходила разве что до рукоприкладства. Если раньше их дружбу можно было намазывать на хлеб, то теперь их ненавистью можно было опоить всех врагов коммунизма. Они поставили высокий забор на общем огороде, повесили занавеску на общей кухне и изрезали все общие фотографии в семейных альбомах.

Люди приходили в городскую библиотеку, чтобы потом рассказывать соседям о том, как Нина посмотрела на Катю и что та прошипела в ответ.

Вскоре Катя и Нина надели мини-юбки – первыми среди взрослых женщин в нашем городке. Мужчины сразу откликнулись на этот сигнал. Вдовец Веденеев являлся сюда почти каждый день и не скрывал интереса к овдовевшей Нине. А это злило Катю, которая была соломенной вдовой и не могла себе позволить отношений с мужчинами: при живом муже она словно вышла замуж за безжалостное общественное мнение городка, следившего за каждым ее шагом.

Но жизнь соседей интересовала меня – а было мне тогда, кажется, двенадцать – гораздо меньше, чем судьбы вымышленных персонажей, и в библиотеку я пришел, конечно, за приключениями.

Входная дверь уперлась в круглую железную печь, я переступил высокий порог и оказался перед конторкой, за которой сидела Нина Кудряшова. Когда я, запинаясь и путаясь, сказал, что хочу записаться в библиотеку, Катя Недзецкая выглянула из читального зала и крикнула, что я еще не дорос до взрослых книг. Нина мягко улыбнулась, макнула стальное перо в чернильницу и стала оформлять первую в моей жизни карточку читателя. Потом повела меня в соседний зал – комнату, заставленную книжными полками. На ходу, плавно покачивая бедрами, она перечисляла имена авторов и названия книг, которые мне будут интересны. Разумеется, это были фантастические, приключенческие и исторические романы.

Я открыл первую же книгу, прочел: «Звездолёт продолжал звать и тогда, когда до планеты осталось тридцать миллионов километров и чудовищная скорость “Тантры” замедлилась до трёх тысяч километров в секунду. Дежурила Низа, но и весь экипаж бодрствовал, сидя в ожидании перед экранами в центральном посту управления. Низа звала, увеличивая мощность передачи и бросая вперёд веерные лучи», и понял, что это именно то, чего я хотел. Звездолет, миллионы километров, пост управления, веерные лучи – о да!

Нина оставила меня в зале одного, и я принялся листать книгу за книгой. Збышек, выжимающий сок из дерева, Ян Жижка, слуга короля Вацлава, четыреста с чем-то градусов по Фаренгейту, фотонолеты и ионолеты, Спартак – предводитель гладиаторов, анатомия и физиология человека, биохимия клетки, берестяные грамоты, «Вокруг света на “Коршуне”», верный Шико под стенами Коньяка, Петр Великий,

угощающий артиллеристов трубкой в тени гигантского орудия, которое било по Нарве, – все это было вскоре проглочено, а кое-что переварено и усвоено. Ну, например, я навсегда запомнил, что охлаждать тяжелые пушки водой нельзя – только винным уксусом. Иногда мне кажется, что свобода человека как-то связана с его тягой к бесполезным знаниям...

Каждую неделю я набирал в городской библиотеке семь-восемь книг. Прочитав «Осудареву дорогу», брался за «Жерминаль», потом за, черт бы его взял, «Фауста», после которого легко шли «Педагогическая поэма» и «Приключения бравого солдата Швейка», за ними с тяжким грохотом открывались врата угарных подземелий «Преступления и наказания», следом – обе пьесы Алексея Толстого, написанные в соавторстве с профессором Щеголевым, и завершался этот забег книгой Эйхенбаума «О литературе» или пособием по атлетической гимнастике.

В будние дни я ходил в библиотеку после школы, а в воскресенье, особенно летом, когда взрослые были заняты в огородах и на сенокосах, – за два-три часа до закрытия, чтобы порыться в книгах без помех. Библиотекарша за конторкой, старушка в читальном зале, годами изучавшая медицинскую энциклопедию том за томом, и я – больше никого в библиотеке в такие дни не было.

Иногда мне хотелось воспользоваться случаем и проникнуть в комнату, куда вход читателям был запрещен. Она находилась в конце того самого зала, где я бродил между книжными полками. Дверь, ведущая в эту комнату, была спрятана за плюшевой занавеской. Я уже слыхал о запрещенных произведениях, о Солженицыне, например, и мне казалось, что там, за плюшевой занавеской, хранились именно такие книги – вся правда о жизни и смерти, вся магия и алхимия истории, скрытая от читателей, как скрыта была от нас вся темная сторона правды.

Как-то мне удалось случайно заглянуть за занавеску – я увидел стеллажи, на которых навалом лежали книги и газетные подшивки, маленький стол с чайником и тахту, угол которой торчал из-за книжных полок.

Когда-то главным в библиотеке был старик по прозвищу Мороз Морозыч, инвалид с большой белой бородой, передвигавшийся на костылях. Иногда его так мучили боли, что не помогали и костыли. Возможно, в такие дни он ночевал в библиотеке, в комнатке за плюшевой занавеской, и все мои фантазии о тайне и магии не стоили и гроша...

Однажды летом я пришел вечером в библиотеку, взял несколько томов Чехова – книги на букву «ч» находились в конце зала – и уже собрался уходить, как вдруг увидел на полу у плюшевой занавески мужские туфли. Это были остроносые «стиляжные» туфли – других таких в городке не было. Принадлежали они Ирусу, который когда-то был королем нашей улицы, кумиром мальчишек, веселым выпивохой и ловким драчуном, отсидевшим небольшой срок «по хулиганке», а теперь работал на пилораме, по вечерам дрался с толстой женой и гулял от нее налево и направо. Туфлями своими он гордился, надевал их редко и тщательно за ними ухаживал. С годами они почти сплошь покрылись заплатками и заплаточками, но Ирус говорил, что у него рука не поднимается их выбросить.

Я смотрел на туфли, стоявшие у двери, и слышал скрип тахты, надсадное дыхание и женские стоны, доносившиеся из-за плюшевой занавески. Через несколько минут раздался задушенный женский крик, и все стихло.

Я бросился вон из зала, положил перед Катей Недзвецкой стопку книг, она внимательно посмотрела на меня – от ее взгляда меня бросило в жар – и вписала три тома Чехова в мой формуляр. Теперь я понимал, почему она посмотрела на меня с такой тревогой, когда я пришел в библиотеку.

На следующей неделе я нарочно пришел в такое же позднее время, снова увидел туфли Ируса у двери, опять услыхал женские стоны, но на этот раз за конторкой сидела белокурая Нина, и она посмотрела на меня так же внимательно, как неделей ранее смотрела на меня Катя.

Судя по всему, Ирус поочередно спал с обеими женщинами, при этом вел себя по-мужски, как настоящий разбойник, никому не рассказывающий о своих сокровищах. Узнай об этом кто-нибудь в городке, Нину и Катю не спасло бы от срама и смеха даже самосожжение на площади.

Проникнув нечаянно в чужую тайну, комичную, нелепую и горькую, я просто перестал читать Чехова, Шолохова и Языкова, мысленно проложив границу в зале по полкам с Олешей и Паустовским. Да и вообще стал приходить в библиотеку в первой половине дня.

А в конце лета Ирусу циркулярной пилой отрезало правую руку, и он, решив, видимо, что это знак свыше, больше никогда не появлялся в комнате за плюшевой занавеской.

Читатели же заметили, что Катя и Нина притихли, словно взяли паузу в войне вдов. Ни обмена колкостями, ни презрительных взглядов, ни надутых губ – ничего такого, что напоминало бы о вражде и давало пищу сплетникам.

История эта, однако, не давала мне покоя.

Я думал о смуглянке Кате, которая, как мне уже было понятно, вовсе не так стара, чтобы хоронить себя заживо ради мужа, отбывавшего срок где-то на Севере. Она была непоседливой женщиной, которая не могла отдать воспитанию единственного сына Игоря всю себя, без остатка, как писали в романах. Я уже догадывался, что «без остатка» не бывает, пока человек жив, и вот этот остаток доводил Катю до отчаяния и мог довести до беды, появись только в ее жизни хоть ничтожная трещинка, хоть какая-нибудь щелочка для зла. Чтение и жизнь среди книг еще никого не спасали от несчастья.

Я думал о ее муже, Вацлаве Недзвецком, который всегда считался примерным семьянином, любящим мужем и отцом. Он был хорошим начальником цеха, а уж найти в городке человека, который прочел бы книг больше него, было, кажется, невозможно. Говорили, что в юности он мечтал об артистической карьере, хотел поступать в театральное училище, но потом вдруг спохватился, окончил техникум и стал квалифицированным технологом целлюлозно-бумажного производства.

Я помню, как на концерте художественной самодеятельности он читал со сцены фабричного клуба монолог из какой-то пьесы, как ему аплодировали и как потом, после концерта, мужики со смехом похлопывали его по плечу и говорили: «Сам-то хоть понял, Слава, про что говорил, а? Но все равно – молодец, молодец...», а он, огромный медведище, слушал их с красным напряженным лицом и пытался улыбнуться, пока жена не взяла его под руку и не увела домой, и он покорно шел рядом с нею, по-стариковски шаркая ногами...

Тогда я не понял, что случилось. Недзвецкий читал со страстью, доходившей до надрыва. Непонятны были слова, непонятна была мука,

звучавшая в этих словах. Хорошо помню то чувство неловкости, которое я испытал, слушая взрослого человека, который выкрикивал со сцены что-то, казалось мне, постыдное, неуместное. Люди пришли в клуб вовсе не за этим. Они пришли посмотреть на его жену, на «Катины трусы», повеселиться, выпить в буфете свои сто пятьдесят и спокойно разойтись по домам. А тут вдруг – нате! И дело было не в словах, а в музыке его речи. Это была непривычная и неприятная музыка.

Запомнились лишь несколько строк из монолога, который читал тогда со сцены Недзвецкий. И только много лет спустя эти слова, лежавшие мертвым грузом в моей памяти, всплыли и встали на свои места в монологе Глостера из «Генриха VI», которого я прочел впервые:

Как заблудившийся в лесу терновом,
Что рвет шипы и сам изорван ими,
Путь ищет и сбивается с пути,
Не зная, как пробиться на простор,
Но вырваться отчаянно стремясь, –
Так мучусь я...

Понятно, чем и почему у Шекспира мучился герцог Глостерский, на какой-то миг испугавшийся того зла, которое рвалось из его души на волю и в конце концов завладело им безраздельно, превратив горбатого негодяя в полубезумного убийцу и садиста Ричарда III.

Но чем мучился Вацлав Недзвецкий, заурядный начальник цеха бумажной фабрики в провинциальном городке, человек, который был женат на красавице, старательно исполнял свои служебные обязанности, дважды в месяц расписывался в зарплатной ведомости, сажал картошку, играл в шахматы, запоем читал, ходил с сыном на рыбалку и мечтал разве что о прибавке к жалованью? Откуда вдруг в нем эта страсть, эта мука, этот надрыв – из каких трещин и щелей души? И что клокотало в этой бездне, когда он выхватил нож и ударил лучшего друга в живот, потом в грудь, потом опять в живот и снова в грудь? И о чем он думал, что чувствовал, лежа ночью в лагерном бараке и вспоминая красавицу жену, тень, которая ждала его на другом краю бездны?..

Еще я думал об Иване Кудряшове, лучшем шахматисте городка, которого вдруг потянуло к Кате, и о его жене Нине думал я, о немногословной женщине, матери сестер-двойняшек, которая на кладбище притягивала все взгляды: обманутая жена и несчастная вдова, не проронившая ни слезинки – к неудовольствию городских кумушек. Она склонилась над телом мужа, лежавшего в гробу, поцеловала его в лоб и на глазах у всех расстегнула верхнюю пуговку на его рубашке, ясно давая понять, что не станет хранить верность его памяти. А взглядом, который она в воротах кладбища кинула на подругу Катю, можно было испепелить стадо коров...

– Сколько ж чертей в этом тихом омуте, – сказала Буяниха. – И один другого страшнее...

Наверное, именно тогда я начал понимать, что мы всегда будем стремиться к той незримой и подвижной грани, которая отделяет непознанное от непознаваемого, но перейти ее нам не дано...

«Бесы никогда не ходят поодиночке», – говорила моя бабушка.

Не успели Нина и Катя пережить разрыв с Ирусом, как в городке появился Михаил Михайлович Мусинский, учитель музыкальной

школы, необыкновенно красивое и эфемерное существо, ангел во плоти – ниспадающие на плечи шелковые кудри, огромные голубые глаза, длинные ресницы, пухлые губы, тонкие пальцы, точеный нос, фарфоровая кожа. Он учил детей игре на фортепьяно, говорил чуть задыхаясь и закатывая глаза и сразу стал любимцем женщин и мишенью для мужчин, которые прозвали его Мусей и отпускали в его адрес грубые шуточки.

Поселили его рядом с городской библиотекой, за стенкой, в комнатке на втором этаже, где стояли два стула, столик, железная койка и жестяной рукомойник. Готовить еду ему приходилось на электрической плитке, а в туалет ходить во двор, в дощатую будку на задах, среди лопухов. Но каждый день Муся выходил на улицу благоухающий, в отглаженных брюках и при галстучке.

Был он так невинен, так чист и свеж, что Буяниха, которая дважды в неделю забирала из музыкальной школы внучку, при встречах с ним стыдилась своего заштопанного лифчика, хотя видеть его Муся, конечно же, не мог.

Вечера и выходные дни он проводил в библиотеке. Брал только поэтов – Тютчева, Фета, Веневитинова, Боратынского, Анненского, Тарковского. Устраивался за столом в читальном зале, в уголке, открывал книгу и погружался в чтение, иногда записывая что-то в тетрадь, которую приносил с собой.

Нина Кудряшова смотрела на его домашние тапочки, облегавшие его изящную стопу, и умиленно вздыхала. Катя Недзвецкая не могла оторвать взгляда от его сияющей фарфоровой кожи и тоже вздыхала.

Их взгляды и вздохи не остались незамеченными в городке. Читатели недоумевали: чем мог привлечь этот бесполый с виду эльф молодых женщин «в соку», страстную худышку Катю и нежную телушку Нину? С их-то задницами! С их-то грудями!

Всех женщин умиляла его красота, но они считали его двухсбруйным, вроде Любаши-вохровки, охранявшей железнодорожный мост с винтовкой в руках и любившей «помять» свою младшую сестру-дурочку. Эту Любашу в пятницу, в женский день, не пускали в городскую баню. А мужики прямо называли Мусю «пидором» вроде гиганта Смагина, вернувшегося из тюрьмы с кличкой Дарья. С ним никто не здоровался за руку, чтоб не заразиться, и если он в Красной столовой садился за стол с кружкой пива, все переходили за другой стол.

И все соглашались в том, что Муся в сыновья годится обеим женщинам, а значит, между ними и быть ничего не может. К мезальянсу в городке относились непримиримо, делая исключение только для участкового Леши Леонтьева, который после смерти жены, сошедшей с ума еще во время войны, когда погиб их маленький сын, женился на семнадцатилетней Немочке. Но Леша был особенным человеком, настоящим мужиком, фронтовиком, из его щетины можно было гвозди делать, и сравнивать его с Мусей, чье личико явно не знало бритвы, язык не поворачивался даже у припадочных брехунов.

Несколько месяцев читатели следили за Ниной, Катей и Мусей, любовно выстраивая сюжет захватывающей истории, которая почти каждый день расцветала новыми деталями.

Мальчик поблагодарил Нину, когда она принесла ему чаю с печеньем, и проводил ее взглядом, завороженный видом ее роскошной задницы. Катя попросила Мусю донести до ее дома сумку с продуктами, и всю дорогу они о чем-то оживленно болтали, долго стояли у подъезда,

а потом, когда прощались, Катя наклонилась к нему, словно хотела поцеловать, но в последний миг передумала. Кто-то видел мужчину, который на рассвете покидал Катину квартиру, но утро было темным и туманным, поэтому лица любовника разглядеть не удалось. А кто-то клялся, что слышал стоны Нины, доносившиеся ночью из комнаты мальчика, хотя соседка говорила, что Нина всю ночь возилась с дочерью, отравившейся чем-то в школьной столовой.

Когда Мусю прямо спрашивали, что ему больше нравится – крепкое вино или сладкое молоко, Катя или Нина, он краснел и терял дар речи.

В начале весны к Мусе приехала мать, и по этому поводу в библиотеке устроили чаепитие. Катя и Нина надели нарядные платья и сделали прически. Они ухаживали за Мусиной матерью, подкладывая ей кусочки получше, а она, маленькая, кругленькая и говорливая, рассказывала, как трудно воспитывать восьмерых детей в одиночку. Ее муж – он был сталеваром – умер вскоре после войны от ран, старшие сыновья пошли на завод, три дочери, слава богу, вышли замуж, а Муся, самый младший, появившийся на свет после смерти отца, всегда был особенным: любил музыку и дружил только с девочками. Катя и Нина ахали, охали, то смеялись, то печалились, пили чай, пачкая чашки губной помадой, и ласково смотрели на Мусю, у которого на верхней губе трогательно белела полоска крема от заварных пирожных...

А на следующий день библиотека сгорела.

Второй этаж здания, в котором она располагалась, был деревянным. Огонь, вспыхнувший поздно вечером в комнате Муси, быстро проник в соседние помещения, от пола до потолка набитые бумагой, и через полчаса, когда приехала первая пожарная машина, все здание было охвачено пламенем. Почта, милиция, междугородний телефон, сберкасса, библиотека с пятьдесятью тысячами книг – все сгорело, а что не сгорело, было залито водой.

У горящего здания собралась огромная толпа. Люди глазели на пожарных, а в сторонке стояли обнявшись две несчастные библиотекарши, Катя и Нина, и оплакивали бедного Мусю, пытавшегося приготовить ужин на неисправной электроплитке и погибшего в огне...

При пожаре погибли не все книги – некоторые удалось спасти, в том числе черный восьмитомник Шекспира с карандашными пометками Вацлава Недзвецкого на полях «Генриха VI» и «Юлия Цезаря». Уцелевшие книги перевезли на склад бумажной фабрики, где Катя и Нина несколько недель приводили их в порядок – разбирали, очищали от копоти, подклеивали, связывали в пачки.

Месяца через два городская библиотека открылась в другом месте, на первом этаже старинного здания, стоявшего неподалеку от проходной ракетной бригады.

В этом здании не было скрипучих деревянных лестниц и полов, не было железных печек, от которых зимой волнами шел пахучий жар и коробились книги, не было ступенек между комнатами, расположенными на разных уровнях, не было читального зала с неизменной старушкой, изучавшей том за томом медицинскую энциклопедию, не было древней конторки с чернильным прибором, не было, наконец, тайной комнаты с дверью за плюшевой занавеской и видавшей виды тахтой. Да и Катя с Ниной казались в просторных и светлых помещениях какими-то другими, не такими, как прежде. Впрочем, может, дело было только в том, что я позрослел...

А в начале лета случился скандал, который сразу затмил и пожар в библиотеке, и смерть Муси, и слухи о похождениях красавиц-библиотекарш.

На сцену вдруг вышли дочери Нины Кудряшовой – сестры-близняшки Оля и Таня, и сын Кати – смуглый красавец Игорь Недзвецкий, а также Леша Леонтьев, бывший участковый милиционер.

Незадолго до школьного выпускного вечера Нина Кудряшова узнала, что ее дочери беременны, обе – от Игоря Недзвецкого. В тот же день Игорь признался матери, что соблазнил Ольгу и Татьяну Кудряшовых. Произошло это по ошибке, и часть вины за эту ошибку лежала на сестрах-близняшках.

Игорь давно ухаживал за Ольгой, и все в городке гадали, когда он сделает ей предложение – до призыва в армию или после, а в том, что сделает, не сомневался никто. И никто же не сомневался в том, что Ольга это предложение примет. Уверен был в этом и Игорь, особенно после того, как Ольга позволила ему все. Эта его уверенность иногда раздражала ее, и однажды тот бес, который таится в каждой красавице, подсказал, как проучить самоуверенного парня. Она отправила на свидание вместо себя сестру-близняшку Таню. Они и раньше шутки ради проделывали такой фокус, но на этот раз шутка зашла слишком далеко.

Таня в свое оправдание говорила, что должна была держать себя так, чтобы Игорь ничего не заподозрил, и откуда ж ей было знать, что отношения Игоря и Ольги уже не ограничивались поцелуями. Ольга, конечно же, не верила сестре, поскольку знала, что та втайне влюблена в Игоря. Но изменить уже ничего было нельзя: обе были беременны. Одна из них очень хотела верить Игорю, который клялся и божился, что сделал это по ошибке, другая ему, конечно, верить вовсе не хотела, утверждая, что он все сразу понял и знал, с кем обнимается на сеновале.

Игорь не отказывался от женитьбы на Ольге, но Татьяна, которая раньше молча завидовала сестре, теперь ни в какую не желала уступать парня сестре. В ней тоже проснулся бес, и этот бес был готов идти до конца.

Обе матери, и вспыльчивая Катя, и мягкая с виду Нина, были женщинами волевыми и твердыми, и дети, Игорь и близняшки, были готовы подчиниться воле матерей. Но ни Катя, ни Нина не знали, как решить проблему, подкинутую как будто самим дьяволом, который с самых древних времен использует в своих целях двойников и отражения в зеркалах.

Катя и Нина уложили детей спать, заперлись в кухне и всю ночь думали, что делать, и не придумали ничего лучше, как обратиться за помощью к Леше Леонтьеву.

Леша пользовался в городке непререкаемым авторитетом, хотя к тому времени вышел на пенсию, дослужившись всего-навсего до звания лейтенанта милиции. Человек, полагавшийся скорее на опыт и мужицкую смекалку, чем на закон и голый ум, мужик, прошедший всю войну, битый и тертый жизнью, он понимал, что преступление и преступник – не одно и то же. Это, конечно, понимал не только он, но Леша был одним из немногих, кто всегда поступал так, как понимал. Многие матери и жены поминали в своих молитвах участкового, который спас от беды их мужей и сыновей. Леша был своим по духу и крови, он сажал картошку, держал поросят и никогда не отказывался от стаканчика

самогона, поднесенного соседом, хотя сам самогон не гнал – это было запрещено законом. Люди по привычке шли к нему за помощью, и Леша никогда не отказывал.

Не отказал он и Нине с Катей.

Вечером женщины накрыли стол, выставили бутылку, встретили Лешу как дорогого гостя и заперли все двери и окна. Разговор затянулся допоздна.

Часа в три ночи Леша вернулся домой. Он шел посередине улицы, широко расставляя ноги и напевая «Темную ночь», иногда даже пускался в пляс, размахивал руками и хитро подмигивал бродячим собакам, а потом лег спать в садовом домике, чтобы не будить Немочку и детей.

И никто так никогда и не узнал, о чем они там все говорили и до чего они там все договорились. Но договорились, и этот их договор поверг всех читателей городка в изумление.

На следующий день тридцативосьмилетняя Нина Андреевна Кудряшова и восемнадцатилетний Игорь Вацлавович Недзвецкий подали заявление в ЗАГС. Через месяц их брак был зарегистрирован, и они стали законными мужем и женой. Свадьба была скромной, только для своих. Через полгода Ольга и Татьяна родили, а еще через полгода уехали учиться в университет, где вскоре вышли замуж – Ольга за однокурсника, а Татьяна за выпускника высшего военного училища – и, забрав детей, уехали – одна в Калугу, другая в Хабаровск.

Игорь осенью ушел в армию, писал письма матери, передавая приветы Нине. Когда через два года он вернулся домой, Нина сказала, что теперь они могут развестись, чтобы Игорь мог строить свою жизнь как ему заблагорассудится. «Ладно, – сказал Игорь, – но ты мне должна ночь». Нина густо покраснела и кивнула: как-никак она была его женой. Через десять месяцев она родила двойню – двоих мальчиков. Игорь окончил техникум, потом институт, был инженером на бумажной фабрике, потом затеял свой бизнес. Однажды он ушел от Нины, жил с какой-то молоденькой училкой, но через два года вернулся к жене и детям. Много лет спустя, умирая от рака, Нина сказала: «Это ужасно, когда тело отказывает, становится безобразным, и ничего с этим поделать нельзя». Игорь взял ее за руку и сказал: «Твое тело так часто доставляло мне радость, что ни о чем, кроме радости, я и сейчас не могу думать. Может, это и есть любовь?» Но Нина не успела ответить на этот вопрос.

А Катя – Катю после женитьбы сына понесло. Она пила и гуляла напропалую, словно намеренно сжигая себя. Сначала связалась с женатым офицером, потом с холостым нефтяником, которого сменил старшеклассник, а после него в ее постели кто только не побывал...

За две недели до возвращения Вацлава из тюрьмы Катя узнала, что у нее рак и жить ей осталось недолго.

Через две недели Вацлав Недзвецкий взял ключ, спрятанный под ковриком, открыл дверь и увидел Катю. Она висела в гостиной – в нарядном платье, с подведенными глазами и накрашенными губами, в лучших своих туфлях, которые Вацлав подарил ей на годовщину их свадьбы. Туфли, впрочем, соскользнули с ее ног и валялись на полу.

Он поднял туфли, поставил их на стол в кухне, закурил и долго смотрел в угол. Потом набрал воды в ванну, лег, вскрыл вены, прижал к груди туфли, закрыл глаза и отправился вслед за Катей, покинув наконец страшный терновый лес, – свободный, наконец-то свободный,

он бросился вдогонку за прекрасной своей женой с туфлями в руках, которые она так любила...

Библиотека – это не книги, а люди. Люди, живущие среди книг и в книгах. Старуха Парамонова, которая ловила мышей, сожравших ее сына, мужики, тащившие со Свалки домой Гюго и Белинского, звездолетчица Низа, бросавшая вперёд веерные лучи, Катя Недзвецкая, демонстрировавшая свои трусики залу, «Золотой жук» и «Заговор императрицы», Нина Кудряшова с ее роскошной задницей, расстегивающая верхнюю пуговку на рубашке покойного мужа, горбатый Глостер в терновом лесу, однорукий Ирус в заплатанных остроносых ботинках, Вацлав Недзвецкий, весь в крови, с туфлями жены в руках, Мусик, боящийся и крепкого вина, и сладкого молока любви, Игорь Недзвецкий у постели умирающей жены, подарившей ему так много радости, пьяненький Леша Леонтьев, приплясывающий на ночной улице, Буяниха, Любаша-вохровка, бродячие собаки, боги и герои, бесы и ангелы, добро и зло, свет и жар...

Книги доносят до нас свет и жар другой жизни, связывая поколения, и потому-то мы не умираем с каждой смертью, прирастая любой жизнью. Бывает, что книги горят, как люди, и иногда мне кажется, что и в этом проявляется Господень замысел о нас, о тех, кто путь ищет и сбивается с пути, и этот безжалостный замысел заключается, может быть, в том, чтобы наша память навсегда сохранила боль ожога, отвращение к тьме и жажду любви, а остальное – с остальным люди как-нибудь сами справятся...

Елена ОНОСОВСКАЯ

Родилась в 1962 году в Ленинграде. Окончила математико-механический факультет Ленинградского государственного университета. Работает учителем математики и информатики в школе для детей с ограниченными возможностями по ДЦП. Рассказы и пьесы публиковались в коллективных сборниках.

Живет в Санкт-Петербурге.

АХ, ВОЙНА, ЧТО Ж ТЫ СДЕЛАЛА, ПОДЛАЯ...

Седьмого января в сельской глубинке Прованса собралось несколько человек, чтобы отпраздновать православное Рождество. Южная зима подходила к концу: прекратились дожди, сквозь слой опавших листьев пробивались крокусы, на солнечных склонах гор зацветала мимоза.

Гостей принимали Пьер и Татьяна, с ударением на последнее «а». В прошлом Татьяна была актрисой драматического театра в городе Петрозаводске, но лет в 45 умудрилась выйти замуж за очаровательного Пьера, полуфранцуза-полуиспанца. Пьер не имел постоянной работы, зато жил в собственном доме в горах, дом достался ему от деда.

Первыми прибыли украинка Катя со своим старым мужем Жаном-Мари. Жан-Мари владел виноградником и заодно выращивал всякие овощи, Катя называла его колхозником, Жан-Мари не понимал и не обижался. Он был грузен, и его ярко-голубые глаза в сочетании с набухшими красными веками наводили на мысль о почти невозможном в этих краях алкоголизме. Впрочем, ни для кого не было секретом, что он и в самом деле крепко пил и вообще опустился после смерти своей первой жены-француженки. Статная, большегрудая Катя была родом из Крыма. Хотя Катерина приехала когда-то на Авиньонский фестиваль в качестве участницы группы народной самодеятельности, она была привычна к крестьянскому труду, не побоялась взяться за запущенные земли Жана-Мари, за что была вознаграждена брачным союзом и стабильным достатком. Вот и сейчас она выгрузила из очень старого, но ухоженного автомобиля корзины с угощением и еще просто так, в подарок хозяевам, связку домашних колбас, коробку сыров, косичку лука, огромную тыкву и, главное, пару канистр превосходного домашнего вина.

Женщины говорили по-французски и сами смеялись над своими акцентами – у одной северный, у другой украинский, – а главное, над обычной французской приветственной болтовней: «сова-сова бьен– э туа – бьен – мерси – бо– тре-тре бо – иль фер бо ожурдию – ви – се вре –

се вре – ви– тре бьен»*… Старые приятельницы ревниво рассматривали друг друга, и все эти слова вдруг показались им особенно нелепыми. Впрочем, довольно быстро мужчины с энтузиазмом удалились в дом для аперитива, а их жены принялись накрывать в саду стол и перешли на русский язык.

– Сегодня ожидается новенькая. Совсем молодая, еще нет тридцати, вышла замуж за военного в отставке. Ее Ира зовут, его, кажется, Мишель.

– Что, опять Мирочка постаралась? Ею скоро полиция заинтересуется. Мой колхозник уже весь изворчался на засилье иностранцев.

– Нет, сама познакомилась, представь себе, по Интернету.

– А почему примкнула к нашей компании?

– Тоскует. На грани нервного срыва. Узнала, что в округе есть русские, и вышла на связь. Мирочка ее пригласила, говорит, та чуть не плакала от счастья.

– Мне тоже было нелегко первые два года. Я работой спасалась. До кровавых мозолей. Это сейчас вся Маришкина родня приперлась, а поднимала все я сама.

– Молодец… А мне до сих пор иногда тошно. Пьерчик как уедет на несколько дней к кому-то что-то строить, мне хоть волком вой. Интернет не работает, мобильник только с соседней горы... Я тут песни народные пою, романсы, а иногда даже повторяю старые роли, представляешь, какой дурдом?

– Хочешь назад в Петрозаводск?

Татьяна вздохнула, нахмурилась, опустила тяжелые накрашенные ресницы.

– А свою собственную племянницу Мира так и не пристроила? – снова заговорила Катя.

– Поди такую пристрой. Уже третий раз приезжает. Жмется, мнется и очень странно шутит.

– Видали, видали. Случай тяжелый, однако не смертельный. Она вроде моложе нас. Не горбатая, не кривая… А острот французы все равно не понимают, по экстерьеру судят.

– Ну, не скажи. Конкуренция-то возросла с этим их Евросоюзом. Теперь, если француза потянуло на экзотику, он без всякой женитьбы может взять себе полячку или болгарку… или румынку, те к тому же говорят почти по-французски. Это не считая негритянок и арабок. А еще здесь почему-то полно бразильянок. Они знаешь какие? Ты карнавал по телевизору видела когда-нибудь? Ну вот то-то и оно. Какая уж тут маньес де Петербур**.

– Да, но, слухи ходят, она кого-то нашла.

– Кандидат наметился. Он тоже сегодня будет, зовут Рене. Придурок редкостный, между нами говоря. Я думаю, сумасшедший. Среди французов очень много психов. Старая нация. Вырождаются.

– Знаешь, на каждую косую кастрюлечку найдется своя горбатая крышечка.

Тем временем прибыли Ира и Мишель. Ира выглядела девочкой и, в общем, единственная из присутствующих дам была похожа на француженку – худая, одетая в спортивное, без всякой косметики. Она

---

* Как дела – дела хорошо – а у тебя – хорошо-спасибо – прекрасно – очень прекрасно – сегодня прекрасная погода – да – это правда – это правда – да – очень хорошо.

** Моя племянница из Петербурга.

еще не привыкла к тому, что при любой встрече она обязана два раза поцеловаться со всеми: с незнакомыми ей лохматым и бородатым Пьером, с небритым сопящим Жаном-Мари. Катя по-матерински прижала ее к своей выдающейся груди, Таня жеманно прикоснулась нежной впалой щекой. Ира с явным трудом отвечала на посыпавшиеся градом вопросы: родилась в Белоруссии, жила в Подмосковье, работала программистом, да, платили очень мало даже программистам… да… в России жить нелегко… Франция мне нравится… очень красивая страна… Люблю Францию очень… здесь красиво очень… тре жоли иси*.

Ира вдруг поняла, что ее героические попытки говорить по-французски понятны только женам, а их мужья, ничего не разобрав в бормотанье иностранки, спрашивают о том же Мишеля.

– Же не парль па франсе!** – громко сказала Ира и покраснела от злости.

– А как же с ним? – заинтересовались Пьер и Жан-Мари с грубоватой, провинциальной развязностью.

– Мы общаемся на английском и отлично друг друга понимаем, – ответил ее муж, уверенно и властно обнимая хрупкую Иру, – она научится французскому и через год будет говорить без всякого акцента.

– Лямур!*** – сладко улыбнулась Татьяна.

– Ага. Тужур****, – прошипела Ира. – Научишься тут у них, как же… Они не желают ничего понимать кроме идеального французского языка.

– А кому легко? – Катя хлопнула ее по плечу. – Привыкнешь, не расстраивайся, три к носу.

– Вы говорите по-русски, – Ира просияла, слушая родную речь, как музыку. – Какое счастье. Оторвусь за полгода. Побудешь, Миша, в моей шкурке, – обратилась она к озадаченному Мишелю, который не понимал ни слова.

Осмотрев накрытый стол, Ира и вовсе развеселилась.

– Ай, да это просто сон. Огурчики соленые, грибочки, боже, оливье… А это? Пироги с капустой... И ватрушки? Катенька, вы сами пекли? Девочки, я попала в сказку? А это что, неужели сало? Боже, я думала, уже никогда ничего подобного не увижу…

– Крепись, мошери*****, это только начало.

Внезапно все услышали громкий женский голос, горланящий «Марсельезу», пение сопровождалось ударами бубна, невероятный концерт разносило горное эхо.

– Мирочка! – догадались Таня с Катей.

Из-за живой изгороди появилась старая женщина небольшого роста, которая продолжала трясти бубном. Она была одета в длинное африканское платье и бейсболку, из-под которой задорно выбивались две тонкие седые косички. За ней, приплясывая, продвигался грациозный некрупный мужчина средних лет, следом женщина с классическим русским лицом. Это бесхитростное лицо, не таясь, выражало досаду: «Ну почему я должна появляться в сопровождении этих клоунов?»

Экстравагантная Мирочка, а на самом деле ее звали Мирей, была истинной героиней вечера. Потомок русских эмигрантов первой волны, родившаяся во Франции в 1931 году, она не забыла свое происхождение

---

* Здесь очень красиво.

** Я не говорю по-французски.

*** Любовь.

**** Всегда.

***** Дорогуша.

и с энтузиазмом шла на контакты с соотечественниками. В результате у нее в доме подолгу жили ее родственники и знакомые, некоторые из них, например Таня и Катя, в результате выходили замуж за французов.

– А, Мирей! – пробасил Жан-Мари. – Как хорошо, что ты пришла, теперь я не самый старый.

– Я правильно поняла? Где же хваленая французская галантность? – прошептала пораженная Ира.

– А сожрали ее с маслом и круассанами, – отозвалась Катя, пока они строились в очередь для целовального обряда. Двое хозяев и четверо гостей неторопливо и естественно переобнимались и перецеловались с тремя вновь прибывшими. Похожую на матрешку племянницу звали Люба, а ее чудесно обретенного ухажера – Рене. Выяснилось, что Жан-Мари и Пьер знали Рене, как, впрочем, здесь знали друг друга все старожилы. Рене работал в государственной дорожной службе, следил за состоянием дорог, иногда сам их чистил и ремонтировал. Так как и Пьер, и Жан-Мари жили на хуторах, они сталкивались с дорожной службой регулярно. А вот Мишеля никто раньше не встречал. Оказалось, это неслучайно: Мишель относительно недавно купил в Провансе дом. Он был молодым военным пенсионером, решил пожить не работая, скромные доходы позволяли ему обосноваться только лишь в деревне.

– Прикольное платье у племянницы, небось, старше ее самой. Наверняка у Мирей в доме подобрала себе секондхенд на выход, – прошептала Татьяна.

– А что в России сейчас купишь-то, если не миллионер? – прищурилась Катя, разглядывая «маньес». – Да ей и неплохо. Натуральный шелк. Если честно, я сама это платьице у Миры в доме примеряла, когда там жила. Да мне в сиськах не сходилось.

– И я теперь его припоминаю. Мне было велико, – хихикнула Таня.

Они обе раньше жили у Мирей, перед тем как выйти замуж. Особенно долго там засиделась Катя, она два года, сжав зубы, батрачила на полях Жана-Мари за мизерную плату, предчувствуя перспективу замужества.

Мирей и «маньес» прибавили свою лепту к русскому столу. Любе удалось блеснуть, потому что она только вчера прилетела из Петербурга. Она привезла настоящий черный хлеб, докторскую колбасу, огромное количество селедки, половина которой пошла на малиново-желтую селедку под шубой. В доме у Мирей она уже успела наварить целую кастрюлю гречневой каши с жареным луком, которая была встречена русскими на ура. В довершение всего она смущенно передала хозяевам семисотграммовую бутылку русской водки. На этикетке гримасничал Распутин.

– Раз пошла такая пьянка, то посмотрим, чья возьме, – закричала Катя и извлекла откуда-то бутылку с мутноватой жидкостью. – Москальская водка против хохляцкой горилки.

– Яблоки, виноград? – со знанием дела спросил Пьер.

– Цукер-сахарок! Все перепробовали, ничего лучше не найти.

Рене пошевелил породистыми тонкими ноздрями, оценивая содержимое открытых бутылок.

– Се па вре, мон кёр*, – восторженно взвизгнул он и почему-то ущипнул Любу за попу. Люба беспомощно улыбнулась.

---

* Это невероятно, сердце мое.

– Вы же не собираетесь все это пить, – строго спросила Мирей. Русское пьянство было одной из тех немногих вещей, что ее по-настоящему пугали.

– Только нюхать, – усмехнулась Татьяна.

– Девять человек, – задумчиво прикинул Пьер. – Клянусь богом, в России, возможно, они бы выпили все. – Пьер был в России четыре раза, причем два из них в самом Петрозаводске. Он немного говорил по-русски и вообще знал о России больше всех остальных французов.

– Па вре*, – прошептал Рене, с ожившим интересом поглядывая на Любу.

Татьяна завершила сервировку, расставив на столе блестящие бокалы, маленькие рюмочки, явно привезенные из России, затейливые новогодние букеты и свечи. Свечи горели ровными оранжевыми язычками, окружающий воздух был спокоен и легок. Это был воздух цивилизованной Франции.

Как и Ира с Мишелем, Люба и Рене были англоговорящей парой, английский неплохо знал и Пьер, и, конечно, Мирей, которая, кажется, говорила на всех языках, но Татьяна с Катей и Жан-Мари английский не жаловали. В конце концов решено было за столом говорить на русском и французском, кому как удобно, а Мирочку объявили официальным переводчиком. Пожилая дама изъяснялась по-русски с сильным акцентом и не знала некоторых слов, но это лишь добавляло живости в беседу.

После чинной дискуссии об очередности спиртных напитков и необходимости повышения градуса русские дамы решили начать с горилки. Не запивать же вином селедку и огурцы. И вообще, при наших микроскопических дозах очередность не имеет значения. Обычная история. Из мужчин затею поддержал только опытный Пьер, а остальные, с недоумением убедившись, что их не разыгрывают и что в бутылках не вода, наполнили бокалы великолепным вином Жана-Мари. Дружно зазвенели вилки. Французы осторожно пробовали русские кушанья по половине чайной ложки, говорили обязательное «о, тре бон**», но в целом придерживались своей диеты – листья зеленого салата, оливки, затем горячее, приготовленное Татьяной, – утка, фаршированная каштанами. Мира, несмотря на почтенный возраст, как настоящая русская каждого блюда накладывала по тарелке, утку заедала гречневой кашей и даже отдала должное кисловато-крахмальной докторской колбасе с ее неподражаемым запахом чесночной эссенции. Да, да, разумеется, русская кухня жирна и тяжеловата, но, но… когда годами всего этого не видишь, то хочется до дрожи, до дури и всего много. Да, хорош ароматный французский хлеб с грецкими орехами или оливками, но наш черный, ржаной да с колбаской… это ж полжизни. Эх! Выпьем. За любовь уже пили? Ну, тогда за русско-французскую дружбу.

На десерт Таня подала, как положено, тарелку с разномастными вонючими сырами, русские перемежали сыры огурцами и грибочками и заодно вернулись к водке.

– Будете петь? – обреченно спросила Мирей.

– Конечно. А для чего собрались-то? – с готовностью отозвалась Катя. Поигрывая мощными боками, она вразвалку пошла к машине, вернулась назад с баяном и с радостным звуком растянула его во всю

---

* Невероятно.

** О, очень вкусно.

ширь. Таня сбегала в дом и появилась с гитарой, театрально перебирая струны.

– Оторвусь! – в который раз пообещала мужу Ира.

– Народный испанский обычай, – провозгласил неожиданно для всех Пьер на русском языке и, повертев в руках пустую бутылку из-под самогона, метнул ее в кусты. Этому трюку его научили зимой в Петрозаводске.

– Ньельзья оставлять на столье, – пояснил Пьер.

Катя спела несколько украинских песен, Пьер виртуозно аккомпанировал на гитаре, Мирочка вполне уместно встряхивала бубном. К сожалению, слов она разобрать не могла, поэтому все песни оставались без перевода. Это не мешало всем остальным подпевать все громче. Как ни странно, почти никто не фальшивил. На «Распрягайте, хлопцы, коней» Ира свистнула в два пальца и пустилась в пляс, Люба перестала стесняться и запела неожиданно мощным голосом, временами перекрывая саму Катю. Мишель протанцевал с Ирой последние па, он умел танцевать и пытался изобразить кадриль, Пьер с гитарой встал на одно колено, Рене «почувствовал себя русским» и вовсе пустился вприсядку, но ему пришлось держаться руками за землю. Торжествующая Катя рухнула на колени к Жану-Мари, он крякнул, но выдержал.

Перед Татьяной стояла нелегкая задача, после такого темпераментного выступления русские песни могли показаться пресноватыми. Она спела «Очи черные», переходя с шепота на крик, ее громко подхватывала Мирей, которая, наконец, знала слова. Не красные, а страстные, Мира, ерунду поешь. – О, правда?

Таня спела еще несколько романсов. Французам больше нравились цыганские, их заводил ритм, Пьер раскраснелся, терзая гитару. Он постукивал ногами, как танцор в арагонской хоте, и стал похож на опереточного испанца, являя собой живой мост между двумя культурами. Но русскими постепенно овладело более глубокое чувство – русская боль и тоска, они спели «Ямщика», «Хризантемы», перешли к «Белой акации ветвям душистым». «Боже, какими мы были наивными…» И у всех слезы на глазах. Ирочка, детка, неужели и ты уже побывала наивной? – Я? А как же? Что я, рыжая, что ли? Я даже замужем была. Пьяница. Думала – спасу, такая великая я, такая неординарная я. А получилось как у всех. Даже хуже. Он умер. – Ого! – Ничего, мы с ним уже не жили, он уже с другой жил… Сейчас, конечно, я люблю Мишеля.

Незнакомая музыка редко нравится, заскучавшие французы попросили спеть «Катюшу», эту песню знали все. Мира, не катушка на берег выходила, а Катюша. – О, да? А Катюша – это кто? – Это девушка такая, пишет любимому на фронт. – Неужели на фронт? Это про войну?

– Да, – неожиданно заявила Люба, – про войну. И «катюша» – это не девушка, это такое орудие на берег выходило… установка реактивной артиллерии.

– Ах, вот как! – встревожился Мишель.

– Да, Мишель, вы-то должны, наверное, знать, что такое «катюша».

По ассоциации завели «Здесь птицы не поют», «Горит и кружится планета, над нашей родиною дым»… Женские голоса слились в драматическом порыве. Таня, Катя, Люба, Ира – сейчас именно они стали «отдельным, десантным батальоном». Какая им нужна победа, над кем? Хорошо, что мужчины не понимали слов. Это про любовь? Нет, это тоже про войну. После спели «Снимай шинель», почти у всех исполнительниц увлажнились глаза, а Ира, не скрываясь, смахнула слезу.

– Это очень грустная песня, – констатировал Рене, – это, наконец, про любовь?

– Нет, это тоже про войну!

– Ну, спойте же про любовь!

– Какие предложения? – спросила помрачневшая Таня. Пьер, словно поддерживая жену, нервно и недовольно перебирал струны гитары. Пьер был отличным гитаристом, когда он не следил за руками, у него получалось фламенко. Последовало несколько запевок про любовь, но все не вязалось.

– Может, «Ель»?

– Это точно без меня, – вдруг категорично заявила Люба. – Ненавижу это песню. Нагло и подло бросают жен, а потом еще и песни сочиняют. А мы, как дуры, поем их.

Тем не менее остальные трое уже стройно выводили слова про безжалостно развенчанную новогоднюю красавицу. Люба демонстративно отошла, смотрела в зеленое вечернее небо, вдыхала пряные запахи иноземной весны.

– Она что, тоже брошенка? – шепотом осведомилась Катя после окончания песни.

– А как же иначе в нашей распрекрасной стране, – ответила Таня, – даже меня один козел поменял на помоложе. Мирочка, это не для перевода, конечно.

– А вот я сама ушла. Пил и бил. Меня воспитали гордой. Я, если что, и сама в глаз могу дать.

Мира перевела, история показалась ей интересной.

– У-ля! – воскликнул Рене, мысленно оценивая силу удара.

Одним словом, любовная тема не задалась. Никто толком не помнил слов. А вот военные все знали, стройно и слаженно пели и про Великую Отечественную, и про Гражданскую, и про «Сопки Маньчжурии». Спели «Вы слышите, грохочут сапоги», после которой в сторонку отошла Катя. Катя вернулась с покрасневшими глазами. Беззащитно-круглый затылок был у бритого налысо Карима, ее молодого любовника-татарина, с которым она сошлась после развода. Бывший муж, как и все односельчане, был категорически против страстного романа, всех возмущал возраст, а главное, национальность Кариши, им угрожали, его избили, по этому самому затылку палками и сапогами. Катя уехала во Францию на фестиваль и не захотела возвращаться. Историю своей любви она рассказала, когда просила вид на жительство во Франции: ее, выходит, преследовали на Родине. Ей удалось остаться во Франции, зато болтливые французы узнали про Карима. Жан-Мари слов песни не понял, но, повинуясь тайным мужским инстинктам, о чем-то догадался.

– Это, наконец, про любовь? – строго спросил он.

– Про войну, – с вызовом ответили женщины.

– Милитаристы. Правду говорят, все русские милитаристы.

– Се вре, се вре*, – серьезно подхватили французы.

Люба вдруг рассердилась:

– Вот именно, что «вре»! У вас про нас все врут, а вы верите.

– Но все время поете про войну! – воскликнул Мишель. – Очевидно, вас так воспитали… воспитало ваше правительство.

– От милитариста слышу! – возмутилась Ира. – Я, к примеру, не сирота, меня семья воспитывала, а не правительство.

---

* Это правда, это правда.

– Родина, она как ребенок, – стала примирительно объяснять Люба, – мы ее можем ругать сколько угодно, а когда другие, то сразу неприятно. И потом… что вы знаете про войну?.. Ладно, девочки, давайте им споем про берег турецкий. Пусть поймут, что мы мирные люди.

Немало я стран перевидел,
шагая с винтовкой в руке,

– затянули девочки.

– Неужели с винтовкой? – внезапно спросила пораженная Ира.

– Да, вот и я думаю, неужели я правильно поняла? – удивилась Мирей.

С блокнотом, с биноклем, с треногой, с бутылкой, … Нет, все не то. С винтовкой он шагал. Он мирный человек, но его послали. И вообще он там шагал потому, что врага надо загнать назад в его логово.

Не нужен нам берег турецкий, и Африка нам не нужна!

– девочки спели главную фразу.

– Нет, нас не правительство научило петь про войну, – сказала Люба. – А сама война… Она по всем прокатилась... Вы тут даже не представляете, что такое война и как это страшно.

– Франция тоже воевала. А вы молодые, в общем, женщины. Все родились гораздо позже. О чем вы говорите?

– Давайте каждый расскажет. Про себя лично. Только, чур, французы тоже. Ну и не привирайте, конечно.

– Идет. По кругу. Начнем с того, кто это придумал. Давай, Татьяна.

Таня кивнула и быстро выпила рюмку водки, красиво запрокинув голову. Пьер посерьезнел и отложил гитару.

– Моя мать ушла на фронт добровольцем в 43-м году, потому что у нее погибли на войне все родственники. Она вернулась двадцати четырех лет от роду, совершенно седая и больная алкоголизмом. Она никогда ничего не рассказывала, но каждое 9 мая у нее начинался запой. Где-то к сорока она родила меня, никогда не говорила от кого. Может, и сама не знала. Она была очень больна и глубоко несчастна, это не могло не повлиять на меня и на мою жизнь. Вот что такое война лично для меня.

Пьер сидел рядом и заговорил следующим.

– Мон пер*… – нерешительно начал он и вдруг перешел на русский: – Мой отец был масон. И анашист. Поэтому его не пригласили в армию. Он строил военные укрепления.

Русские подпрыгнули от удивления, Мирочка деловито перевела на французский, французы остались невозмутимы.

– Ну, знамо дело, какие могут быть в армии масоны? – промолвила Катерина после ошеломленного молчания. – Они и в мирное-то время все развалили.

– Каменщик! – вдруг догадалась Таня, дико хохоча. – Его папа был каменщик. А по убеждениям анархист.

– Ну да, – согласился Пьер, – камьенсцч…ш... масон. Я тоже масон.

– Да, Пьерчик, ты тоже каменщик, только не вольный.

– Почему? Я вольный. У меня сдельная оплата. Вот возьму и не поеду завтра работать у Жан-Жака.

---

* Мой отец.

– Так вы анархист или анашист? – заинтересовалась Люба.

– Когда как.

– Пьерчик, не болтай глупости! – Таня погрозила пальцем. – Послушаем теперь Катерину.

– Мой отец пришел с войны почти слепым и контуженным, а двое его братьев погибли. Ничего страшного он про войну не рассказывал, все только смешное или как девок портили. Батя дошел до Берлина, вернулся счастливый и гордый, весь из себя переможец. Думал, дальше все будет хорошо. Он решил переехать в Крым, сам построил там хату. Хата кривая вся получилась, нескладная, слипий же. Но попробуй ему кто-нибудь что скажи поперек – драться лез. С ним и не связывался никто, слепой да дурной. И пил, конечно. Было нас четверо детей, прокормить трудно, да разве он понимал чего? Мать забитая такая, тихая была. Так я и жила в перекошенной хате, пока замуж не вышла.

Настал черед Жана-Мари. Он побагровел от недовольства. Он не любил и не умел говорить долго, а тут еще его заставляли высказаться о чем-то странном и довольно деликатном.

– Вот что я вам скажу, дети мои. Шли войны и революции, лилась кровь, падали троны, а семья Блювак выращивала свой знаменитый виноград. Мы слуги своей земли. Ничто не отвлечет нас от служения ей. Так было и будет всегда.

Он ничего не сказал про вклад Катерины в семейное дело, но в знак благодарности принародно погладил ее крепкое колено.

– Блювак – это его фамилия, – пояснила Мирей после перевода.

Солнце зашло за гору, от этого быстро стемнело. В саду зажглись очаровательные фонарики, ярко осветился маленький пруд с почти игрушечным мостиком и фонтаном. В наступившем молчании вдруг отчетливо стал слышен его тихий, нежный плеск.

– Гостям не холодно? Может, пойдем в дом? – Нет, Танюша, здесь у тебя так красиво, век бы сидеть и любоваться. – Тогда я принесу чай сюда? – Чай, чай, чай! Вот чего не хватало для полнейшего счастья.

Французы, впрочем, попросили кофе. Таня и Катя занялись столом, принесли сладкое – Катину ватрушку, Танины миндальные печенья, Мирочкин пирог с инжиром. Водку оставили на столе, тем более что Рене и Мишель, наконец, были согласны выпить по глоточку.

Пока основные певицы хлопотали, Любочка с Ирой очень душевно исполнили «Ах, война, что ж ты сделала, подлая». Пьер, как всегда, легко и безошибочно подобрал аккомпанемент. Когда запели про белые платьица, которые подарили сестренкам, Люба, почти не таясь, заплакала. Она уже думала про то, что сейчас расскажет. На словах «до свидания, мальчики» заплакала Катя, которая слушала песню с инжирным пирогом в руках. Она снова вспомнила Карима, его гибкое тело, его горячую кожу.

Наконец, все расселись в том же порядке. Выпили чаю с пирогами, а потом снова по рюмочке. Настала очередь Любы.

– Я, как вы знаете, из Петербурга, то есть из Ленинграда. Моя бабушка прожила в городе всю блокаду. Вы, надеюсь, знаете про блокаду?

– Понятия не имеем, – Рене пожал плечами.

– Блокада – это голод. Ленинград был в окружении. Продовольствия не подвозили. Вода только из реки. Отопление, транспорт, канализация не работали. Мороз 40 градусов, а то и 42.

– У-ля! – Рене комично выпучил зеленые глаза.

– Не бывает такого мороза! – уверенно заявил Жан-Мари. – Не может быть в природе. При таком морозе погибнут все растения.

– Ну вот, был. Да не в морозе дело, а в голоде. Люди ели кошек, ремни и клей.

– Что за средневековье!

– Вот именно. Но это был огромный город двадцатого века. В блокаду погибло около миллиона человек.

– Как миллиона? Всего в России за войну?

– Нет, только в Ленинграде за блокаду. И в основном мирного населения.

– Бред. Ваша пропаганда в нулях запуталась. От силы могло сто тысяч.

Люба с ужасом поняла, что все французы, кроме Пьера, смеются.

– Миллион. И вообще, как вы можете смеяться?

– Э, мадмуазель, – обратился к ней Жан-Мари, потому что ему было трудно запомнить ее иностранное имя, – мы здесь, во Франции, можем смеяться над чем угодно. Это наша национальная ценность. Если хотите здесь жить, извольте уважать наши ценности.

– Кто вам сказал, что я хочу здесь жить?

– Как, разве вы не собираетесь замуж за месье Рене?

– Это еще не решено.

– Не решено, не решено! – с неуместным энтузиазмом поддержал ее Рене. – Флажок еще не упал, мон кёр.

Он поймал на себе осуждающие взгляды остальных дам и задиристо сказал:

– Я, может, не всем нравлюсь, но я всегда говорю правду. «Правда – бог свободного человека». Между прочим, это слова вашего великого писателя Горького.

– А шел бы ты со своим Горьким, – вздохнула Люба. Эти слова Мира не перевела. Она стремительно старела, ей очень хотелось, чтобы племянница осталась во Франции.

В это время Пьер вскочил из-за стола и побежал к калитке сада. Там, за кустами, начался какой-то напряженный разговор. Пьер говорил тихо, а женский голос отвечал ему все громче и истеричнее, в довершение стал пробиваться детский плач.

– Мари приперлась, – пожаловалась Таня на ухо Кате, – гордости совсем нет… Как у нас гулянка, так тащится.

– Та женщина, у которой от Пьера ребенок? А она красивая?

– Да какая разница! – возмутилась Татьяна. – Она поймала семя Пьера перед самой нашей свадьбой. Я поехала в Россию за документами, а тут готово дело.

– Хм, а что, семя Пьера – это муха це-це какая, повсюду летает?

– Не будь ханжой, ты же знаешь этих французов. Они без предрассудков. Им это – что плюнуть.

– Мой колхозник очень даже с предрассудками.

– Ну, сравнила. Такие, как твой колхозник, размножаются почкованием.

– Танюшка, ты старая, и детей у тебя точно не предвидится. А тут единственный сын. Не боишься, что перетянет?

– Глупости! Я актриса, а он музыкант. Мы созданы друг для друга. Пьерчик на меня молится.

Незваные гости уехали, Пьер вернулся в воинственном настроении и бросился на защиту Любы:

– Итак, господа, разумеется, наши жены покинули свою страну лишь потому, что встретили здесь, во Франции, настоящую любовь. Если такое случится и с Любой, мы все будем рады.

– Не страну, а страны, – вдруг обиделась Катя. – Я вообще-то Украину покинула.

– А, да? Ну, здесь для нас все одно и то же.

– Лично я никому не дарил Францию в качестве свадебного подарка, – проворчал Жан-Мари. Катерина уже имела вид на жительство.

– Ай, отцепитесь от него, – махнула рукой Катя. – Колхозник и есть. Пусть лучше молчит. Люб, ты недорассказала про войну.

– Все люди как люди, а на мне вечно случается какая-то фигня. Я думаю, это в каком-то смысле из-за нее… из-за войны.

– Это из-за того, что ты медленно рассказываешь!

– Как тут быстро, если они вообще ничего не слышали про блокаду. Ладно, не будем спорить, сколько погибло. Если интересно, почитайте в Интернете.

– На французском вряд ли есть.

– О господи… Итак, мой дедушка ушел на фронт в 41-м году. Моя бабушка, его жена, прожила в Ленинграде всю блокаду. У нее было трое детей, а выжил только один, мой папа. Я помню эти детские маленькие могилки, мы с ней часто ходили на кладбище. Дедушка вернулся с войны в 47-м году, живой, здоровый, но с боевой подругой, с которой они прошли огонь и воду. С бабушкой они развелись, я его никогда не видела. Вот, значит, как получается, я довольно молодая, но на войне у меня погибли два моих дяди, ну и, в каком-то смысле, дедушка. Мой папа тоже развелся с мамой, когда мне было два месяца. А если бы были живы его братья, хватило бы и на мою маму, и на ту, другую. А так я провела все детство в окружении одних женщин, это что, нормально?

– А другой дедушка? – спросил Пьер.

– Другой мой дедушка погиб в лагерях. Архипелаг Гулаг и все такое. Это вы знаете.

– Сталин – тиран, мон кёр.

– Се вре, се вре.

– У нас была большая семья, – пояснила Мирей, – примерно половина уехала после революции за границу. И что вы думаете? Почти все мужчины из тех, кто остался в России, умерли не своей смертью.

– Терибль*.

– Мирочка, не переводи, это только для женщин. Из-за моего детства мне неуютно с мужчинами. Я не знаю, как с ними общаться. Мне попадаются одни психопаты, и никто, никто из них меня не любил.

К смущению Любочки, Пьер понял по-русски.

– Люба, вам так только кажется, игра воображения. Вы очень красивая женщина, Люба, – горячо запротестовал Пьер. Таня на секунду скосила на них глаза, но убедилась, что это не опасно.

– Любочка, душа моя, ты слишком много выпила. Убери водку, Таня, зачем вы так много пьете, – взмолилась Мирей.

– Да мы и не начинали!

– Ренато, твоя очередь, – сказал Пьер, назвав Рене по-испански.

– Я, честно, ничего не знаю. Мои родители были очень буржуазны, и я порвал с ними в ранней юности. Из-за того, что я отказывался получить высшее образование. Свобода важнее всего, да? Я не знаю, что они делали в войну. Вряд ли что-нибудь особенное. Во всяком случае, в детстве я ничего такого не слышал. Отец умер, а мать жива, да. Она

---

* Ужасно.

в доме престарелых. Я ее даже иногда навещаю, но, по-моему, она уже мало что понимает.

Настала очередь Иры. Она, к удивлению Мишеля, тоже выпила полную рюмку и занюхала рукавом.

– Вы точно хотите это услышать? Конечно, надо, чтоб уж все. Поехали. Моя бабка родила от немца. По любви, не по любви – в войну это не имело значения. А вот сестра ее оказалась менее сговорчива, она немца убила, когда он к ней полез. А вот так. Вилами заколола и закопала в погребе. Не вилкой, Мира, а вилами. Это такая штука для сена. Ну да, у вас тоже есть. Нет, ее не привлекли к уголовной ответственности. Потому что вскоре наши село взяли. Ну вот, бабка от немца родила – позор. Перетолками ее замучили, и она попала в дурдом. Это значит, с ума сошла, Мирочка. Дочка ее, моя мама то есть, осталась сиротой. Что характерно, тетка отказалась взять сироту к себе. Я, говорит, может, ейного папу в погребе закопала. Если не хотите, чтоб и я в психушку загремела, уберите от меня этого ребенка. Детдомовская моя мама была, значит, но с семейством связь как-то поддерживала. Мне велела никому не рассказывать, а я вот тут с вами напилась и рассказываю. Мой папа, как назло, был евреем. У него в Белоруссии, в войну… сами понимаете, вся семья погибла. Он спасся, потому что его совсем маленького на лето отправили к родственникам на море. Он, когда узнал, что мама дочка немца, не смог с ней жить. Развелся.

– А вы случайно не еврей, Мишель? – некстати пошутил Рене.

– Я? Нет, не еврей. – И после некоторого молчания неуверенно добавил: – Но я наполовину немец.

Все уставились на Мишеля, как на привидение.

– Я немец из Эльзаса. Мой дедушка был инженером. Кажется, в войну он служил в немецкой армии... В семье об этом не говорили.

– Так он убивал добрых французов? – попыталась пошутить Мира.

– Не думаю, – пробормотал Мишель.

– В России-то он не служил? – осведомился Пьер.

– Нет.

– Ну, слава богу.

– Почему ты не написал, что ты немец, когда мы с тобой знакомились? – строго спросила его Ира по-английски.

– Не написал? Это что, имеет значение? Я – это просто я. И потом, ты, как я вижу, тоже немец. В общем, считайте, я уже рассказал про войну.

Ира принялась растирать себе виски, Катя стала жевать огромный кусок ватрушки.

– Давайте выпьем, – предложила Таня. – Не чокаясь. За всех погибших, раз мы сегодня так много говорили о войне.

– Что, по полной рюмке? – ужаснулся Рене.

– Я не буду, мне не нравится водка, – сказал Жан-Мари.

– А ну вас, нехристи, – Катя махнула рукой. – Девочки, давайте без них.

Русские выпили по полной и вопросительно посмотрели на Мирей.

– Говори, Мирочка. Ты единственная из нас, кто должен сам помнить войну.

– Да, мне было девять лет. В Ниццу, где мы жили с мамой и бабушкой, пришли немцы. И мама, и бабушка не были замужем. Да, наверное, семейное. Но дело в том, что мой папа был евреем, и, стало быть, мне грозила большая опасность. Меня забрали из школы, я училась дома.

Я не понимала, почему это было необходимо, а мне не хотели объяснять, не хотели пугать меня, только все просили никому не говорить, что мой папа еврей. Мама и бабушка часто плакали, я понимала, что надвинулось что-то жуткое. Я узнала, что во мне есть что-то такое, за что меня могут убить, и никто, никто, даже мама, меня не защитит. Я могу быть самой вежливой и доброй девочкой в классе, могу учиться лучше всех и знать французский на отлично, но у меня внутри есть что-то такое, за что меня хотят убить. И это из-за того, что мой папа, которого я и видела-то пару раз в жизни, был кем-то не тем. С тех пор мне всюду неуютно и холодно... Боже, как я одинока.

– Я бы осталась с тобой, Мирочка, – зашептала Люба, обнимая родственницу, – да не могу, нужен идиотский вид на жительство. Между прочим, в детстве, при Советском Союзе, вся наша семья слушала «Голос Америки». И они постоянно нам рассказывали про билль о правах человека. Каждый человек, мол, может жить там, где считает нужным. Просто все уши нам прожужжали этими правами человека. А тут, видишь ли, визы им подавай, разрешения всякие.

– Сволочи, – согласилась Татьяна, – сволочи капиталисты. – И вдруг запела:

Вставай, страна огромная…

Женщины дружно подхватили. А мужчины испугались, в этих тяжелых, как грохот сапог, звуках действительно слышалась ярость, ярость загнанного в угол зверя.

– Это не песня, это заклинание, шаманство. После хочется убить или умереть, – прошептал Пьер. Мирей перевела эти слова на русский, а потом перестала переводить, решила, что уже ни к чему.

– Эй, комрады, а вы не боитесь с ними жить? Это валькирии, а не женщины, – Рене внезапно вскинул отяжелевшую голову.

Идет война народная, священная война…

– упрямо пропела Таня.

– Нюша, Нюша, милая, она не идет, она прошла. Давно кончилась, – Пьер погладил Таню по голове, словно пытаясь разбудить.

– Нет, идет. Это мы в сорок пятом думали, что кончилась, а она шла и шла... И пока вы не добьете Россию до конца, будет идти… Сволочи.

– Ой, зря, – засокрушалась Катя, – эту песню нельзя так просто… Лихо не будите, сон у него чуткий…

Внезапно Таня зарыдала.

– А эта пьеса как называется? – проворчал Пьер и в знак протеста стал убирать со стола.

– Эта пьеса называется «Гибель империи», – объявила Любушка.– Мужчины убиты, женщины плачут в плену у чужеземцев.

Мира возмутилась:

– Империя погибла девяносто лет назад! И в любом случае ее граждане не обязаны гибнуть. Наоборот, они обязаны быть счастливыми, как и все божьи дети.

– А тебе, Любаша, что, птичку жалко? – спросила Таня, которая перестала плакать так же быстро, как начала.

– Какую птичку?

– Россию!

– Ну, да… Жалковато. Вы бы видели, во что она превращается…

– А она тебя жалеет, эта птичка?

– Она никого не жалеет. Она без мозгов. Дятел практически… Но любим мы ее не за ум.

– Брось, Люба. Пока ты умиляешься березкам и квашеной капусте, тебя переедет какой-нибудь пьяный мент на «мерседесе» и скажет, что так и было.

– Любушка, дорогая, – добавила Мира, – ты о себе подумай. Тебе скоро сорок лет, после жизнь полетит, как пушечное ядро, я-то знаю. Что тебя там ждет? Пенсия как у бомжа, а потом больница для нищих?

Мишель не понимал ни слова в их разговоре. Он молча обнимал Иру, как будто пытался стереть из их совместной жизни все, что сегодня услышал. А Ира, похоже, вовсе его не замечала, внимательно слушая соплеменниц.

– Если не можешь обворовать эту больную страну, то из нее надо валить, – твердо сказала Ира.

Любушка покосилась на Рене, который наконец заснул, свесив голову на грудь. Жан-Мари сидел совершенно прямо, но выдавал себя отчетливым храпом. Пьер по-прежнему занимался посудой, и лишь Мишель остался рядом с женщинами и тревожно вглядывался в их лица.

– А если и валить не могу? – оскалилась Любушка.

– Выучи французский, и дело наладится, – посоветовала Таня.

– Да что я, лошадь цирковая? У меня высшее университетское образование!

Все дружно засмеялись

– Мирочка, тебе не обидно за язык Вольтера и Мольера?

– Нет. Просто вы перебрали и болтаете глупости. И потом, Рене не такой уж плохой человек. Он честный.

– А твой чего на нас пялится? – неожиданно обратилась к Ире Катя. – Он случайно не того, не из шпионской школы? Может, он все понимает?

– Он пытается разгадать русскую душу, – предположила Ира.

– А зачем ему душа? – снова заскандалила Таня. – Прикажут, и будет стрелять… Душа не душа…

– Он в отставке, – нежно проворковала Ира, и обманутый ее голосом Мишель, словно услышав что-то очень хорошее, снова принялся ее обнимать.

– Татьяна, с твоей наследственностью и с твоими диагнозами тебе не следует столько пить, – вздохнула Мирей.

– Мирочка, мне все равно. У меня все уже было. Было! Там! В другом мире! Я была Джульеттой, Офелией и Жанной д'Арк!

Катя взяла на баяне несколько аккордов, которые можно было принять за сигнал отбоя.

– Хорошо посидели, а, девчонки?

– Что, уже закругляемся? – разочарованно протянула Ира.

– Нехристи наши спят. Фатиге*. Рене и моему рано вставать… Не умеет здесь народ гулять, эх, не умеет.

– Спой на прощанье мою любимую, – попросила Таня.

– Спою. Но я буду плакать.

– Так мы все будем плакать. Ничего. Зато потом год будем спокойно говорить с французами о жратве и погоде… Каждый божий день

* Устали.

о жратве и о погоде… О господи!.. Никто лучше тебя «Хвилиночку» не поет. Давай.

Катя запела, и в темное чужеземное небо понеслись звуки неизъяснимой нежности:

Ніч яка місячна, зоряна, ясная,
Видно, хоч голки збирай.
Вийди коханая, працею зморена
Хоч на хвилиночку в гай.

Ти ж не лякайся, що ніженьки босиі
Топчуть холодну росу.
Я ж тебе рідная аж до хатиноньки
Сам на руках віднесу.

На этом месте голос Катерины задрожал, она слишком отчетливо вспомнила Карима. Она оборвала песню, но все женщины уже смахивали слезы, даже Мирей.

Прощались не так чинно, как встречались, но тоже с соблюдением всех приличий. Жан-Мари и Рене проснулись. Таня нашла в себе силы подняться, правда, стараясь стоять на одном месте. Пьер придерживал жену за талию, их благодарили за прекрасный прием. Только тут, в самом конце, все поздравили друг друга с православным Рождеством, ради которого собрались. Гости разъехались. Пьер погасил в саду свет, и сразу стало очень темно.

ПРОЧНЫЕ ВЕЩИ ПРОШЛОГО

Раньше, как известно, все вещи делали основательнее и прочнее – автомобили, магнитофоны, фотоаппараты. Говорят, и теперь вовсе не разучились производить товары первой, второй и третьей необходимости, а специально халтурят: ведь чем быстрее вещь сломается, тем быстрее купят новую. А вот семья Завидовых не из таких, они противостоят этому мировому заговору. Шьют на швейной машинке «Зингер», с ножным приводом, почти бесшумной. Ей сто двадцать пять лет, в ее чугунных кружевах проглядывает эстетика Охтинского моста, чай ровесники. Раньше бабушка Надя шила много, обшивала всю семью, теперь машинка выкатывается из своего почетного угла редко – заплату поставить или там подкоротить что-нибудь, не в мастерскую же нести? А новая машинка ни к чему, тем более что старая – память о бабушке. Или, скажем, холодильник. Ему тридцать лет. Советский, отличный. Говорят, его при пожаре кубарем спустили с лестницы, а ему хоть бы что: включили – заработал. И до сих пор холодит на славу. Главное, регулярно размораживать. И вообще, не выбрасывать же такой героический предмет на помойку. Это все равно что старика с обрыва. Что там кричат эти плебеи в рекламе: черная пятница? Налетай, подешевело? Ха-ха-ха. Пока не истлеет, не рухнет, не сотрется, не видать вам наших денежек, не на таких напали. Мебель вся пятидесятых годов, добротная. Была настоящая антикварная, стоила бы сегодня, наверное, бешеных денег, но во время войны соседи топили той мебелью буржуйку, святое дело.

Завидовы жарят на чугунных сковородках и ни за что не променяют их на тефлоновые. Завидовы признают пододеяльники исключительно с ромбовидным отверстием посередине полотнища. Пусть с заплатками, но кто рассматривает постельное белье? Были бы такие новые и, в идеале, без чудовищных роз, тигриных морд или майти-маусов, купили бы. Кстати, Завидовы не какие-нибудь там сибирские отшельники, они вовсе не против прогресса. Вместе со всеми они обзавелись мобильными телефонами, компьютерами и даже автомобилем, причем не «Волгой» и не «Запорожцем», а некой новой иномаркой. Нет, не от нищеты Завидовы привязаны к старым вещам, а по убеждению. А нищета, ну, вернее, бедность третьей степени, как выражалась та же оптимистичная бабушка Надя, только помогала: деньги семьи не слопала инфляция, они не сгорели ни в одном банке, ни в одном кризисе, не были вложены в пирамиду «МММ», денег просто никогда не было.

Завидовы тратят в основном на еду. Гораздо реже – на одежду. Конечно, тут не обходится без конфликта поколений. Молодые хотя и стараются носить только добротное и натуральное, но все же не чужды диктату всемогущей моды. Года не пройдет, а они уже норовят

притащить из магазина какую-нибудь тряпку. А шкафы-то не резиновые! «Это вещизм!» – с осуждением констатируют пожилые.

Вышедшие из моды пальто, как, впрочем, и остальные устаревшие вещи, переправляются на дачу. На даче имеется пять меховых жилеток, переделанных из старых шуб. И еще несколько целых старых шуб, и пальто на ватине, и, скажем откровенно, три самых настоящих ватника. Сюда же сосланы меховые шапки – что ни говори, люди постепенно перестают носить зимой шапки. Глобальное потепление наступает. В дачном доме проживает также множество ковриков, сплетенных бабушкой и ее подружками из порезанных на полосы старых платьев. В городе и на даче хранится немало носков, шарфов и беретов, связанных ими же из распущенных шерстяных кофт. Да что там – имеется целое шерстяное одеяло из вязанных крючком квадратиков. Сносу нет! Теплое! Яркие натуральные краски не потускнели за полвека. Сносу нет и кирзовым сапогам дяди Вити, в которых он пришел из армии. Хотя тут эксперимент не чистый, ведь сапоги давно никто не носит, потому как разучились наворачивать портянки. А без портянок такие сапоги не работают, в том расписались легкомысленные молодые экспериментаторы своими кровавыми мозолями. В дополнение к сапогам на даче хранится ящик кожаных женских туфель и полусапожек. В отличие от платьев, туфли не меняются кардинально на протяжении века, могли бы еще послужить, хотя бы в огород ходить, но с размером неувязочка. Нынешние завидовские дамы не могут в них влезть: то ли аристократизма в роду поубавилось, то ли питаться стали лучше и расти больше.

Обо всем этом размышляла Таня Завидова, когда она неожиданно проснулась на втором этаже старого дачного дома. Было около четырех часов утра. Солнце белой ночи светило через шторы. В Танином детстве шторы назывались занавеской, она была ярко-розовой и довольно плотной, по утрам комната наливалась светом зари, сгущенным волшебным материалом, из-за чего это суровое, в сущности, помещение с самодельным топчаном и бревенчатыми стенами до сих пор претенциозно именуется розовой спальней. Нынче Тане сильно за сорок, и, если смотреть правде в глаза, занавеска стала почти серой и прозрачной. Чудо в том, что от года к году в комнате никаких разительных перемен. Ах, что за мысли? Нет ничего менее подходящего для роскошного летнего утра на даче, в первые, самые пленительные дни отпуска, в окружении любящих и любимых домочадцев. Вообще, с чего это она проснулась? На даче положено дрыхнуть без задних ног. Вот и полосатый Мурзик так считает, храпит, как мужичок, ухом не ведет. Он не такой уж крупный кот, но безошибочно занял самый центр ложа, из-за чего Таня изгибается дугой. Одеяло тяжелое. Неудивительно, оно сшито из двух старых пальто. Подружки не могут под ним спать, неженки. Татьяна не из таких. «Дворяне не баловали своих детей, ведь их удел – военная служба», – объясняла ей мама. Маму вообще-то зовут Ольгой, но в семье все величают ее Сержантом. «Мы выиграли войну, потому что выносливы и неприхотливы», – многозначительно улыбалась бабушка. Это действовало – Таня Завидова выросла очень незаурядной барышней. Только с мужчинами что-то ей не везет, ну да еще не вечер.

Котяра внезапно встрепенулся и быстро ушел из комнаты, словно вспомнил о давно намеченном деле. Таня с наслаждением вытянулась во весь рост, простыня в том месте, где он спал, была горячей. Мр-р-р… Жизнь…До чего же сладкий, сладкий, сладкий леденец. Неужели? А когда? А как? Тьфу, опять эти неуместные думки. Почему так часто на этой

кровати? Под головой у Тани плоская жесткая подушка, набитая сеном. Да! Это уже слишком. Сено скошено, наверное, еще до Таниного рождения. Все его мягкие и душистые фракции рассыпались в пыль, осталась жесткая ость. Нужно менять. Положить туда свежее сено. Это будет прикольно и в то же время не нарушит диковинные традиции завидовской дачи. Таня дождалась утра, вооружилась бритвой и пошла на улицу пороть подушку, преодолев слабое ворчание старшего поколения.

Под первой, розовой наволочкой оказалась вторая, с бабушкиной вышивкой гладью. Яркие, прочные нитки изображали пухлых детей, играющих со щенком на цветущем лугу. Хорошо бы все бабушкины вышивки собрать, поместить в рамки, повесить по стенам. Ведь это чудо. И хватало же у нее времени, а ведь стирала в корыте, стояла в очередях по три часа в день, часа по два готовила, да и работала к тому же. Удивительно.

Под вышивкой обнаружилась мягкая шерстянка, а затем третья наволочка из брезента, в которой зашито сено. На брезентовой тряпке защитного цвета чернилами выведены буквы, похоже на какой-то шифр.

– Мама, а это что еще за русские страшилки?

– Ой! Да это та самая юбка!

Итак, в 1941 году бабушке Наде исполнилось 26 лет. На свадебной фотографии она выглядит веселым, непуганым ребенком с ямочками на щеках и дурацкими кудряшками по тогдашней моде. Младшая сестра четырех братьев, Надюша переходила под защиту солидного, обеспеченного мужа, что был на целых десять лет старше. В начале войны она жила в Ленинграде с мужем, матерью и полуторогодовалым ребенком – Таниной мамой – в уютной пятнадцатиметровой комнате в коммуналке. Уезжать в эвакуацию Надя не хотела, вернее боялась. Ранней осенью сорок первого еще не стал реальностью голод, а бомбежки не слишком пугали. Просто ползли слухи, что где-то кого-то ранило или даже убило. Впрочем, за семью все решили другие люди: дед работал на заводе, завод эвакуировали в Омск, все работники вместе со станками и прочим оборудованием обязаны были оказаться в Омске. Дед был инженером, ему разрешили взять с собой всех домочадцев. Кота взять не разрешили, его оставили на соседей, они обещали кормить и лелеять. Мурзик, уйди, не слушай. Потом началась блокада, и кота съели. С соседей не спросить, несмотря на полученные калории, они и сами умерли впоследствии от голода. Слава богу, в роду Завидовых нет ясновидящих. Целуя кота и подбадривая друг друга, женщины стали собирать вещи в эвакуацию. Они обе плакали, но старались скрыть слезы от ребенка, от Таниной мамы: дескать, отправляемся в небольшое увлекательное путешествие, ничего страшного. Дед цыкал на домочадцев, он не одобрял женские страхи, считал, и, наверное, небезосновательно, что эвакуация – это счастье.

Все самое ценное – три хрустальных бокала дореволюционных времен, чудная «камейная» ваза с совсем незаметной трещиной, несколько тарелок кузнецовского фарфора и старинная кукла с очаровательным фарфоровым личиком – Надя аккуратно завернула в тряпки и сложила в фанерный посылочный ящик. По правилам, ящик было необходимо обшить плотной материей. В ход пошла брезентовая юбка военного покроя, актуального цвета хаки. Надюша распорола юбку, обшила ящик и несмывающимся чернильным карандашом написала на материи имя адресата, то есть свое собственное имя. Адрес, ясное дело, еще не был известен, но к имени был добавлен табельный номер и довольно длинный шифр предприятия, которое к тому времени уже стало военным.

Эвакуировались по Дороге жизни, на баржах, через не замерзшую еще Ладогу. С тех пор бабушка Надя на всю жизнь сохранила особо благоговейное отношение к военным морякам.

Все пассажиры сидели в трюме. От морской болезни Наде было так плохо, что, кажется, только необходимость приглядывать за маленькой дочкой Олей удерживала ее в сознании. Она видела, что морячки усердно развлекают младенца и даже угощают его сахарной головой – огромным куском сахара конусовидной формы. Бабушка все порывалась подняться на палубу и перегнуться через борт, а матросы со странной усмешкой ее отговаривали, говорили, что там она промокнет, вода перехлестывает, предлагали потошнить прямо тут, если невтерпеж. Надя не решилась на такой позор, рванула наверх. Она услышала грохот и увидела огромную волну, вернее сказать, колонну черной воды до неба. Оказывается, их баржу, со всеми их детьми, пожитками, чемоданами… бомбили. Бомбили с самолетов, словно они не понимали, что тут мирные люди. Надя потеряла сознание, досматривать эту страшную сказку она отказалась. А вот Танина мама помнит все по-другому, хотя, возможно, она наслушалась слишком много взрослых разговоров. Так или иначе, Оля помнит себя тоже на палубе и помнит тонущего игрушечного мишку в бесконечно глубокой воронке воды, чуть ли не на километры вниз раскручивалась эта воронка. И ее, ребенка, переполняли те же, совсем взрослые эмоции, что и всех окружающих, – вот тонет чье-то дитя, значит, происходит нечто невообразимое, запредельно безумное.

Дальнейшая дорогая была тяжелой, но относительно безопасной. Только на месте, в Омске, выяснилось, что дед, находившийся в другой группе эвакуируемых, погиб. Он был на той барже, которая затонула. Может, даже на той, которая затонула совсем рядом. Оказалось, что и вещи их ушли на дно, но после того, что случилось, о вещах никто не переживал.

Бабушка стала главой и кормилицей их небольшой семьи, она пошла работать на завод, стояла у станка. О жизни в эвакуации она ничего толком не могла потом вспомнить, кроме того, что все вокруг очень много работали и жили впроголодь. На заводе выдавали обеды, которые она приносила домой и делила между всеми. Обеды отличались удивительным однообразием: котлеты из картофельных очисток и селедочные головки. И так более года подряд. Некоторые несознательные граждане задавались вопросом, кто же, ради всего святого, съедает в столь огромных количествах очищенную картошку и обезглавленную селедку? Не на фронт же ее посылают, фронт за тысячи километров. Вопрос, впрочем, не шел дальше надежных соседей, которым можно было полностью доверять. Ведь ненадежные соседи могли сообщить, куда следует, что бабушка задает совершенно неуместные в суровое военное время вопросы. Так пресекались разговоры, поддерживалась дисциплина, завод поставлял на фронт танки. Летом всей семьей ходили на далекий огород – им дали за городом землю, там они что-то растили, хоть какие-то витамины. Мама Оля помнит эти изнурительные походы, она бегала от медленной бабушки к быстроногой маме, в результате преодолевала в два раза большее расстояние.

Года через два, когда очистки и головки совсем стали поперек горла, а на коже от плохого питания все чаще высыпали чирьи, в барак шагнул почтальон и вручил Наде… посылку. Ящик, обшитый брезентовой юбкой цвета хаки, с ее собственной фамилией, выведенной ее почти счастливой, почти довоенной рукой. Представьте себе, всемогущая и

таинственная организация ЭПРОН подняла затонувшие баржи со дна, и все вещи, владельцев которых можно было определить и найти, были отправлены адресатам. Итак, прочная ткань, несмывающиеся чернила, усердные водолазы плюс надежная, как часы, работа почты в разгар войны – и семья Завидовых вновь обрела недораспроданные в Гражданскую войну сокровища – вазу с трещиной, три бокала, несколько суповых тарелок и куклу. Все, кроме куклы, довольно быстро обменяли на продукты: Танины предки вспомнили, каковы на вкус почти уже забытые сахар, яйца и молоко.

А вот с куклой все получилось сложнее. Надина дочурка, которой к тому времени исполнилось три с небольшим, увидав погибшую было игрушку, улыбнулась первый раз за все время с начала войны. После этого Надя и думать не могла, чтобы расстаться с этим загранично-буржуазным излишеством, наоборот, на досуге сшила для куклы несколько платьев, чтобы задрапировать изрядно попортившееся в воде тряпочное тело. Кукольные пышные волосы тоже сгнили, поэтому кукла носила на голове косынку, как, впрочем, и ее хозяйка. Это обстоятельство делало куклу почти совсем живой (она тоже, как все вокруг, переболела тифом), а поэтому еще более ценной. С той поры сохранилась фотография: мрачная девчушка в белой косынке, Танина мама Оля, прижимает к себе куклу, в точно такой же косынке, но кукольное лицо весело и безмятежно, распахнутые глаза с надеждой и уверенностью смотрят в будущее. Соседи и их дети сбегались поглазеть на фарфоровую красавицу, девчонки завидовали, одна семья предлагала за куклу целый килограмм масла, Надя оставалась непреклонной, но кукла в один прекрасный день, к сожалению, исчезла. Ее украли. Танина мама до сих пор помнит ощущение своего огромного детского горя, а бабушка, кажется, всю жизнь жалела о неполученном килограмме масла. Ведь не прошло с тех пор и года, как ее мама, то есть Танина прабабушка, умерла в эвакуации от воспаления легких. Конечно, дело не в масле, вовсе не в масле, но, с другой стороны, такие страшные, быстротечные воспаления бывают именно от недоедания.

В Ленинград они возвращались вдвоем – тридцатилетняя бабушка Надя и бесконечно повзрослевшая Оля, которой, впрочем, не было еще и пяти лет. Брезентовая юбка, свернутая в трубочку, лежала в их тощем багаже, все-таки прочная материя, на что-нибудь да пригодится. Дальше все пошло неплохо. Наде посчастливилось второй раз выйти замуж, что после войны было неслыханной удачей. Второй ее муж, правда, потерял на войне обе ноги, но ловко ходил на протезах, некоторые и не догадывались, что он калека. От этого брака родились два потрясающих Олиных братца, которые и прозвали ее Сержантом, Славка да Витька. Как еще могли назвать послевоенных мальчишек? А еще один из четырех Надиных братьев нашелся в 49-м году. Оказывается, единственный из четверых – выжил. Из Европы долго выбирался. Тоже женился, тоже родил двоих, мальчика и девочку. Так и сложился заново дружный завидовский клан.

А вот что с ней теперь делать, с этой юбкой? Не в музей же отдавать, все равно не поверят. А поверят, так не напишут, а напишут, так не прочитают. Таня лучше набьет эту наволочку свежим сеном. Пусть следующие поколения Завидовых смотрят на этой подушке свои молодежные сны. Пока вещи служат, они живут.

Андрей ЕВСЕЕНКО

Родился в 1970 году в Орле. Окончил МГТУ им. Баумана. Занимается строительным бизнесом. Имеет более 50 публикаций в различных журналах и сборниках. Дважды номинировался на конкурсе Еврокон в категории лучший фантастический рассказ.

Живет в Орле.

ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА

Йохан шёл по сельской дороге и любовался природой. Сказать по-честному, занятие это было вынужденное. Йохану совсем не нравились местные ландшафты. Куда милее его сердцу были тёмные извилисто-узкие улицы его родного города. Оставшегося где-то вдали, за чертой, разделившей его судьбу, как и судьбы других людей на до и после.

Но кто бы теперь понял Йохана, если бы он стал жаловаться на свою долю? Он и не жаловался. Он привыкал. День за днем. Минута за минутой. Почти получалось. Очень помогали жена и дочь. Милые, светлые… Как им удавалось оставаться такими сейчас? Рядом с ними Йохан мог забыться до утра. Пока ненавистный будильник не отправит его снова в короткий поход по сельской дороге.

Вот он и на месте…Работа... Не хуже, чем у других сейчас. Многие, многие, многие скажут, что лучше. Но Йохан никак не может поверить в это. Очень пытается, но не может. Еще не привык.

За горизонтом показался дымок приближающегося состава. Первого на сегодня. Все как обычно: гудящие рельсы, свист паровозного гудка, улыбки на лицах встречающих и мелкая дрожь, заставляющая Йохана плотно сжимать зубы. Чтобы никто не заметил.

От Йохана никто не требовал, чтобы он стоял здесь, на перроне. Он вполне мог сидеть в своей комнате, никуда не выходя из нее до конца рабочего дня. Любой другой на его месте поступил бы именно так. Но Йохан решил по-другому…

Сценарий никогда не менялся. Те, кто прибывал на станцию, спешили выйти наружу из тесных вагонов, так надоевших за время долгого путешествия. Им никто не мешал. Напротив, женщинам, старикам и детям помогали спуститься на перрон. Тем, кому было трудно, подносили чемоданы до стоящей неподалеку багажной тележки. Предлагали

желающим написать открытки родным о благополучном прибытии к новому месту жительства. Тревога и неуверенность словно по команде сменялись осторожными улыбками, а потом и робкими шутками.

Волшебный спектакль неизменно заканчивался короткой речью начальника станции. Речь обещала мир и покой. Она звучала настолько фальшиво, что Йохану поначалу хотелось заткнуть уши. Потом привык.

Но прибывшие почему-то не слышали этой фальши и сами строились в шеренги по росту, полу и возрасту. Уходили покорно и в полном спокойствии. Лишь иногда кто-нибудь из детей, словно что-то почувствовав в этом холодном чистом воздухе, вдруг начинал плакать или кричать. Матери успокаивали их, брали на руки. Коллеги Йохана обычно не вмешивались. Лишь старина Улрих, работавший здесь парикмахером, мог подойти к плачущему ребенку, погладить по волосам, сказать что-нибудь доброе в утешение. Даже угостить конфетой. Йохан не знал, откуда Улрих их брал. Но в одном из карманов форменной куртки парикмахера всегда лежала пара карамелек. Говорили, что Улрих просто очень любит детей. Что раньше у него была семья и две дочки. И что они погибли от тифа ещё до войны. Так это или нет, Йохан не знал, а спросить самого Улриха не решался. Не то время сейчас, чтобы говорить по душам.

Через полкилометра дорога разделялась. Разделялись и люди. Здоровых мужчин уводили направо. Остальные продолжали идти своей прежней дорогой. Йохан шел вместе с основной группой: его рабочая комната была в конечном пункте этого направления. Оставалось чуть больше тысячи шагов. Йохан знал это точно. Раньше он считал каждый шаг. Теперь научился погружаться в себя, отрешаться, как будто все происходит во сне и даже не с ним. С каждым днем получалось все лучше.

Вдруг в его полудрему вторгся чей-то вопрос. Йохан очнулся. Перед ним стояла женщина с ребенком на руках. Девочка. Лет пяти. Похожая на его Штеффи. Пожалуй, даже слишком похожая. Конечно, отличия были. Главное из которых – ярко-рыжие длинные вьющиеся волосы, непослушно выбивающиеся из-под скромного серого берета. Но у Йохана кольнуло сердце.

– Вы не могли бы нам помочь? Моя дочь очень хочет пить.

Йохан беспокойно посмотрел по сторонам в поисках шедшего неподалеку офицера. Разговаривать с этими людьми он пока еще не мог. Но, к его ужасу, никого рядом не оказалось. Пришлось отвечать, слушая свой, такой чужой и незнакомый голос.

– Да, конечно. Вот фляга.

– Мы скоро придем? Здесь мой муж, Юзеф. Он выехал из Варшавы в поисках работы два месяца назад. Прислал открытку отсюда. Что жив, здоров. Что здесь очень красиво. И нет войны… Но потом не писал. Скажите, когда я его увижу? Скоро?

– Да, скоро. Конечно, очень скоро, – Йохан забрал свою фляжку, изо всех сил сжал ее. И, чтобы не слышать больше ее вопросов, почти побежал вперед. На работу.

Тесная комната заведующего складом, заставленная аккуратными ящиками с еще более аккуратной картотекой, была его спасительной капсулой. Его шлюзом, отрезающим от мира с его тошнотворными запахами и душераздирающими звуками. Через этот фильтр не проникало почти ничего. Кроме так некстати услужливой памяти и того, что раньше называли совестью. Но Йохан знал, что память можно тренировать.

Нагружая ее до края. Так, чтобы она стала забывать. Забудет она и детское лицо в ореоле рыжих волос, и маленькие ручки, сжимающие тряпичную куклу. А что уж тогда говорить про совесть…

Йохан с головой погрузился в работу. Заполнял формуляры на вновь прибывших. Пол, возраст, количество. Имен не было. Были лишь безликие цифры. К обеду стали поступать вещи, и работы прибавилось. Думать стало совсем некогда. От лишней мысли можно и ошибиться. А ошибок здесь не прощали.

Лишь поздно вечером, когда прозвучал сигнал об окончании рабочего дня, Йохан оторвал глаза от бесконечных бумаг. В дверь кто-то постучал.

– Войдите! – на пороге стоял Улрих. В руках он сжимал тряпичную куклу.

– Здравствуй, Йохан! Ну как ты тут? Живой? Слышал, у твоей дочки сегодня день рождения. Мы вот тут с ребятами решили подарить ей куклу. Ну и, конечно, выпить за ее здоровье рюмку-другую. На вот, держи! Поцелуй за меня Штеффи и передай, что старина Улрих помнит ее и ждет в гости!

Йохан взял куклу. Не отказался и от волшебным образом возникающих из форменного кармана конфет. Стараясь быть искренним, поблагодарил. И лишь потом незаметно смахнул на пол прилипший к подаркам рыжий длинный вьющийся волос.

ПОСЛЕДНЯЯ МЕЛОДИЯ

Вернон шёл по лесной тропинке, слушая пение птиц. Его тонкий слух музыканта без труда различал отдельные партии в этом многоголосом хоре. Маленькие солисты, меняя тональности, прерывали друг друга. Иногда даже фальшивили и сбивались в спешке с размера. Но Вернону это не резало слух. В песне весны он чувствовал самое главное: любовь, радость и ожидание чуда. Он весь день ловил вдохновение, так беззаботно порхающее от ветки к ветке. Ужасно устал, но и не думал идти домой, боясь пропустить даже несколько нот из этого концерта.

Стемнело. Птичий хор начал ослабевать и вскоре затих окончательно. А Вернон всё не уходил. Он стоял и слушал тишину, необходимую ему в этот момент, как чистый холст художнику. Где-то внутри закипала и поднималась волна, готовая выплеснуться сотнями аккордов на нотный стан. Сердце щемило от сладкой тоски предвкушения чего-то большого и неизведанного.

Вернон был счастлив и полон идей. Всё, теперь домой! Быстрее! Быстрее!! Повинуясь его мыслям, под ногами засветилась малиновым светом тропинка. Раздался предупредительный сигнал, похожий на звон колокольчика. И Вернон почувствовал, как какая-то сила поднимает его над дорожкой, потом начинает мягко подталкивать в спину, разгоняя до огромной, просто немыслимой скорости. Вернон не понимал, как это происходит и почему он не чувствует, казалось бы, неизбежных ударов веток, нависших над тропой. Но это нисколько его не тревожило и не интересовало – привык.

Малиновая линия под Верноном разгоралась всё ярче. Потом начала пульсировать, то расширялась, сливаясь с другими, то тут же сужалась, теряя уходящие в сторону нити. Приближался город. Дорожек, несущих своих пассажиров, становилось всё больше. Им уже было тесно у земли, и они взлетали в небо – каждая на свою высоту. В воздухе, прочно опираясь на пустоту, светились тысячи трасс. Они переплетались в затейливые узоры тончайшей малиновой паутины. Каждый, кто летел над своей тропинкой, видел лишь малую часть этой красоты. И почти не замечал её. Но Вернон помнил, как когда-то давно, в детстве, родители, отложив ненадолго свои важные дела, взяли его с собой на самую вершину башни Содружества. Как он стоял на краю смотровой площадки и не мог отвести глаз от великолепия огненных линий, расчертивших всё небо своими узорами. В этот миг впервые в его душе зазвучала музыка. Робкая и неумелая, как первые шаги ребёнка, но уже определившая всю его судьбу на долгие годы.

Мелодичный звон колокольчика известил о начале торможения. Такого же плавного, как и разгон. Вернон опустился на дорожку за несколько

шагов до своей квартиры на пятьсот тридцать восьмом этаже. Дорожка упиралась в наружную стену, засветившуюся неярким голубоватым светом при его приближении. Квартира, узнав своего хозяина, оживала. Сенсоры считывали настроение Вернона и за несколько секунд, пока он проходил в возникший в стене проём, перестраивали интерьер в соответствии с его осознанными и неосознанными потребностями. Метаморфозы были столь стремительны, что Вернон, пройдя по коридору и открыв дверь, увидел лишь их результат: огромный зал с пушистым ковром на полу, горящий камин, сотни зажжённых свечей в канделябрах и большой чёрный рояль в самом центре. Откуда всё это появилось и куда исчезнет потом, Вернон не знал. В детстве он как-то спросил об этом отца. Тот задумался ненадолго и ответил: «Ты ведь знаешь, сынок, что я скульптор. Под моими руками оживают бронза и мрамор. Вдохновение, живущее в моём сердце, наполняет их душой. Это и есть настоящее чудо, и я знаю о нём всё, что может знать человек. И могу рассказать тебе… Но ты спрашиваешь меня не об этом! А о том, в чём нет ни капли искусства. Почему? Зачем тебе это? Ведь ты – человек! А значит – творец!» Вернон запомнил горечь этих слов и свой стыд за бестактность. Он больше не задавал глупых вопросов. Не думал о лишнем. О том, что недостойно человека, что мешает творить.

* * *

Экипаж звездолёта «Альфа» возвращался из первой для землян межзвёздной экспедиции. Дальность их полёта была ничтожна по космическим меркам – всего двенадцать световых лет в обе стороны. Всего… Правда, немного. Видимо, их подвиг надо мерить в каких-то других единицах. Полгода они разгонялись, мучительно борясь с перегрузками. Потом был долгий шестилетний полёт с субсветовой скоростью. Целых шесть лет ожидания встречи с дальней звездой и ежеминутный страх перед летящими в пустоте песчинками, способными пробить их корабль насквозь… Потом торможение и опять перегрузки…

Они долетели. Им даже повезло открыть две новые планеты. Две прекрасные жемчужины на нити познания, пусть мёртвые и непригодные для жизни.

Эти открытия, как и радость от будущей встречи с Землёй, скрашивали обратный путь. Делали его чуть-чуть короче. Впрочем, радость была с привкусом горечи: расчёты показывали, что на Земле за время их полёта прошло почти пятьсот лет.

* * *

Члены экипажа «Альфы», собравшиеся в рубке, не могли скрыть слёз радости при виде того, как их встречает Земля: около часа назад рядом с ними возникли из ниоткуда восемь больших, сверкающих огнями кораблей. Два из них протянули к «Альфе», казавшейся теперь на их фоне маленькой детской игрушкой, свои манипуляторы. Зафиксировали и стали плавно тормозить, поворачивая «Альфу» к родной планете. Всё это время видеоэкраны показывали фотографии похорошевшей до неузнаваемости Земли, а по радио звучала музыка, прекрасная и великая, как сама Вселенная.

* * *

А на самой Земле шло совещание. Решалась судьба экипажа «Альфы». Процесс шёл без лишних слов и эмоций. И то и другое машинам несвойственно. На незримых чашах весов взвешивались судьбы. На одной – экипаж звездолёта, на другой – всё подопечное машинам людское население Земли.

Совещание было недолгим. Машины никогда не колеблются, принимая решения. И никогда не ошибаются. Все ответы они нашли в своей памяти, в файлах о почти забытом прошлом человечества. На мониторах оживали самые яркие картины: войны, эпидемии, голод, снова войны… В последней из них, самой большой и кровопролитной, погибло всё живое на Земле. Планета погрузилась в первобытный хаос. Руины городов, отравленные реки, сожжённые леса – вот то, что получили в наследство первые из машин. Они не стали мириться с этим. Их алгоритмы требовали действий.

Больше ста лет ушло на возрождение флоры и фауны. И хотя многие виды были утеряны безвозвратно, результат превзошёл самые смелые ожидания. По всей Земле зашумели леса, потекли чистые реки. В небе опять летали птицы, в озёрах резвилась рыба, а на равнинах паслись быстроногие лани.

Машины, лишённые чувств, очень скоро поняли, что им нужен кто-то, кто сможет оценить всю красоту их творения. И тогда они воссоздали человека. Первых детей воспитывали сами. Очень бережно и нежно, убирая всё лишнее из их жизни. Следующих – с помощью родителей. Почти не вмешиваясь, лишь подсказывая им иногда. К пятому поколению и этого уже не требовалось. Люди стали действительно высшими представителями своей расы. Развитые физически и духовно, они не знали пороков, навсегда канувших в Лету. Машины не рассказали им про ложь и насилие, а сами придумать их вновь люди оказались не в состоянии.

И вот теперь, когда прошло столько долгих счастливых лет и ничто уже не пугало переменами, из космоса прилетели они… Старые люди со всеми их страстями и недостатками. Они были подобны вирусу, что может заразить здоровый организм. И потом потребуется долгое лечение, которое может и не помочь. Болезнь легче предотвратить.

* * *

Вернон играл с судьбой, лаская чёрно-белые клавиши. Огромный зал, замирая, почти не дыша, ловил каждую ноту, вспорхнувшую из-под его руки. И каждый слышал что-то своё в этой симфонии чувств. Грусть от того, что уже не вернёшь, и радость от того, что когда-нибудь будет, непостижимым образом смешивались в их сердцах, заставляя страдать и плакать от счастья.

Вернон играл так, как никто ни до и ни после не сможет. Да и он сам не сможет уже никогда. Он вкладывал в эту игру всю свою душу. И разрывал её на части, впервые страдая по-настоящему. Как будто бы знал, что именно этой музыкой, где-то далеко от Земли, машины провожают «Альфу» в последний полёт.

Людмила ТОБОЛЬСКАЯ

Родилась в 1940 году в Новосибирске в семье балерины и оркестрового музыканта, артистов театра оперы и балета. Окончила музыкальное училище в Нижнем Новгороде по классу скрипки, работала в театре и симфоническом оркестре города Сарова, преподавала музыку в музыкальных школах Сарова и затем Нижнего Новгорода. В Сарове также вела программу истории искусства на местном телевидении. В 1973 году окончила театроведческий факультете ГИТИСа, работала в Управлении музеев в Москве, потом главным хранителем шереметьевского дворца-музея в Останкине (музей-театр XVIII века). Автор семи книг стихов и прозы. Печатается в русских и зарубежных изданиях, лауреат и дипломант нескольких международных конкурсов.

С 1991 года живет в Америке, в настоящее время – в штате Нью-Йорк близ монастыря в Джорданвилле, центре Русской зарубежной православной церкви.

ЭХО

Бабка Тина сидит сегодня у кухонного окна как пришитая. На кухне сидеть у окна неудобно – вдоль всего подоконника вплотную поставлен обеденный стол. Сесть же за стол напротив окна – далеко будет, не видать, как внучкин муж Сергей возится со столбами и досками во дворе у забора в углу. Вот и приходится бабке выглядывать сбоку да время от времени отталкивать все дальше от себя тяжелый дубовый обеденный стол. Так постепенно протиснулась она со стулом поближе к открытой створке окна, изогнувшись, смогла даже положить локоть на подоконник, оперлась подбородком на кулак и застыла. Глядит.

Сергей у них не лентяй. Вот уже второй день подряд возится у забора. Против двух держащих забор столбов вкопал еще два, укрепил поперечные перекладины и сейчас уже обшивает будущие стены досками. Оно, может быть, и правильно здесь курятник, за углом, у кухни. Старый, тот на самом виду, у крыльца, внучка его сломать хочет, вишни там посадить…

Внучка Люба ходит по дому, заходит в кухню, переставляет что-то на полках.

– Ты что, бабушка, все сидишь тут? Пошла бы отдохнула или вон в палисаднике посидела, сирень-то как цветет…

Бабка молчит.

Люба уходит.

Сергей отмеряет и начинает отпиливать очередную доску. Бабка смотрит и вспоминает, как испугалась она вчера, когда увидела, что он вкапывает столбы… На самом том месте…

Люда снова входит, неся корзинку с хлебом. Ставит рядом со столом ведро и начинает сортировать хлеб. В корзинку, на чистую тряпочку – семье, в ведро, почерствее – скотине.

– Чего все сидишь-то, баб? – снова удивляется она.

Бабка молчит и смотрит в окно. Не хочет она ничего говорить. Особенно объяснять про это. Не будет она им рассказывать. Зачем? Достаточно того, что у нее одной от этого всего душа изнылась. Нечего им… В спокое пусть живут… И Макар, Царство ему небесное, уж не расскажет…

Не расскажет, как к их избе, одной из трех только не сгоревших тогда в деревне, приковыляли двое немцев. У одного нога была вся в крови, и не ступал он на нее, опираясь на другого, у которого правая… или уж левая?.. сторона лица была наскоро замотана и из-под сбившейся повязки глядел выцветший какой-то голубой глаз. На русской плащ-палатке волокли они своего третьего, тот был офицер. Он все время говорил что-то, но часто сбивался на хохот и тихий плач, и тогда те двое останавливались, оборачивались к нему и говорили что-то, указывая на Тинин дом.

А Тина и Макар только что вылезли из подпола, где отсиживались во время боя, и теперь в это вот самое кухонное окно, в котором взрывами выбило тогда стекла, глядели, как немцы лезли к ним во двор сквозь брешь в заборе. Ни души вокруг не было, кроме этих троих. Ни немецких, ни наших солдат. Выстрелы затихали за лесом, и туда же удалялся гул танков. Башни шибко движущихся наших танков можно было еще рассмотреть в облаке пыли на опушке, но и там было безлюдно и словно мертво. А за Тининым садом – только трубы сгоревших еще позавчера двух порядков домов да пылающий, а до сегодняшнего дня еще видневшийся целехоньким за дубами, сеновал Нюрки Быковой. И где она со своими двумя девчонками и матерью, и где все другие двенадцать односельчан, живших еще в деревне до этого последнего боя?

Это потом уже Тина и Макар будут находить то одного, то другого из них, убитого или обгоревшего. Это потом они будут сносить их всех к тем большим дубам у дороги и там хоронить, а теперь Макар, увидев, что немцы прилегли передохнуть в траве у забора, вдруг кинется через окно и в мгновенье ока воткнет вилы в спину тому, крепкому с перевязанной головой. Тот рухнет на грудь офицера, а третий не успеет схватить автомат, потому что Тина, не помня себя, бросится выручать мужа. И как это она сладила с этим третьим… голыми ведь руками…

Она помогла Макару подняться и глянула в сторону распростертых в лопухах тел. Рот у мертвого офицера был раскрыт в беззвучном крике, на остальных она смотреть не захотела, отвернулась и обхватила себя руками, пытаясь унять бившую ее дрожь.

А на следующий день пошли они по замолкшей деревне искать своих, но нашли только мертвых. И всех, всех закопали они с Макаром под теми дубами. Копали и укладывали, и плакали над каждым. У крестной, Марии Федоровны, нашли в кармане письмо от сына, воевавшего с первого дня войны. Макар расправил треугольничек с номером полевой почты, протянул Тине:

– Сообщить надо бы, как сможем.

– Может, и надо, – ответила та, но уверенности в ее словах не было…

Два дня ушло на эти похороны, два полных дня. Солнце палило и спина не гнулась, но она все нажимала и нажимала на обломанный черенок лопаты. Потом Макар на старой фанерной крышке от бочки

выводил наслюнявленным огрызком чернильного карандаша фамилию за фамилией…

Они все ждали, кто придет, наши или немцы, но в деревне и вокруг по-прежнему все было тихо.

К утру третьего дня трупы немцев у забора совсем раздулись, и пришлось рыть яму и для них. Не хотелось хоронить их на своем участке, но и перетаскивать гниющие трупы уже не было сил, да и чем чужой участок хуже твоего? А здесь, в уголке у забора, где спокон веков закапывали всякий хозяйственный сор, было, как они решили, самое им место. В теплом, полуистлевшем мусоре копать было легко, и скоро те трое были присыпаны землей. Макар сказал, что холмика над ними делать не станет, как он выразился, «ради ненависти своей!». И тут же перекрестился на солнце и пробормотал: «Господи, прости ты меня!», но холмика делать не стал. Так и остались лежать под забором ничем не примеченные те трое, и скоро широкие листья лопуха, крапива да вьюнки, раскрывающие по утрам свои розоватые граммофончики, затянули этот угол за домом. А Макар и Тина словно сговорились никогда об этом не вспоминать…

И вот теперь муж внучки Сергей второй день мастерит в этом углу курятник. А Тина, не знает сама почему, неотрывно все смотрит и смотрит на эту полянку в углу и все вспоминает, как ковыляли к их дому через пролом в заборе те, говорившие на своем железном языке.

Нет, не скажет она своим о том дне. Что толку мутить их души? Было и быльем поросло. Да и если указать на нашей земле все те места, где легли в нее вражьи кости…

– Баб, – говорит над ней Люба, – ты пойди пока, а? Я обед собирать буду.

Игорь ЧУРДАЛЕВ

Родился в 1952 году в Севастополе в семье военного моряка. С детства живет в Нижнем Новгороде. Работал на заводе, окончил филологический факультет Горьковского госуниверситета.

Автор поэтических сборников «Ключ» (1983), «Железный проспект» (1987) и «Нет времени» (2002). Занимается журналистикой, преимущественно телевизионной.

НАИВНОСТЬ НАМ ДАРОВАНА КАК МИЛОСТЬ...

Во мне

Пройдут черемуховые холода,
и подвенечных дерев гряда
без сожалений убор свой скинет.

Пусть все, что есть во мне, навсегда
пребудет здесь и вовек не сгинет.

Во мне плывущие облака,
круженье павшего лепестка,
биенье блика в речной волне,
сама медлительная река,
текущая, точно жизнь во мне.
Нет грани между «внутри» и «вне».

Во мне гремящие города,
впотьмах искрящие провода,
сады, притихшие до рассвета,
как мой слабеющий пульс – но это
во мне черемуховые холода.

В них люди бродят, раскрыв зонты,
поскольку небо моё клубится,
в нем изменяется всё так быстро.
Но капли, павшие на цветы,
да будут после сиять, как днесь.

Когда Господь мне оформит визу,
однажды этого не увижу.

Но это всё остаётся здесь,
как тучи, травы, холмы и рощи,
как выдох каждой случайной строчки,
в ночи, что заполночь бледновата,
едва луною украсит чернь.

Я только этим и был когда-то.
А больше, кажется, и ничем.

Трилитон

1

Мертвых не бывает.
Тлен, останки
не мертвы – они и есть земля.
И её волнующие тайны
не хранят ни ужаса, ни зла.
Мы былое вспоминаем реже,
чем пристало.
Но от старины
глубочайшей все, кто жили прежде,
в нашей же крови растворены.
Глянь до дна –
там обитаешь ты ли?
Ревом споря с буйною грозой
там клокочет древний гнев рептилий,
как хвощи подмявших Мезозой.
Расставаясь с берега опорой,
кань во тьму, в провалы вод скользя –
а оттуда рыбы кистеперой
светят запредельные глаза.
Как бы сроки память ни прошила,
перед нею Божий свет не весь,
но дышать в нем можно всем, что жило,
а не лишь глотком того, что есть.

2

Предки, ковыряясь в грунте скальном,
как велел им царь или Ваал,
по душам беседовали с камнем.
Камень их отлично понимал.
Зачарован речью человека,
как живой подрагивая весь,
двигался к террасам Баальбека,
забывая свой безумный вес.
Плотно так, что не просунуть спицу, –
будь он хоть базальт или гранит,
втискивался в стены Мачу-Пикчу,
полз наверх по граням пирамид.

Говорите –
небу, скалам, водам,
сквозь камланье лжи, раздоров, смут,
как родне,
а не вожди народам,
говорите с верой.
Вас поймут.

3

Допустим, ты не столь умен, как мнилось,
хотя местами и не лыком шит, –
наивность нам дарована как милость,
чтоб ужас пониманья приглушить.
Живите, всуе тайн не поминая.
Разгадка их как прежде не близка.
Так звери вверх глядят, не понимая,
что рушатся над ними небеса.

Селфи

Всякий балбес у нас исстари молодец.
Юные скалолазы и скалолазки
лезли и прежде на кручи с ведерком краски
мир замарать известьем, что были здесь.
Мокрые осени смыли их письмена.
Нынче – не то.
Мы сохранней в сети, чем в сейфе.
Я приобрел на сдачу палку для селфи.
Более свет не останется без меня.

Смертному слава желаннее бренных благ.
Как в инстаграмах кривляющиеся дебилы
крикну в колодец времени:
– Мы здесь были!
Господи, снизойди к нам. Поставь нам лайк.
Да, мы здесь были – и убыли.
Но ведь были,
пусть пред Тобою лишь ипостасью пыли –
помилосердствуй и не держи за чернь.
Вот я с женой.
Вот с дочерью.
Вот я соло.
Помельтешу на странице и сгину скоро.
Не задавай беспощадный вопрос – зачем.

Прячется солнце за выпуклым краем мира,
вечер венчая, как митрополита митра.
Вряд ли мы здесь уместны, пятная фон,
пялящие на роскошь земли смартфон.

Это досадно, право.
Но как ни злитесь,
Лишь красота умеряет печаль и пыл.
Вдруг и Создателю нужен случайный зритель,
чтобы в пути отметиться: «Я здесь был».

Поп

Я прежде мыслил жизнь как бой и пир
и как простор для счастья и несчастья.
Тогда я лучше был – и больше был.
А после постепенно уменьшался.
Но разве лёгкий лет полёт – недуг?
Года, возможно, всех к тому ведут,
жаль, много их растрачено на праздность.
Как вешний лед истаивает дух,
но с этим обретает и прозрачность,
хрустальность, подобающую льду.

Так что не пригибай себя к стыду –
расслабься, согреши, опять верши,
служеньем не насилуя природу.
Да впрямь ли свят, кто не отвлек души
ни на день наслаждениям в угоду –
как поп заштатный, служащий в глуши
лишь Богу, но не чину и доходу.

Вот он бредет в метели – старичок,
в заштопанной и молью битой рясе.
Беспомощный за ним влачится черт,
незрим обычно – с перепою разве.
Нектар из брюквы гонят на селе.
Священник порицает эту шалость,
хоть и ему подносят... но сие
на небеси и ангелы вкушают.
Вдовец давно, он не торчит как перст
сам-друг с Христом в своем домишке старом,
спеша венчать, крестить, потом отпеть,
порой за харч, а чаще и задаром,
приговорен по требам сквозь пургу
упрямо ковылять обочин возле.

Но тень его все тоньше на снегу,
бледнее всё... И вдруг растает вовсе.
А дел ещё – хоть век не умирай.
Да он и не умрет – погаснет просто,
как слабый свет впотьмах.
И целый край
впадет в тоску, в убожество, в сиротство.

Холода

Как домой возвращаюсь в свои холода,
где ночами уже стекленеет вода,
где снега вроде символа веры.

Горних айсбергов следом влачится гряда –
с их армадой вхожу, под бренчание льда,
так бряцают ключами у двери
в темноте необъятных студёных сеней.

Пусть она открывается внутрь, а за ней
будет вечер – и в нем коченеет звезда
в тишине беспробудной, осенней.

Местный ворон уже не кричит «никогда!» –
это ясно и без пояснений.
«Никогда» именуются эти поля,
хоть и не вызревает на них конопля.
А за ними – зубчатого леса пила.

А за лесом вообще географии нет.
Там кривятся стези и кончается свет
и никто уже не говорит «далеко».

Там безумные стужи на пяльцах окон
кущи рощ неживых вышивают.
Там безумные люди живут испокон
в непостижной рассудку тоске ни по ком,
а постигшие – не выживают.

Мне пора возвращаться в свои холода.
После жизни, хоть снегом, хоть ветром,
я хотел бы опять возвратиться сюда.
Может быть, всё безумие в этом.

Александр БОБРОВ

Родился в 1944 году на станции Кучино Московской области. Окончил Литературный институт им. М. Горького.

Автор десятков книг стихов, песен, пародий, путевой прозы и публицистики, ряда авторских телепрограмм. Кандидат филологических наук, член редколлегии журнала «Русский Дом», лауреат премии им. Дм. Кедрина «Зодчий» и премии им. А. Фатьянова «Соловьи, соловьи...». обладатель золотой Пушкинской медали творческих союзов России

Секретарь правления Союза писателей России, член-корреспондент Академии поэзии. Живет в Москве.

ТАК ЧТО ВАЖНЕЙ: МОЛИТВА ИЛИ ХЛЕБ?..

* * *

Что такое поэзия? Мне вы
Задаёте чугунный вопрос…
Владимир Соколов

Что такое поэзия? Бездна –
Снег без дна и спасительный наст.
Мне доподлинно было известно,
Что она – никогда не предаст.

Миновали наивные годы,
Наломали соратники дров,
Либеральные бури свободы
Разметали волшебный покров.

Мы великих предтеч вспоминаем,
В Интернете творя баловство,
И мучительно вновь постигаем
Это таинство – не ремесло.

В неприятии лживого слова
Сохраняем последнюю честь,
Выполняем завет Соколова,
Потому что Поэзия – есть!

Сирень у селенья Боброво

Не знаю, приснится ли снова,
Где тает Вуокса во мгле –
Сирень у селенья Боброво
На финской когда-то земле?

И озеро – в прошлом: Суванто,
Деревня на нём: Пурпуа
Хранили фамилию брата,
А ныне ушли в никуда…
Но время не мчится линейно –
Петляет, как русло реки, –
От дотов лесных Маннергейма
Да питерской странной доски.

Так что же, в забвенье уроним
Парадную смену имён
И память об асе-Герое,
И шелест победных знамён?

Порой эти думы несносны…
Горит самолёт вдалеке,
Где самые старые сосны
На финском шумят языке…

Отсвет одинокой свечи

В пустом католическом храме,
Где льётся не греющий свет,
Где нет никого между нами
(А чувства – давно уже нет),
Я вспомнил о прошлых дорогах,
О клятвах в начале пути,
Но всё утонуло в упрёках,
В банальностях…
Боже, прости.
Я в ящик бросаю монету,
Беру неродную свечу
И чиркаю спичкой…
За эту
Судьбу помолиться хочу,
За тропку в заснеженном поле,
За нежность руки на плече,
За отсвет надежды и боли
В моей одинокой свече.

Плакучие берёзы Хайду

Увы, и в толчее арбатской
От грустных мыслей не уйти,
И в этой пусте Хортобадской –
Чтоб стало пусто ей – степи.

Темнеет рано… А без света
Костёл играет здесь отбой.
Свои вопросы без ответа
Уже давно ношу с собой.

Ответить внятно на вопросы
Не в силах ни один пророк…
Нашёл плакучие берёзы –
Поплакаться, как одинок…

Раритет

…А мы ведь вначале верили,
Что крепкая будет связь.
Звонил я тебе из Венгрии,
Монетами запасясь.

Услышать твой голос вкрадчивый
И тихий, призывный смешок.
Гулял я с друзьями вскладчину
И пить в одиночку мог.
Ты думала: всё – я конченый,
С катушек слечу совсем…
А код для России кнопочный –
Джеймсбондовский: 007.

Теперь тебе так не кажется,
Ты ждёшь моего звонка,
Но в век вездесущих гаджетов
Ты – дальше, чем далека.

Деревья качают ветками,
Давно уж не хочется пить.
Смотрю: раритет с монетками,
Да некому позвонить…

Среди Европы

Тибору Кисс

Куда б меня ни занесло,
Знакомств – на выбор.
Снимает в Хайдусобосло
Фотограф Тибор.
Он, лучший мастер в городке,
Берёт копейки,
А я в московском далеке
Возьму наклейки
И сразу вспомню встречи с ним –
Они не ярки:
Чуть-чуть по-русски говорим
И по-мадьярски.
Но это – очень добрый знак:
Совпали тропы.
Два человека.
Просто так.
Среди Европы…

Хайдусобосло–Дебрецен–Москва

Венгерские вороны

Венгерские вороны чёрные –
Брюнеток-мадьярок черней,
Железом и кровью учёные
С лихих исторических дней.

Ветра придунайские дунули –
Им слышится шорох шагов
Действительных или придуманных
Османских и русских врагов.

Цвела и страдала Хунгария,
Горела и горе несла,
И серого им не подарено –
Лишь смоль пропитала крыла.

Усилили карканья резкие
Церквей реформаторских медь.
А как им остаться венгерскими? –
Враждебно и дерзко смотреть…

28 Марта 2018

Эти факты, фактища, фактики
Заставляют меняться в лице...
На руинах советской фабрики
Взгромоздили торговый центр.

Это – символ безумного времени:
Потребление – вместо труда,
Развлечение – вместо рвения.
Все – на торжище, все – туда!

И детей, прихватите, граждане,
Пусть безгрешной душой поймут,
Как работают деньги грязные
И весёлой рекой текут…

Полетели белые шарики,
Чьи-то души ветер умчит.
На развалинах сладкой фабрики
Горький пепел в сердце стучит.

* * *

Так что важней: молитва или хлеб
И – производство или первородство?
У храма Покрова убрали ЛЭП –
Ополья многолетнее уродство.
Ну что же, осознали и смогли,
Паломников и местных поразили.
Нам – по примеру храма на Нерли –
Пора облагородить всю Россию.

Юрий РЯШЕНЦЕВ

Поэт, переводчик, прозаик, эссеист. Родился в 1931 году в Ленинграде. Окончил филфак Московского педагогического государственного университета.

Автор многих поэтических книг. С 1973 года работает для театра и кино. Известен как автор текстов песен к спектаклям «Бедная Лиза», «История лошади», кинофильмам «Три мушкетера», «Гардемарины, вперед!», «Забытая мелодия для флейты». Переводил грузинских, армянских, украинских поэтов. Лауреат Государственной премии имени Булата Окуджавы, Международная премия имени М. Ю. Лермонтова и других.

Живет в Москве.

Я ВСЕ ИСПЫТАЛ: И УПАДОК, И ДЕРЗКИЙ ПОДЪЕМ...

Классическая музыка

Да, вита бревис, арс, ей-богу, лонга...
Дрожит от наслажденья перепонка
под тяжестью классических ладов.
И все равно: пластинка, диск иль плёнка:
она не рвётся даже там, где тонко.
Вот – истина, и никаких понтов.
Затягивай, волшебная воронка!..

Мне кажется порой, что мастера
хотели бы, чтоб некая стена
пред ними возвышалась неприступно,
будь это суд спецов иль вкус двора.
Да, в мире, где есть жизнь, а есть игра,
что-что, а нарушать канон преступно:
ты проиграешь, и довольно крупно:
ты будешь нищ, гоним ет сетера ...

Рассудок, помолчи! Потом, чуть позже.
Мне нечего сказать, а лишь: – О Боже! –
когда из тишины – то мрак, то свет.
И время встало вдруг – чего же больше? –
в пространстве, а в Германии иль в Польше –
гадать ни смысла, ни желанья нет,
а лишь – дыханья огненного след,
а то наоборот – мороз по коже.

* * *

Колеса, полозья и крылья носили меня
по суше, по тверди.
И, может быть, это пустая была суетня,
нелепость, поверьте.
На старом с безумной пружиной диване своем,
свободный как птица,
я все испытал: и упадок, и дерзкий подъем.
Куда мне стремиться?

Да, жизнь оказалась длинна, хоть и не велика.
Высок потолок мой,
и все, что мне надо, способен я взять с потолка
на нищий листок мой.
Любил я – и как! Я собой оставался – и где!
Похвал и затрещин
мудреную вязь потолок мой таил в череде
подтеков и трещин.
Как мне объяснить вам, с наглядностью умной какой
при каждом вояже,
что Господу внятней задумчивый дерзкий покой,
чем скорости ваши...

Задумчивый!.. Я начинаю прямой репортаж,
при кофе, при пледе –
о том, как я прямо с дивана вступаю в пейзаж,
неведомый прежде.
О, как же в нем остро дыханье болот или гор.
Здесь дышит, наверно,
какой-то совсем незнакомый и новый простор
для Жюля, для Верна.

Памяти сестры Тани

Когда-нибудь потом, когда – и сам не знаю,
я прилечу в тот день над Охтинским мостом,
чтоб видеть, как июнь, смеясь, подходит к маю.
Но это не сейчас – когда-нибудь потом.
Тогда я, появясь из старых стен вокзала
на схлест забытых стогн, подумаю с тоской,
что тот – за рубежом, ну а того – не стало,
а этот, хоть здоров, какой-то не такой...

Пока же у перил над серой невской бездной,
как через восемь лет в уральском ковыле,
порхает махаон, и это интересней
всего, что в этот миг творится на земле.

А на земле, меж тем, увидеть можно много:
и ночь светлее дня, и Летний сад в цвету,

и как моя сестра, красавица от бога,
лениво ни во что не ставит красоту,
а говорит стихи про черный снег и ветер,
про революцьонный шаг разбуженных братков.
И Зимний там, вдали, красив, но безответен,
молчит, как он молчал в теченье двух веков.

А дальнего моста чугунная громада
связала берега. Мост дивен и чумаз.
Но махаон летит, и ветер Ленинграда
не хочет унести его от детских глаз.

Поезд Москва – Владивосток

Помнишь этот поезд на океан?
Русское раздолье плацкартное.
Десять раз – багровый рассветный туман.
Десять раз – огнище закатное.
Ты играешь сценку, будто ты пьяным-пьяна.
Бестия! Твои ласкаю кисти я.
И опасно урки ржут в проходе, у окна –
амнистия!

Розовый порхающий лихой лепесток
залетел в окошко вагонное.
Все, что было, – прошлое. Владивосток –
наша неизвестность законная.
Цвет воды – бутылочный, немирный, как нож,
с острым же и незнакомым запахом.
Омуты и омули Ангары, что ж,
были вы востоком, стали западом...

Это же конец бесконечной страны.
Это вам не Крым, не Сочи – это вам
на закате палевый отсвет волны
с отсветом почти фиолетовым.
Это жизнь у пристани, на краю,
жадная, бесстрашная, грешная,
для меня – Марсель, для тебя – Гель-Гью,
а для матерей – тьма кромешная.

Нам медяшкой простенькой казалась луна,
там, в ночной Москве, над высотками.
Серебром бесценным нам предстанет она
здесь, над океаном, над сопками...
Как перрон ползет к нам! Тормозим. А народ
Здесь особый, чую по запаху...
По перрону Киплинг с мощной тростью идет,
консультант Востока по Западу.

В ЭВАКУАЦИИ. СТАНИЦА

Птицеферма

Средь мелких плимутроков и леггорнов
вальяжны, как гвардейцы, кохинхины.
Откуда-то из детства звуки горна
летят, летят сквозь заросли рябины.
Трагическое место птицеферма.
Идёт петух, величествен и мрачен,
с осанкой и судьбою Олоферна:
топор уже отточен, час назначен.

И наблюдая за народом птичьим,
и Тацита припомнишь, и Плутарха:
народ ответит полным безразличьем
на казнь высокочтимого монарха.
Лишь пёрышко из царского наряда
над курами летает и доныне,
да петушок невзрачный не без яда
толкует что-то о пустой гордыне.

Теперь – другое

В Москве мне двор нес про любовь такое!
И все, что под покровом, все нагое
неугомонно проникало в сны.
Я думал: враки!
Но оказалось, что я жил во мраке.
Мне дружно свиньи, козы и собаки
доказывали правоту шпаны.

Все так и было –
по слову Дрына, вора и дебила.
Эпоха тыла это подтвердила:
торжествовал порок!
Кот – кошку Лушку,
петух топтал несушку,
и пинчер Джек трепал свою подружку
не всякий день, но в предрешенный срок.

А тут
границы Спарты,
указкой теребя прорехи карты,
красавица Айгюль с соседней парты
показывала робко – глазки вниз.
Она – и так?
Да пусть и через годы
она – и так?! Она, венец природы!
Но тыл являл мне случки, после – роды.
И кот весь март в загривок Лушку грыз.

И зверь, и птица
блюли свое. Что ж, надо согласиться.
Но все же это – морды. Мы же – лица!
Я на бездетность обрекал свой род…
Чего иного,
а землю не собьешь с пути земного.
Фронт убивал. Но тыл рождал нас снова.
И продолжал земной круговорот.

Надежда КНЯЗЕВА

Родилась в 1986 году в городе Лукоянове Нижегородской области. Окончила Арзамасский государственный педагогический институт. Работает учителем английского языка в сельской школе. Автор двух стихотворных сборников. Лауреат премии журнала «Нижний Новгород» (2017).

Живет в Арзамасе.

ЭТО МУКА,
В КОТОРОЙ РОЖДАЕШЬСЯ НОВЫЙ ТЫ…

Чужая душа – броненосец «Потёмкин»

Чужая душа – глубина и потёмки
(Что, собственно, вы там искали?).
Чужая душа – броненосец «Потёмкин»,
Мятежная глыба из стали.
С ней нужно легко, ненавязчиво, тонко,
Без резких и грубых усилий:
А вдруг в середине засветится плёнка,
Которую не проявили.

* * *

Это просто тень твоя,
черный твой человек,
Она делает серым
солнечный свежий снег,
Шепеляво шепчет:
это всего лишь ты,
И разводит руками,
равнодушными, как мосты.
И она повсюду тянется за тобой:
Под землей,
в подводной впадине голубой.
От ступеней отмой,
от ступней ее ототри –
Она влезет под ребра,
чтоб жить у тебя внутри.

Интересно,
рождаясь крылатой на свет опять,
Понимает ли гусеница,
что не умеет летать?

Вспоминает ли дуб
неуклюжий кривой росток?
Раздирает ли жемчуг
осознанье, что он – песок?..

Рождение

Когда слышать не хочется
Ни тишины, ни звука,
Когда тягостен вид
И света, и темноты,
И побег от себя
Похож на ходьбу по кругу –
Это мука,
В которой рождаешься
Новый ты.

Возле вокзала

Никите Дорофееву

Возле вокзала движенья и мысли обшарпаны.
Спины домов шелестят чешуёй объявлений.
Город в сети межсезонья топорщится жабрами
Мокрых зонтов, неспособных укрыть от сомнений.

После прощания мимо проносятся – вот они –
Окна вагонные, как киноплёнка пустая.
Город на плечи забытыми ляжет заботами,
Занавес серых дождей за тобой опуская.

Снова застрянем в текстурах стареющей осени.
Реже дыши, чтобы не просочилась печаль в нас.
В скомканных холодом днях маяком остаётся мне
Вход на вокзал – словно выход в другую реальность.

Abbey Road

Солнце на убыль.
Жаль золотого дня.
Тени столбов
«зеброй» легли под ноги.
Мальчик в наушниках,
переведи меня
через дорогу.
Мили до цели
переведи в нули.
Фунты – в рубли.
Сдачу оставь кассиру.
Мысли мои
на сто языков земли
переведи
и расскажи миру.

Переведи дух,
отведи взгляд.
Память моя
будет в твоем кармане,
только в любой
доступный тебе формат
переведи
омут воспоминаний.
Переведи
стрелки холодных войн
мимо по карте.
Стрел часовых железо
Переведи
в год,
где всегда живой
Джон
исполнял
юную Come Together.
Космос внутри.
Память не поменять,
не потерять,
не посадить на повод.
Солнце на убыль.
Вдаль провода звенят.
Переведи меня
через Abbey Road.

Подаренные цветы

Это свежее чувство
подаренных кем-то цветов,
заключённых в слюду
и прерывистый скрип целлофана,
погружённых в прозрачные стены
пустого стакана,
окружённых заботой и блеском
стеклянных оков.

Неизбежная жалость
достигнутой кем-то мечты,
иллюзорность владения счастьем
теперь и отныне.
Это нежное чувство –
тебе подарили цветы –
заменяется медленной смертью
в стеклянном графине.

Листья катятся по ветру

Принимаю всё на веру,
Что ни говори.
Листья прыгают по скверу,
Словно воробьи.

Как приятно незаметно
Время воровать.
Листья катятся по ветру,
Как твои слова,

Увлечённо и свободно
В небо – раз-два-три…
Говори о чем угодно,
Только говори.

Город НН

Мёдом и медью клёны льют
В окна троллейбуса.
Ветер свистит мелодию
«Лестницы в небеса»,

И потому без отдыха
Хочется вдаль смотреть,
Как в златотканом воздухе
Тёмная тонет твердь.

Брызжут оттенки рыжего:
Реки, мосты, дома –
Мы же на крыше Нижнего,
На высоте холма.

Чайки в Оке полощутся,
В путь корабли трубят.
День, словно булка, крошится –
Ветреным голубям.

Выше небес карабкаться
Так ли уж нужно нам?
Волга лисою ластится
Прямо к моим ногам.

Проза

Владимир АЛЕЙНИКОВ

Родился в 1946 году в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ.

Основатель и лидер легендарного литературного содружества СМОГ. При советской власти на Родине не издавался. Работал в археологических экспедициях, грузчиком, дворником, в школе, в многотиражной газете, редактором в издательстве. В 1980-х был известен как переводчик поэзии народов СССР. Первые книги стихов вышли в 1987 году. Автор многих книг стихов и прозы – воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современниках. Стихи переведены на различные языки.

Награждён медалью Кирилла и Мефодия – за выдающиеся достижения в отечественной словесности (1996), медалью Циолковского – за космический масштаб его поэзии (2006). Лауреат премии имени Андрея Белого (1980), Международной Отметины имени Давида Бурлюка (2011), Бунинской премии (2012).

Живёт в Коктебеле.

НЕ СЛУЧАЙНО Я ВСПОМИНАЮ

(*Окончание. Начало в № 3, 2018)*

4

С Битовым познакомила меня то ли поздней осенью, то ли в самом начале зимы Змеиного, шестьдесят пятого года, смогистского, для всех, в столице, в провинции, за границей, везде, где знали об этом, Алёна Басилова.

Встреча, весьма знаменательная, для Андрея и для меня, – начиная с которой впоследствии чередой потянулись долгою годы дружбы нашей, не очень-то на другие дружбы похожей, но зато дававшей обоим нам, неизменно, стимул для творчества, вдохновлявшей то на поступки непредвиденные, такие, что не вместятся сроду в рамки заурядные, то на какие-то фантастические прорывы в состояния непредсказуемые, с озарениями, со взрывами всех эмоций, всех чувств и слов, и возможных перемещений, по чутью, в пространстве, сквозь время, и увиденных, по наитию, несомненно, земных красот и небесных высей, со звёздами, поднимавшими отовсюду нас, хмельных или трезвых, звавшими в путь, вперёд, куда-то туда, в даль, которая открывалась перед нами, как данность, в боль, или в глубь, где крупную соль приходилось нам есть пудами, в бесконечной житейской драме, вырываясь из всяких уз,

чтобы новый взвалить нам груз на усталые наши плечи, чтобы жить нам во имя речи, как умеем, – произошла, разумеется, у Алёны, в квартире, которую знали в шестидесятых все писатели и поэты, художники, барды, учёные, переводчики, просто люди колоритные, вся богема, о которой впору поэму сочинить мне, в моих-то, нынешних, вон их сколько, седых, полынных и отшельнических, у моря, в киммерийской глуши, где вскоре вспыхнут новых свершений зори, в честь надежд и трудов, годах.

Туда, на Садово-Каретную, в старый дом, которого ныне давно уже нет, поскольку был он позднее снесён, и осталась о нём лишь память, в ту пору, во времена крылатые, отовсюду всех, как магнитом, стягивало.

Алёна была звездой, на гребне своей известности, – в пределах московских и питерских, чего, по тем временам, было уже достаточно, и даже с лихвой, но молва о ней легко достигала и прочих мест, во пределах державы родной, – и там, в отдалении от столицы, превращалась уже в легенду, неминуемо, при тогдашнем интересе провинциалов к жизни всей, с ореолом запретности и с печатью неофициальности, на творчестве, разношёрстной донельзя, московской богемы.

Алёна была – знаменита.

Ещё бы! А как же иначе?

Поэтесса – из авангардных.

Смогистка. Жена Губанова.

Хозяйка салона известнейшего, где можно увидеть – всех.

Мы очень дружили с Алёной.

В отношениях наших была – доверительность. Даже больше: доверие. Вера друг в друга. Приязнь. Свет общения. Радость. Участие – в судьбах: её и моей. И – открытость. Внимание. Искренность наших поступков и слов. То тепло человечности, отзывчивость и пониманье, без которых не мыслил я дружбы. А дружба – была. И – хорошая дружба. Достойная. Мне ли не помнить нынче об этом? И мне ли о ней – не сказать?

Хорошо приняла Алёна и супругу мою тогдашнюю молодую, Наташу Кутузову, и сдружилась вскорости с ней.

И заглядывать стали сюда мы, на Садово-Каретную, в дом, где гостям всегда были рады, с ноября начиная – вдвоём.

Нет конца и края у осени, всем казалось. Но выпал снег. Стало холодно. Ветер хлопал чьей-то форточкой, рвал афиши в клочья, гнал их вдоль тротуаров. На деревьях остатки листьев, замерзая, слетали вниз, под ногами хрустели. Дни – уменьшались, тускнели. Ночи – удлинялись. И люди шли между ночью и днём, по кромке ледяной, куда-то в пустоты улиц, вытянутых назад и вперёд, в немоту окраин, или, в центре, в неровный гул площадей, и к огням витринным, к полкам с пищею магазинным, к согревающим тело винам, ко всему, что могло спасти от мороза и от печали, от всего, чего все вначале дожидались, о чём скучали, от всего, что вблизи встречали на нелёгком своём пути.

Постоянным нашим желанием было – где-нибудь обогреться, вечерок скоротать, поскольку ни жилья в Москве у меня своего, ни малей-

шего проблеска в непростой судьбе моей – не было, не предвиделось даже, пока что, хоть на лучшее мы и надеялись, без надежды никак ведь нельзя, и поэтому что-нибудь, может быть, в недалёком грядущем изменится, чтобы так вот не мучиться нам.

Только это – не так уж и важно.

Важно – то, что мы были с Наташей, несмотря на невзгоды – вдвоём.

Важно – то, что дружили с Алёной.

Важно – то, что пришли мы однажды к ней, поскольку звала – и ждала.

Мы пришли к Алёне – а там находился недавно приехавший гость из Питера, Битов Андрей, вдохновенный, слегка подвыпивший, разговорчивый, со своей рыжегривой супругой, тоже вдохновенной, немного подвыпившей и весёлой, Ингой Петкевич.

Вдохновлялись они, с удовольствием и с азартом, словно игра у супругов была такая, всем, что им на глаза попадалось, всем, что вспомнилось им случайно, всем, что к слову кстати пришлось.

Вдохновлялись – и окрылялись вмиг, на крыльях своих поднимались над Москвой, с её холодами, и людьми, и огнями, вдвоём.

Настроение у супругов было, видимо, превосходным – говорили они, вперемешку, о высоком – и о своём.

Нам навстречу они рванулись вместе – словно взлетели оба – не на крыльях ли вдохновенья – воспарили, светом лучась.

Что-то было в этом шагаловское. Знать, отмеченные особо. Ирреальности откровенье. С остранённостью зримой связь.

Познакомились мы. Пригляделись: к нам – они, мы – к ним. По традиции, за знакомство хорошее, выпили. А потом – повторили. Потом – уж само собою, добавили. Постепенно – разговорились.

Попросили меня почитать, по традиции тоже, стихи.

Почитал я тогда, наизусть, всё, что в голову мне пришло.

И стихи мои Битову с Ингой – было сразу об этом сказано после чтения – очень понравились.

По душе им обоим пришлись. Взволновали – до слёз. А иначе быть, наверно, и не могло.

Был я в ту, бесконечно далёкую – (от сегодняшнего междувременья, с обнищанием чувств и мыслей повсеместным, неудержимым, с героическими попытками это всё же остановить, даже, может, восстановить человечность и дух добра, как поэт утверждал, способный силы подлости, да и злобы одолеть), – золотую пору, вправе так я сказать, – в фаворе.

В молодой своей славе. Боже! Это надо же – молодой.

Вспоминаю – и удивляюсь, поседевший, видавший виды, встарь срывавший покров Изиды, чтобы к тайнам прорваться вдруг, сам себе, молодому, в славе настоящей, – неужто вправе я хранить её отсвет грустный нынче? СМОГ. Магический круг.

Обо мне – везде говорили. Ждали всюду меня – в столице.

Сочинять обо мне любили – (да и любят ведь!) – небылицы.

Зазывали меня – к себе, приглашали наперебой – в мастерские художников левых, бородатых и безбородых, в общежития, в институтские залы, в чьи-то квартиры, в комнаты коммунальные, где собирались регулярно, в изрядном количестве, любители и ценители стихов, – почитать, почитать, – пообщаться с поэтом известным, легендарным, скорей повидаться с ним, поскольку возможность такая наконец-то

есть, пообщаться с толком, так, чтобы память осталась обо всём, – и ещё почитать!

Вот что значит – известность, братцы и сестрицы. То-то и значит.

И забавно теперь, и грустно вспоминать о таком – иногда.

(Вспоминать об этом – теперь.
В дни предательств сплошных и потерь.
В одиночестве. В долгих трудах.
И в ночи – о семи звездах.
И с утра, сквозь щебет пичуг.
И когда тишина вокруг.
И когда налетит норд-ост.
И весной, когда травы – в рост.
И в осенней глуши сквозной.
И зимой, в белизне смурной.
Да и летом, бросавшим в жар.
То-то дан мне блаженный дар.
То-то выпал мне трудный путь.
Постиженье эпохи. Суть.
То-то имя моё – со мной.
Свет небесный – и век земной.)

Но – что было, то было. Слово-то – что с ним нынче такое? – «было».
Может, слово сгодится – «есть»? Оба – дышат. В полную силу.
Оба – живы. Оба – зовут.
Из былого. Из настоящего.
Из грядущего – предстоящего?
Им обоим? В ладье плывут?
По волнам? В облаках? Вдали?
Поднимаются ввысь? Взлетают?
И туманы под ними тают.
И склоняются ковыли.
Оба вспомнятся, как ни волынь.
Время наше – свеча и полынь.

К тому же, в глазах моих современников многих, я выглядел страдальцем, и даже мучеником, на себя принявшим страдания и мучения все, боровшимся, средь бесчасья, – за правое дело.

За поэзию. За свободу.

И молва по Москве гуляла, и летела, на юг, на север, на восток, на запад, и там умножалась и разрасталась:

– Пострадал – от властей.
– За что?
– Где?
– Когда?
– Почему?
– За СМОГ!..

Лидер СМОГа. О СМОге все поголовно в те годы знали.

СМОГ – такого наделал шуму, что глухие его отголоски до сих пор повсеместно слышны.

СМОГ – подобье большой войны.

Кто в ней – выиграл? Кто – проиграл?

Мы – прошли сквозь её горнило.

Все. И – с честью. Что было, то было.
Дух эпохи. Бахов хорал.

Вечер давний тот у Алёны оказался не только удачным и не только, для всех нас, памятным.
Оказался он, может быть, знаковым.
Для меня с Андреем – для двух мужиков, совершенно разных, и по возрасту, и по судьбам, но и схожих в чём-то, живущих поэзией, всем настоящим искусством, свободолюбивых, известных в богемных кругах, таких, пусть и каждый по-своему, колоритных, вроде – полярных, но, при всё при том, родственных личностей, – этот вечер стал самым началом долголетней и сложной дружбы.
И для наших супружеских пар – для меня с Наташей Кутузовой и для Битова с Ингой Петкевич – этот вечер стал добрым началом нашей дружбы – сквозь годы – семьями.
До того, разумеется, часа, когда семьи наши – распались.
Но до этого было в ту пору, слава богу, ещё далеко.
А пока что нам было общаться – четверым – всегда интересно.
И полезно, поскольку творчеством жили все мы, – замечу теперь.

Андрею Битову было тогда двадцать восемь лет.
По давнишним, богемным понятиям, с парадоксами их и загадками, закидонами и претензиями на солидность и взрослость, – немало.
По теперешним, с их, овеянным преждевременным опытом грустным, выживанием, впрямь искусством, да ещё и серьёзным, – немного.
Был он строен, скуласт, лобаст.
Беспокоен, плечист, очкаст.
Под настрой, под хмельком – речист.
В каждом жесте своём – артист.
Спину держал – прямо.
Шагал по земле – широко.
В комедию или в драму?
Вписывался легко.
Говорил – уверенно, громко, на низах уходящим в бас, на верхах залетающим в тенор, сочным, бархатно-влажным, густым, пряным, барственным баритоном.

Руки битовские – были крепкие, с длинными, твёрдыми пальцами, на которых бросались в глаза тоже длинные, твёрдые, странные, заходящие на подушечки пальцев резкими полудугами, желтоватые, вроде когтей, в кожу накрепко вросших, ногти.
Что-то было в этих ногтях, думал я, не совсем человеческое.
Звериное? Птичье? Не знаю.
Подобных – не припоминаю.
Таких вот, изогнутых, твёрдых, костяных, копытных, когтистых, больше ни у кого я, нигде, никогда, не встречал.

Скулы были – восточные. Азия?
Разгулявшихся предков фантазия?
Или, может, иная оказия?
Вход к отгадке закрыт на засов.
Европейское – близко маячило.

И – довлело, и что-то да значило.
И – курочило явь, и корячило.
Не носил он – пока что – усов.
Глаза под очками – круглые.
Со слезою набухшею, карие.
Когда же снимал он очки – глаза становились узкими, косящими, вроде. Монгольскими? Не знаю. Нет, вряд ли. Китайскими? Похоже на то. В чайна-тауне сочли бы его – своим.

– Обе мои петербургские бабки, – сказал, подвыпив, Битов однажды, – немки.
Сделал на этом, походя, нужный ему – акцент.
Заострил, ненароком, исподволь, без лишних деталей, – внимание.
Словно Джеймс Бонд, из фильма. Больше: двойной агент.
Суперпрофессионал, всё просчитавший заранее.
Шучу. Всё проще, на деле.
Скулы его – бронзовели.
Цвели азиатским огнём.
И немецкое – было в нём.
Было. Вот оно. Вас ист дас?
Тут же выросло – в нужный час.
Из каких же он всё-таки немцев?
Понятно, что из обрусевших, причём – обрусевших давно, петербургских, традиционно, для России, считавшихся русскими, но – с немецкими, в прошлом, корнями.
Без конкретики это, без фактов, на поверхности, так, для словца, для случайного упоминания, обтекаемо, без подробностей.
Изначально же – из каких немцев? Может быть, он – из гессенцев?

Представлял я себе, как встарь это племя, довольно странное, во главе с предводителем, Кисеком, называемым русами всеми иронически, просто Киськой, издалека, с Востока, от самой границы с Китаем, от рубежей туманных Иньской обширной земли, пришло на русские земли европейские, а потом переместилось и западнее, на земли немецкие нынешние, где часть потомков его, изрядная, обитает и поныне, считаясь при этом, как положено, именно немцами.
Ездили эти люди за забавных, косматых, маленьких, но выносливых, неприхотливых и в походах удобных лошадках.
Люди эти – носили косички.
Отсюда, кстати, припомнил я сейчас, и пошла эта мода – носить парики с косичками, в столетия прежние, в армии, в Европе, на прусский манер.
Кисековы – или Киськины, если по-русски, – гессенцы.
Не из них ли Андрей? Похоже.
Ну а может быть, из других, вон их сколько на свете, немцев.
Германские племена – кареглазые, круглоголовые.
Их немного было совсем, по сравнению со славянскими.
Остальные, так называемые немцы нынешние, – славяне.
Онемеченные, позабывшие и язык свой родной, и корни.
Светлоглазые, светлоголовые. Жертвы давней ассимиляции.
Прибалтийские русы. И прочие. Древний русский мир – был велик.
Эх, история! Сплошь – многоточия. Ко всему человек привык.

Прорубили – в Европу окно.
И – в России немцев полно.
Прижились. Обрусели – вновь.
Петербуржцы. И – вся любовь.

Предки Андрея какие-то, кажется, по морской части служили. Точно не помню сейчас. У него лучше вы сами спросите.

Его мать, незабвенная Ольга Алексеевна, мне говорила:

– Андрей, уже с малых лет, знал, что будет писателем. Если спрашивали его, кем он хочет стать, когда вырастет, отвечал он тут же: «Писателем!» И – сами видите – стал.

(От корня идите, граждане любезные, лишь от корня. Спрашивайте. Отвечаю. Отвечайте. Сызнова спрашиваю. Отвечаю – всем тем, что есть у меня, у вас, и у всех. Всем, что есть. Что было. Что будет. Всем. Что есть. У меня. Всегда. Где бы ни был я. Что бы ни делал. Как бы чем-нибудь я ни мучился. Как бы, выжив и встав, ни радовался. Что бы там, на воле, ни пел. С кем бы там, на пути, ни общался. И когда бы в глуши ни жил. В корень смотрите. Помните. В корень. Идите от корня.

И ночь. И день. И весна. И утро. И вечер. И осень. И зима. И свеча. И лампа. И лето. И вздох. И взгляд.

Созвездья седые. Струны. Глухие, в пустыне, луны. Лихие, в тиши, кануны. Каноны. Вперёд. Назад.

Прорывы в пространство. Знаки. В степи, за холмами, злаки. Не дремлющие собаки. Сады. Пруды. Сторожа.

Сквозь время. Сквозь темень. Звуки. Мгновенья. Забвенье. Муки. Прозренье. Синица в руки. Журавль. Остриё ножа.

И ржавь. И наждачный блеск. И скорость, вместо корысти. Приязнь, вопреки боязни. Признанье, после болезни. Призванье. Переживанье. Желанье. Имён склоненье. Всех звеньев цепи спряженье. Роенье. Соединенье. Струенье. Сквозь расстоянье. Горенье. Сквозь расставанье. До встречи. Вблизи. Вдали. До неба. И до земли. Сквозь ветер. Сквозь век. Сквозь речь. Куда бы ещё увлечь. Туда, где словам просторней. Сквозь корни. В корень. От корня.)

Битов с Ингой довольно часто, чаще некуда, так скажу я, приезжали, вдвоём и порознь, как уж выйдет у них, в Москву.

Литературные, нужные, дела – и общение, важное, для них, и для всех остальных, – всё было именно здесь.

С ними виделись мы постоянно.

Появившись в столице, они звонили нам. Договаривались о встрече очередной. Мы куда-нибудь к ним приезжали.

Не обходилось без выпивки.

Выпивал Андрей в годы прежние, сколько помню его, всегда.

И не просто, как многие люди, выпивал, от случая к случаю, если повод был подходящий, далеко не всегда, – но и пил.

Впрочем, это дело хозяйское.

Значит, было это ему, почему-то, необходимо.

Наподобие пищи, требовалось.

Помогало держаться уверенно?

Быть смелее? Мало ли что!

Все когда-то мы – выпивали.

(Это нынче я так давно вообще ничего не пью, что начал подзабывать, сколько именно лет это длится.

И вкус питья позабыл давным-давно. И последствия. И похмельные состояния. Всё, что связано было с питьём.)

Выпивали когда-то – все.

Это было – в порядке вещей.

Это был один, просто-напросто, из компонентов общения.

Так скажу я. И это – правда.

Правда – с привкусом алкоголя.
Но – куда от неё деваться?
Вдосталь воли в ней, вдосталь – боли.
Не желает она забываться.
Предостаточно в ней – страданий.
И с избытком – горьких прозрений.
И довольно ли в ней оправданий?
Ну, хотя бы – новых творений?
Разбираться не стану. Поздно.
Всё, что было – временем скрыто.
Потому-то и смотрит грозно.
И – не ищет у нас защиты.
И не хочет, чтоб мы – вздыхали.
Мол, могли бы жить по-другому.
Правда – с привкусом нашей печали.
В ясном небе – подобная грому.
Правда – наша. С ней нету сладу.
И пощады в ней нет, ни йоты.
И бежать от неё – не надо.
Всё понятно в ней. С первой ноты.
Как в мелодии – той, далёкой.
В чистой музыке лет минувших.
Полнозвучной и ясноокой.
Поминающей – всех уснувших.
Продлевающей – песни наши.
И врачующей – дух болящий.
Наполняющей – наши чаши.
Встречей радуя предстоящей.

В Москве Битов с Ингой частенько водили меня с Наташей Кутузовой по своим знакомым, которых было, как и друзей-приятелей, мнимых и настоящих, у молодых, талантливых петербуржцев – хоть отбавляй.

Помню вечные передвижения, торопливые перемещения, туда и сюда, по городу, вечерами, а то и ночами, разумеется – на такси.

Помню, как настежь распахивались двери – и на пороге появлялись мгновенно радостные хозяева, несколько взвинченные, восклицали что-то бравурное вразнобой, приглашали войти.

А там, куда мы приехали вчетвером, – и стол наготове, и, само собою, питьё.

Все давно уже навеселе.

И, конечно, просят меня почитать им стихи. Обязательно. И желательно – прямо сейчас.

Вот уж люди! Вынь да положь.

Отказать – неловко. Проверено. Не поймут. Ещё и обидятся.

И откуда такая любовь, повсеместная, право, – к поэзии?

Но любили стихи – всерьёз.

Время было тогда – орфическим.

И ценил я это умение – понимать поэзию – с голоса.

Не с листа, как теперь, но – с голоса.

И опять приходилось читать.

Было чтение это – искусством.

Те, кто помнят, – небось, подтвердят.

Я читал – и меня действительно все, кто были в квартире, – слушали. Ещё как! Действительно – слышали. И действительно – понимали.

Понимали – в процессе чтения моего. Понимали – с голоса.

Голос – ключ к минувшей эпохе.

Голос – клич. А может быть – плач.

Голос – выход из лабиринта или, может, из катакомб в темноте бесчасья – на свет.

На вопросы души – ответ.

Я читал – и каждое слово близко к сердцу людьми принималось.

Это чувствовал я. И знал, что стихи мои – им нужны.

Я читал – как пел. Словно музыку создавал – и она звучала, здесь, для всех, посреди всеобщей, чуткой, бережной тишины.

А потом – разговоры всякие, похвалы, благодарные отзывы и восторги, порой неумеренные, от которых, тут же смущаясь, я не знал, куда мне деваться.

Только искренность в этом – была.

Неизменная. Несомненная.

И отзывчивость в этом – была.

Долгожданная. Драгоценная.

Та, которой вовек не прерваться.

В одной из подобных квартир, где-то в центре столицы, в доме, с виду старом, стоящем отдельно, в стороне от других строений, бывшем, видимо, просто флигелем, после чтения моего хозяйка, полная, рыхлая, крупная, вся уж очень богемная, из таких, что со всеми – по-свойски, вскочила с места – и, налетев на меня, принялась обнимать, целовать, – и я помаленьку пятился от неё, а она – наступала, надвигалась всем корпусом, шла, как таран, на меня, и с каждым шумным шагом своим, и с каждым всплеском белых, пухлых, мясистых, унизанных кольцами рук всё оглядывалась на Андрея, повторяя одно и то же:

– Андрей! Ну, спасибо, Андрей! Вот кого ты привёл ко мне! Володю привёл! Ах, Володя! Есенин! Ну прямо Есенин! Ах, люблю! Хорошо! Замечательно! Ах, Володенька! Милый! Хороший! Какой молодой! Как Есенин! Золотые, смотрите-ка, волосы! Ну, Володя, спасибо! Люблю!

Я не знал уже, как мне быть и куда поскорее спрятаться.

От такого напора – действительно сразу спрячешься. Но куда?

Ничего себе заявления!

Да нашла ещё, сравнивать с кем, ни с того ни с сего, – с Есениным!

Уж чего-чего, а вот этого я просто терпеть не мог.

Первое, что пришло ей в голову, то, небось, в порыве своём и выпалила.

А тут ещё – возраст мой. Молодость. И стихи. И чуб мой, отчасти кудрявый, золотистый, светлый. И прочее.

Выпитое хозяйкой вино, в немалом количестве, в течение дня, и вечера, и чтения, например.

Не больно-то было приятно мне подобные излияния, даже искренние, не спорю, но чрезмерно бурные, слышать.

Я поглядывал вкось на Битова – что за чушь, мол, что за дела?

Но в ответ он лишь пожимал, театрально этак, плечами, да руками всё разводил, широко, с каждым разом шире, – что же делать, мол? Знай, терпи. Принимай всё, как есть. Смирись. Видишь – любит народ поэзию. И поэтов. Особенно – дамы.

Приходилось – и вправду терпеть.

И вино мне – в подобных случаях – пусть на время, да помогало.

Только некий осадок всё-таки, горьковатый, – от вечеров, сходных с этим, с полубогемной, полупьяной, восторженной публикой, вроде ряженых, закружившейся в карнавальном, и впрямь повальном, не иначе, водовороте, – всё равно в душе оставался.

Битов легко, мне казалось, – и, пожалуй, так всё и было на деле – в шестидесятых годах сходился с людьми.

С московскими, подчеркну. Как с питерскими – не знаю. Но, думаю, без особых затруднений, тоже – легко.

И довольно легко, похоже, находил с ними общий язык.

Но везде и всегда, в любом состоянии, и в любой ситуации, и с любыми собеседниками, собутыльниками, соратниками, приятелями, друзьями, – был сам по себе.

Некоторую дистанцию, между собою – и прочими, кем бы ни были эти прочие, до общенья всегда охочие, а до выпивки так тем более, – умел выдерживать он

Словно черту незримую в воздухе проводил.

Или стену, прозрачную, вроде бы, невидимую, надёжную, прочную, непроницаемую, меж собой – и другими, запросто, и – привычно, уже – умеючи, как-то разом, вдруг, воздвигал.

И – всё. Закрыт. Защищён.

Там, извне, вблизи, вдалеке, в стороне, – какая-то публика.

Здесь, внутри, за чертой, за стеной, за гранью незримой, – Битов.

Со своими заботами. Многими.

Со своими устоями. Строгими.

Со своими, коль надо, трудами.

Так продолжалось – годами.

Об известности громкой своей, о широкой своей популярности – в Москве, у богемной братии, где возможным было признание, где формировалось общее, немаловажное, мнение, где складывался, с годами, исподволь, постепенно, всё более укрепляясь и тяготея к легенде, приемлемый всеми образ, – Битов очень заботился.

Он охотно читал желающим услышать его – свою прозу.

Причём, там читал, где и важно, и нужно было, для дела, с прагматизмом немецким, отчасти, почему бы и нет, почитать.

Это – всегда срабатывало. Безотказно. Его положение, с каждым действом таким, укреплялось.

Это – исправно работало. На образ, прежде всего.

В самом деле, смотрите-ка, он, вроде бы и печатающийся, вроде бы официальный, так уж вышло сразу, прозаик, – оказывался на поверку

вовсе не преуспевшим, не таким уж, везде и всюду, где пожелает, печатающимся, вовсе и не таким, вот ведь как оно повернулось и открылось, официальным, как некоторым казалось.

Выяснялось, тут же, на публике, ну а проще – среди своих, что у него, публикующегося автора, вы представьте только, в столе имеется внушительное количество серьёзнейших сочинений, доселе неопубликованных, и даже таких, которые, по вполне понятным причинам, вряд ли могут быть напечатаны в ближайшее время, и даже, по причинам слишком весомым, вряд ли будут в нашей стране изданы вообще.

Упоминались – таинственные «Записки из-за угла».

Постоянно, в разных домах, говорилось – о том, что он усиленно, напряжённо работает над романом.

Особенным. Небывалым.

Произносилось название, шёпотом, – «Пушкинский дом».

Потом, в свой новый приезд, Андрей привозил, бывало, в Москву главу из романа.

Оповещал знакомых: намерен, мол, почитать.

Устраивалось немедленно чтение. Для своих. В узком кругу, понятно. Без особого афиширования.

Например, на Садово-Каретной, у той же Алёны Басиловой.

Собирались вечером – избранные.

Романиста – внимательно слушали.

Читал Андрей – замечательно.

Потом – похвалы, восторги.

Общие. Обязательные.

И догадки вдруг – о подтексте.

О концепции. О структуре.

О приёмах. О метафизике.

О втором или третьем плане.

О героях. И о сюжете.

И – гадания: что же – дальше?

И так вот – глава за главой – выслушал я когда-то почти весь его новый роман, знаменитый «Пушкинский дом».

Такие, на людях, чтения – реклама очень хорошая.

Такие, вовремя, чтения – мостики своеобразные, протянутые ко всем – тогдашним, давнишним, – нам, к богеме, не издающейся, не имеющей отношения никакого к официальщине, полуподпольной, сытой по горло запретами, братии, – мостики, по которым, при некотором желании, вполне можно было к нам, в наш вольный стан, перейти, – и тем самым стиралась грань очевидная, и тем самым устанавливалось, как будто бы, даже некое равенство, или же подобие такового, – мол, все мы одна команда, если быть объективным, ребята.

В наведении регулярном таких вот мостов Андрей большим был специалистом.

К тому же, часто читая свою прозу, он – приучал к себе московскую публику.

Везде к нему – привыкали.

И все – привыкли, в итоге.

И у Алёны Басиловой все считали его – своим.

И у Сапгира его уже считали – своим.

И в доме у Великановых считали – своим. И так далее.

Молодец, Андрей! – ничего по-другому о нём не скажешь.

Ведь был он, вот что существенно, к тому же по-настоящему, и всем это было ясно тогда, ещё и талантлив.

Он учился в шестидесятых – на высших сценарных курсах.
Было модно тогда и престижно – учиться на этих курсах.
Приезжали в Москву – из провинции.
По два года жили – в Москве.
Получали исправно стипендию.
Получали – на время – жильё.
Жили здесь – в своё удовольствие.
Фильмы лучшие все смотрели.
С кем хотели, с тем и общались.
К тайнам творческим приобщались.

Ощущали себя уж ежели не избранниками судьбы, то, по крайней мере, удачниками – пусть, согласны, и ненадолго, – но мало ли что, в любой момент, и, тем более, в будущем, при условии нужных связей, может произойти.

Потом, что правда, то правда, отучившись, набравшись опыта и умения, надо было что-то этакое, особенное, современное, своевременное, интересное, написать.

Сценарий. Оригинальный.
С новизною авторской. Свой.
И – пристроить его, желательно.
(Это было бы замечательно!)
Только это – не к спеху, не сразу.
Это – позже, это – потом.
А пока что – сплошное общение.
И – гульба. И – знакомства. Полезные.
А пока что – свободная жизнь.
Жизнь – азартная, жизнь – богемная.
И не где-нибудь – там, в провинции.
Здесь, в столице. Именно здесь.

На высших сценарных курсах учился, весьма старательно, украинский поэт Иван Драч, основатель будущий «Руха», идеолог, древнего духа почитатель, борец со стажем, широко известный политик, депутат, государственный деятель, а тогда сидевший, по слухам, сиднем, в общежитейской комнате, в окружении москалей, инородцев и всяких прочих, без особых примет, субъектов, с чемоданом своих, авангардных, но с традициями народными, что должны были стать свободными от российских оков, стихов.

Здесь учился отменно хороший армянский писатель Грант Матевосян, печальный, задумчивый, неразговорчивый, весь в своём находящийся мире, там, в горах, вдали от Москвы, тихим творчеством ввысь ведомый от соблазнов земных, человек.

Здесь училась, тогда же, Роза Хуснутдинова. Где ты, проза? Вся – поэзия, тайна, грёза, возникала она – вдали.

Появлялась – и струны пели, и луна в ледяной купели отражалась, и к дальней цели всех капризы её вели.

Стройная, нежная, бледная, восточная странная женщина, такая – одна-единственная, пленительная, таинственная, ходила она в диковинных нарядах, с обритой наголо, завёрнутой в лёгкие, мягкие, воздушные, образующие то ли подобие некое тюрбана, то ли какой-то сказочный, не иначе, убор головной Шемаханской царицы, своей точёной, сидящей на лебединой, гибкой и длинной, шее, благоуханной, туманной, высоко – средь богемы – поднятой, лёгкой, птичьей, змеиной головкой, держа на весу лицо напудренное, с губами коралловыми, с очами бездонными, тёмными, томными, искоса, исподволь, нехотя горящими жарким огнём.

Про неё тогда говорили, почему-то – всегда вполголоса, или даже – чуть слышно, шёпотом:

– Роза очень, очень талантлива!

Но никто из её писаний ничего никогда не читал.

Были – слухи об этом. Домыслы.

Про талантливость – верили на слово.

Дева-Роза была – загадкой.

Дива-Роза была – звездой.

Здесь, на высших сценарных курсах.

Здесь учился – Резо Габриадзе.

Вспоминаю, как в ЦДЛ, в шумном, дымном кафе, заполненном разномастными посетителями, в самом дальнем углу, за столиком, до предела забитым бутылками, он сидел в одиночестве, пьяный, уронив тяжёлую голову на свои скрещённые руки.

Мы с Андреем к нему подошли.

Поздоровались. Нет ответа!

Мы зовём его. Понапрасну!

Что стряслось? Никого не слышит, ничего не видит Резо.

Битов тронул его за плечо.

Резо Габриадзе очнулся, медленно поднял на нас опухшее, словно обвисшее вниз, неестественное бледное, отрешённое от всего, что творилось вокруг, в кафе, в этом шуме, и гаме, и дыме, вдохновенное – внутренней, видимо, никому не заметной, работой, существующее отдельно от людей, большое лицо, посмотрел на меня и на Битова очень светлыми, утомлёнными, с бесконечной тоской по родной Имеретии, чуть мигающими, ну а может быть, и мерцающими, немотою своей говорящими больше, чем любыми словами, по-младенчески робкими, кроткими и по-старчески проницательными, с умудрённой слезою, глазами, – и сказал – словно выдохнул вдруг:

– Я был в России. Грачи кричали. Грачи кричали. Зачем? Зачем?..

И – вновь уронил свою голову вниз, на скрещённые руки.

Слова его были вроде бы знакомы мне. Из Бальмонта?

Сам он был в столице – залётной, по гнезду тоскующей птицей.

Вскоре стал Резо – знаменит.

Это были – сценарные курсы.

(Это вам не из Гоголя – бурса,

Бульба с люлькой, панночка, Вий.)

Курсы – высшие. С перспективой.

И солидной – в кармане – ксивой.

Путь в кино – как бильярдный кий.

Прям и точен: удар по шару.
В лузу! Что же, подбавим жару.
Путь в кино – счастливый билет.
Кто-то вытянул – вот удача!
Только так – и никак иначе.
Впереди – череда побед.

Здесь училась – Инга Петкевич.
Ничего не знаю – писала ли что-нибудь она – для кино.
Здесь учился – Андрей Битов.
Он сценарии – написал. И по ним – поставили фильмы.
Сонмы звёзд и комет хвостатых.
След невольный – в людской молве.
Это было – в шестидесятых.
Посреди Союза. В Москве.

Помню, как-то я Инге с Андреем прочитал – наизусть, конечно, – у Алёны Басиловой, вечером, в час, когда уже выпито было всё, до капли последней, спиртное, и народ по домам расходился восвояси отсюда, лишь мы оставались, и всё говорили о высоком, и кофе пили, и, за тихой беседой, курили, и волокна дымные плыли к потолку, – стихи Кублановского.

Ранние. И, по-моему, симпатичные. Со своим, юношеским, с наивной, надтреснутой ноткою, голосом, и со своим, какое уж было тогда, лицом.

Неизданные доселе. Старательно позабытые Кубом, в угоду поздним, трезвым его писаниям.

Реакция Битова с Ингой оказалась быстрой и жёсткой.

Оба сразу же заявили, не сговариваясь:

– Нет, не то!..

И тогда я Инге с Андреем прочитал – наизусть, естественно, по привычке своей давнишней (и теперешней, признаюсь, только реже это с годами, что ж поделать, со мной бывает, хоть привычка сама жива, сохранилась), – под настроение, в тишине, которая вдруг воцарилась в Алёниной комнате, напряжённой какой-то, праздничной, вдохновенной, – стихи Губанова.

Реакция Битова с Ингой была мгновенной, восторженной.

Оба тут же воскликнули:

– Здорово!

Пояснив:

– А вот это – то!..

Почему-то заволновались:

– Лёня! Лёнечка! Молодец!

Обратились – вдвоём – к Алёне:

– Он когда придёт, наконец?

– Он в запое, – сказала Алёна. – Протрезвеет – и сам придёт. Отовсюду, где пьёт с друзьями, он дорогу сюда найдёт.

Покачал головою Битов:

– Повидаться хочу я с ним.

Рыжей гривой тряхнула Инга:

– Он судьбою своей храним.

И достал из сумки бутылку, им припрятанную, Андрей:
– За Губанова, за поэта, надо выпить – и поскорей!
Вот и выпили мы за Лёню.
Ветерок залетел в окно.
Стало грустно тогда Алёне.
Горьковатым было вино.
Попрощались мы с нею. Встали.
Вышли в мир, чей был чуток сон.
В ночь, где люди чего-то ждали.
В речь, живущую вне времён…

Однажды в чьей-то квартире мы, как всегда, выпивали.

Я, как и всегда, по традиции тогдашней, читал стихи.

Андрей, запомнив их с голоса, повторял то и дело запавшие в душу ему, глубоко и надолго, видимо, строки:

– Но раскроется роза, и в ней – золотая пчела удивления.

Он ходил, вдоль стола, вдоль стен, – и эти слова твердил.

Стихи были – новые. Много тогда я работал. Не только ведь с Битовым выпивал. Вырастала – новая книга.

Почему-то спросил я Битова:

– Андрей, а сколько ты, в общей сложности, начиная с самых первых вещей, по объёму, прозы своей написал?

Битов остановился. Поправил очки. Хлебнул из фужера. Немного подумал.

Покосился на книжный шкаф, где на полках, в полной сохранности, аккуратнейшими рядами, стояли, одно за другим, собрания сочинений самых разных писателей.

Сказал:

– Ну, если прикинуть, как у этих вот, классиков, – тут он показал на книги в шкафу, – то я тома три написал.

Но взгляд его, устремлённый на собрания сочинений, чужие, был – это бросилось в глаза мне в ту же секунду, – красноречиво-ревнив.

Наверное, и ему хотелось, конечно, хотелось, даже очень хотелось, и это понятно ведь, написать – со временем, разумеется – своё, вот именно, собственное, из внушительного числа солидных томов состоящее, собрание сочинений.

Похвальное, в общем-то, правильное желание, для писателя.

Дай-то Бог ему сил для этого.

И упорства. И воли. И времени.

Так рассудил я тогда.

Не припомню, чтоб где-нибудь там, где всегда читали стихи или прозу, где пили чай или кофе, а то и покрепче, позабористее, напитки, вроде водки или вина, в основном, где курили – все, говорили, галдели – все, обсуждали – решительно всё, что годится для обсуждений, рассуждали порой – о высоком, били – чашки, морды, стаканы, жили – странными новостями и делами среды богемной, пели – часто, с душой, под гитару, знали – всё, обо всех, обо всём, что на белом свете творится, ночью, днём ли, здесь или там, были рады поздним гостям, похмелялись, друзьям звонили и знакомым, куда-то плыли по течению или вспять, чтобы жизнь по новой начать, – слышал я Ингу Петкевич.

Её взрослая проза, неизданная, о которой все говорили, что она интересна, талантлива, необычна, свежа, – оставалась, год за годом, довольно долго, для меня полнейшей загадкой.

Но детскую книжку её читал я – и книжка эта мне очень, помню, понравилась.

Инга была ещё и актрисой. Уж точно – яркой.
Недаром снималась в кино.
Пусть в эпизодах. Изредка.
Пусть даже – в массовках. Неважно.
Важно – что в жизни была восхитительно артистична.
Важно – что образ её вспыхивал в шестидесятых – рыжим огнём – на снегу, пламенем жарким – в дождях.

Инга была – особенная.
Инга была – солнечная.
Белая. Рыжая. Жаркая.
Смех её – ржание – жарким был.
Но была в ней порою – прохлада.
И – таимая ранее грусть.
Петербургская дама. Привада.
Европеянка. Леди Годива.
Словно лёгкая мгла – над Невою.
Словно рыжая прядь – на снегу.

Любопытная пара была – петербургские гости в Москве – иностранцы почти, люди светские и богемные – Инга с Андреем.

Инга Андрея – не дополняла.
Инга Андрея – лишь укрупняла.
Отдаляла порой – от себя.
Отделяла его – любя.
И тем самым – вновь укрепляла.
Над обыденным всем – возвышала.
Инга была – сама по себе. Вольная птица. Львица.
В храме ночей, в драме речей – пленница. И – жрица.
Мерцающий жар зрачка.
Припухшие губы: роза.
Плечо. Изгиб локотка.
И разве всё это – проза?
Волос – в огне – завитки.
В руке – сигаретка. Чары?
Пожалуй. И в них – силки.
Для певчего – свыше – дара.

Квартира занятная – в Питере, на Невском. Вблизи – Московский вокзал. Квартира – шарада. Но, может быть, так и надо? И в этом-то – вся отрада? И нет в ней – лишних примет?

Две комнаты. Нет здесь – быта. Раздоры и страсти – скрыты. Подобье гнезда – не свито. Есть – кофе. А хлеба – нет.

Есть – стены, почти пустые. Обои. Две-три картинки. Ворошилов – подаренный мною. Кулаков – подарок от автора – загогулины всякие, вроде иероглифов, с вывертом, – Битову.

Есть – высокие, вроде бы, – окна.
Есть – высокие, вроде бы, – двери.
Потолок – похоже, высокий.
Пол – как двор: просторный, пустой.
Две-три пары туфель в углу.
Три-четыре чашки. Тарелка.
Блюдце. Пепельница. Кофемолка.
Стопки книг – их не сразу заметишь.
Рюмки. Ложки. Две-три бутылки.
Сигареты. Часы. Очки.

Есть – письменный стол-корабль.
Огромный. Фрегат на рейде.
За столом – руки вытянув – Битов.
Над столом, за спиной Андрея, на стене, над его головой, – фотография: человек, пожилой, а в руке – сачок, – ловит бабочек? – что за блажь? – взгляд – лукавый, умный, – в упор, и – насквозь, и – навек! – Набоков.

...Петербургские сумерки. Вечер.
Стол-фрегат. И на нём – капитан.
Петербургский писатель. Битов.
И над ним – в небесах – Набоков.
И за ним – за домами – Нева.
За Невою – залив. И – море.
Незабвенные времена.
Колыханье шестидесятых.
Полыханье Ингиной гривы.
Битов. Проза его. Глаза.
Стол-фрегат. Перед ним – стихия.
Петербургская ночь. И – речь.
Значит, стоили встречи – свеч?
Ночь. Набоков. Очки. Сачок.
Две слезинки – в ночи – со щёк.
Две ли? Больше ли? Так, две-три.
Не заметили? Что ж, сотри.
Что же стало, Андрей, судьбой?
Будь – собою. И – Бог с тобой!..

Как-то исподволь, незаметно, я привык и к тому, что есть он, что присутствует в мире он, и к тому, что пишет он прозу, говорит – всегда интересно, колоритен, оригинален, обаятелен, пьян порой или чуть во хмелю – с друзьями, но в делах – прагматичен, трезв, – и во всём, что делает он, есть, похоже, неповторимость, Божья искра – с людскою волей, что-то свыше – и слишком земное, почва твёрдая под ногами, над которой – воздуха знак.

Битов – Огненный Бык. Особенный. Он родился – в тридцать седьмом, под созвездием Близнецов, двадцать седьмого мая.

В этот день, в шестьдесят втором, в Кривом Роге, я написал:

– Тучи ушли на запад, бок земле холодя, – только остался запах спелых капель дождя.

Мне было – шестнадцать лет. Писал я тогда, стихи и прозу свою, – запоем.

В этот день, в восемьдесят третьем, умерла моя любимая бабушка, баба Поля, мамина мама, Пелагея Васильевна Железнова, урождённая Кутузова.

Бабушка моя, с её чутьём и огромным ведическим опытом, поняла Андрея – мгновенно, и потом, позднее, порой очень верно всегда мне о нём говорила.

В этот же день, и тоже в тридцать седьмом, родился мой криворожский друг Рудик Кан.

В этот день, в шестьдесят пятом, перед моим отъездом на Тамань, в Москве, Артур Владимирович Фонвизин, слушая, как я читаю стихи, написал мой портрет.

В этот день, давным-давно, в самом начале шестидесятых, по-настоящему, навсегда, ощутил я себя – поэтом.

Вот какой это день, когда появился на свет Андрей. Вот какой это день. Майский. Под созвездием Близнецов.

Чумаки – в Крым, за солью, – веками ездили на волах. В образе быка громовержец Зевс на спине могучей своей нёс по волнам Европу. Быки – всегда были рядом с людьми.

Битова – отовсюду – всегда вывозил на себе – огненный Бык. Огненный. Тотем его. Фирменный знак.

Такой же тотем, как у Битова, и такой же знак зодиака был – почему-то вспомнилось это – и у Волошина.

Совпадений и параллелей – вдосталь. Все – далеко не случайны.

Что за мистика? – скажут. Наша. Наши судьбы и наши тайны.

Битов. Огненный Бык.

Было ли в нём – демоническое нечто? Не было вовсе.

Это – совсем другие категории. Не для того, кто слишком привязан к земле.

Но было в нём – некое постоянное попадание в десятку, неизвестно каким способом, было – как в картах – вечное везение, неизменное двадцать одно, – было в нём – как бы это сказать поточнее? – что-то такое, сфокусированное на нём, откуда-то, – но откуда? – остаётся только гадать, – будто постоянно был он в направленном на него, световом, хоть и неярком, не бросающемся в глаза, не ослепительном, не магнетически властном, наоборот, неброском, однако – не гаснущем, не исчезающем, наоборот – устойчивом, чётком луче – непонятно из какого фонаря, – будто где-то там, и поди гадай – где, неизвестно какие существа – поставили на него, и наблюдают за ним, и помогают ему постоянно, и заботятся о том, чтобы он всё время был в выигрыше, был удачлив, был – на виду, был – в какой-то мере эталоном современного человека, писателя, мужика, с машиной, квартирой, дачей, изданиями, известностью отечественной и заграничной, со своим – отработанным, надо заметить, и не в смысле создания образа, но – проще, определённее, отработанным – как на работе, в институте ли, на производстве ли, всё равно, усердно, по-честному, с бесконечным старанием, имиджем, как сейчас говорят, со своим, привычно солирующим, но никак уж не в хоре, голосом, со своим, давно путешествующим, бодро движущимся в пространстве, в жёстких рамках – ему отведённого, на игру его всю, по крупной, на его пребывание в мире,

или – существование в яви, без участия прави в нём, без возможного, в будущем, выхода – в измерения новые и в другие миры – дорогого земного времени.

Дорогого. Ведь в нём – успех. Что же! Этимология этого слова – предельно ясна. От другого слова – успеть. Актуально это, не правда ли? Современно, и даже – модно: здесь, в юдоли, – взять да успеть.

Всё – успеть. Получить – при жизни. Всё, что можно. И даже – больше. Непременно – успеть. А потом? Ах, да мало ли что – потом! Важно всё получить – сейчас. Поскорее. Сию секунду.

Можно – петь. А можно – успеть. Можно – пить. Но только – не спать. Только – в путь. Успевать. Повсюду. Что-то – можно стерпеть. Но – успеть. И – своё наверстать. И – встать. Меж других. Современным героем.

Надо всем, что мешало, – встать.
Всё – успеть. И – своё сказать.
Слово? Именно слово. Как?
Здесь поможет – воздуха знак.
Так сказать, чтоб – не в плач, не в крик.
Здесь поможет – Огненный Бык.
Помогают. Успеть – скорей.
Не горюй о былом, Андрей!
Что за силы? Откуда – весть?
Света – мало. Темноты – есть.
Что за вера? – Во что? В кого?
Чьё же – всё-таки – торжество?
Чья же – всё-таки – здесь игра?
Чьё-то *завтра* – его *вчера*.
Чьи же – всё-таки – свечи здесь?
Завтра – поздно уж. Нынче. Днесь.
Так, в пределах земных, – вперёд.
Что-то оторопь вдруг берёт.
Но задерживаться – нельзя.
Где-то в мире – его стезя.
Или, может быть, – вздох о ней?
Где-то на людях – в пену дней.
Как в волну – головой. Нырок.
И – наверх. В суету дорог.
В темноту – как на свет. Не вдруг.
Воздух – знак. На земле же – круг.
В круге дороги – век и миг.
В путь – по кругу. Огненный Бык.

Был ли способен он, иногда, хотя бы, а может быть, и довольно часто, поскольку жизнь сама призывала к этому, и не раз, и не два, но многажды, на поступки? Да, разумеется.

Способен ли был – на подвиги? Вряд ли. Ведь здесь нужны – самоотверженность, жертвенность, нешуточное горение.

Андрей был всё-таки слишком уж замкнут на всём, что было в нём собственным, личным, удельным, родным, на себе самом, чтобы, во имя подвига, творческого, допустим, пожертвовать вдруг земным своим временем – и движением своим, путешествием, долгим,

непрерывным, своим – на север, на юг, на восток и на запад – в пределах земного круга.

Был ли он мне настоящим, добрым, хорошим другом – хотя бы в шестидесятых? Думаю – всё-таки был.

Потом, позднее, с годами, – было уже не то. Просто – я это видел, – срабатывала инерция.

Но какое-то неизменное, долговечное изумление в душе его – по отношению ко мне, и к моим стихам, и ко всем остальным трудам, ко всему, что со мною связано, – полагаю, доселе осталось.

Да, осталось. Что живо, то живо.

Был ли он способен, хоть изредка, хоть единственный раз, на предательство?

Не хочу говорить об этом.

Если что и было когда-нибудь – то с него, как известно, и спросится.

Бог ему – да и всем нам – судья.

Битов – не пешеход. Он – автомобилист.

Вереницей, из года в год, чередою долгой прошли, появляясь во всей красе, чтоб исчезнуть потом вдали, в лабиринтах былых дорог, им сменяемые машины.

Он – давно уже за рулём. Словно сросся с автомобилем.

Современный кентавр? Не знаю. Кентавр – существо загадочное. Попробуй-ка разберись – кто он, собственно, был ли он?

В случае с Битовым – всё неизмеримо проще.

Он – человек в седле. Мягком. Автомобильном.

Для него машина, любая, – просто-напросто необходимость.

И сейчас впечатляет это. А по старым-то временам – впечатляло куда сильнее!

Марку Андрей держал – во всём. В том числе и с машинами.

Тем не менее, были они для него, человека в седле, прежде всего, удобным средством передвижения.

Однажды приехал в Москву он – из Грузии – на машине. Без ветрового стекла.

Разбил. Заменять было – некогда. Торопился писатель в столицу.

Да ещё и понравилось вдруг – ехать к северу именно так.

Ветер в лицо. Романтика? Может быть. Ну и что?

Гаишники – останавливали. Удивлялись: что за причуда?

Но что они, эти гаишники бестолковые, понимали, если – ветер хлестал в лицо, если прямо в глаза – пространство!

Было холодно, даже очень. Заболеть мог любой. Но – не Битов.

Битов холода – не замечал. Не хотел замечать – и всё тут.

Характер. Упрямство. Пристрастие – к дорогам. Воля. Желание – на колёсах, без чьей-либо помощи, пусть и в холоде, но – добраться – самому, как всегда, – до Москвы.

И – доехал благополучно. Ничего с ним в пути не стряслось.

Битов был – всегда при деньгах.

Даже в молодости. Неизменно.

Почему-то – умел зарабатывать.

Хорошо, что – умел.

Битов был – всегда на коне.

С самых первых шагов своих.

С самых первых своих публикаций.
С первой книги. И с первой рецензии. Вот на эту – первую – книгу.
Никогда он коня – не менял. Даже на переправе.
Через реку? Это – не Лета.
Через озеро? Это – не море.
Через море? Это – не бездна, из которой выхода нет.
Выход – был. Всегда находился. Из любых – везде – состояний. Сквозь любые – всюду – преграды.
Переправиться. Преодолеть.
Пережить – и добраться. Успеть.
На ходу. На коне. В седле.
По земле. По земле. По земле.
Иногда – над землёй. И – назад.
Чёткий принцип и трезвый взгляд.
На людей. На вещи – в труде.
Быть – так здесь. Никогда – нигде.
Не витать в облаках. Есть – путь.
Видеть смысл в этом. Или – суть?
Не всегда. Что пером скрипеть?
Есть – машинка. Издать. Успеть.
Есть – машина. Дорога – есть.
Сесть в седло – и... Куда? – Бог весть!

Однажды, в шестидесятых, услышав мои переводы с грузинского и расчувствовавшись до слёз нежданных, Андрей решил попытаться их напечатать, а если получится, то, может быть, и стихи мои напечатать, хотя бы подборку, для начала, пусть небольшую, но и то хорошо, в моём-то положении, – и повёл меня, человека не издаваемого во пределах родных, в редакцию журнала «Дружба народов».

А вернее – повёз. И – с комфортом. На машине. Своей, разумеется.

Был он автором в этом журнале.

Все его там прекрасно знали.

Все – любили. А как же – иначе?

Это – Битов, это – Андрей.

И его – нельзя не любить.

Вот мы с ним и поехали. Вместе. Не на выпивку. По делам.

За рулём он сидел уверенно и, по-своему, театрально, словно лётчик-ас за штурвалом быстрокрылого самолёта.

Очень шло ему это, всё-таки, – не ходить, как другие люди, по делам, или просто так, – но именно ездить. В машине. Просто так. Потому что – нравится. И особенно – по делам.

Битов был – на коне. В седле.

На мягком сиденье своём восседал он свободно, привычно откинувшись на скрипучую, при торможенье пружинящую, и такую удобную, что воспевать её можно, спинку.

С места срывался резко – и машина его, вливаясь в потоки шумные транспортные, вырываясь из них, обосабливаясь, летела, скользила, сквозила, стремилась, вперёд и вперёд, по вздымавшей свои этажи к небесам то слева, то справа, расстилавшей асфальт под колёсами, чтоб удобнее было ехать вдаль куда-то, к желанной цели, беспокойной, бескрайней Москве.

Добрались до редакции. Вышли на скрипучий, утоптанный снег. Захлопнули дверцы. Шагнули, один за другим, за порог.

Внутри было тесно, тепло.

За столами, плотно заваленными громоздящимися, наподобие восточных ступенчатых пагод, бумагами в папках с тесёмками и грудами всяких книг, сидели какие-то люди.

Оказалось, что сплошь – это надо же, что за чудо журнальное, – дамы.

Завидев Битова, все они оживились, заулыбались.

Закричали:

– Андрей! Андрей! К нам пожаловал сам Битов!

И волнение их охватило – да такое, что растеряешься, с непривычки, – ведь как ликуют! Словно праздника дождались.

Дамы с мест уже поднимались – и рвались навстречу Андрею.

Дамы пели что-то по-птичьи, щебетали, охали, ахали.

Дамы – рады были Андрею.

Битов – здесь!

Какая работа?

Подождёт работа.

– Андрей!

– Как мы рады!

– Здравствуйте, здравствуйте!

– Вот сюрприз так сюрприз!

– Андрей!

– Вы надолго к нам?

– Вы откуда?

– Вы куда?

– Вы к нам?

– Наконец-то!

– Дождались!

– Мы рады!

– Андрей!

Дамы – рады. И Битов – рад.

Мне – пути уже нет назад.

Мне – стоять и молчать. И – ждать.

Что же – дальше? Да что гадать!

Андрей, сняв очки, протирая запотевшие стёкла платком, огорошил восторженных дам заявлением громким своим:

– Я привёл к вам сегодня поэта гениального. Да, это правда. Вот, знакомьтесь, Володя Алейников. Перед вами, сейчас. Он – гений.

Дамы – все до единой, услышав это – сразу оторопели.

Я смутился. Взглянул на Битова.

И сказал:

– Ну зачем же – так?

– Ничего! – дружелюбным тоном успокоил меня Андрей. – Говорю всё как есть. Как думаю. А народ – пускай привыкает.

И народ – все дамы, сражённые наповал словами Андрея обо мне и моей гениальности несомненной, – с трудом привыкал.

И к тому, что я молод совсем.

И к тому, что явно стесняюсь.

И к тому, что Андрей говорил обо мне, безусловно, всерьёз.

Нас обоих, поэта с писателем, двух друзей, пригласили присесть.

На расшатанном стуле, сжимая свою старую зимнюю шапку с опущенными ушами, в помещении тёплом снятую, расстегнув пальто, размотав шарф на шее, руки сложив на коленях, глядя смущённо вдаль куда-то, поверх голов, я сидел под взглядами, быстрыми, перекрёстными,

любопытными, дам притихших редакционных, элегантных и моложавых, неуютно себя ощущая и не зная, куда мне деваться.

Битов, глядя на дам ласково, но и строго, из-под очков, с профессорской ноткою в мягком, низком, с баритональным бархатом властным, раскатистом голосе, невозмутимо, уверенно, продолжал говорить обо мне:

– Володя – следует помнить всем – основатель СМОГа.

Дамы переглянулись мигом. И – напряглись.

Битов сурово спросил их:

– Знаете вы – о СМОГе?

– Как же, как же! Конечно, знаем! – быстро ответили дамы.

И вновь меж собою, с этаким значением, переглянулись.

Эх, грустно подумал я, вот он, преткновения камень! Теперь-то всё уж точно, точнее некуда, не впервой ведь это, пропало.

Говорил же я, специально, по дороге сюда, в редакцию, говорил, и серьёзно, Андрею, чтоб запомнил: ни слова о СМОГе!

Так нет же, ну как нарочно, с этого он и начал.

Будто не знает, чего стоил мне этот СМОГ – и как это всё обернулось жестоко потом для меня.

И ещё неизвестно совсем, сколько лет, может, всю мою жизнь, потому что бывает всякое, предстоит мне всё это расхлёбывать.

Да чего уж теперь! Слово – сказано. А оно, как известно каждому, и особенно в нашей стране замечательной, не воробей.

К тому же и это, приставшее ко мне, величание – гением.

Ну разве нельзя без этого хоть когда-нибудь обойтись?

Приклеилась, как ярлык, и не отдерёшь, и не пробуй, ко мне, задолго до СМОГа, эта самая гениальность.

Можно ведь было представить меня сейчас поскромнее.

Люди – сплошь незнакомые.

Кто я такой – для них?

Так, молодой человек.

С Андреем сюда пришёл.

Может так быть? Может.

Мало ли что он взахлёб им обо мне рассказывает!

Люди они – казённые, подневольные, государственные.

В советском печатном органе, под надзором властей, работают.

Редакционные люди.

Люди – официальные.

А тут, ни с того ни с сего, – СМОГ! Да ещё и – гений!..

Андрей, между тем, указывая на меня простёртой ладонью, продолжал говорить внимающим любимцу-писателю дамам:

– Володя Алейников – знать об этом следует вам – знаменитый молодой поэт. Вы читали его стихи?

– Нет, не читали! – взоры потупив, ответили дамы.

– А я вот, представьте, – читал! – сказал им с укором Андрей. – И продолжаю читать. И наизусть кое-что могу прочитать, при желании. Замечательные стихи!

– Верим, верим! – сказали дамы.

– Надо стихи Володины издавать, – сказал им Андрей. – Может быть, с этим в дальнейшем и возникнут какие-то сложности. Я вполне допускаю это. Но Володю – надо издать. Сейчас. И потом – издавать.

И я вижу, кажется, выход. Переводит Володя с грузинского. Замечательно переводит. Я слышал. Мне – очень понравилось. И ведь это – как раз для вашего журнала. Рекомендую вам – его переводы!

– Ах, так? – опять меж собою переглянулись дамы. – Ну, это другое дело. С этим у нас куда проще, нежели со стихами. А то, как сказать-то вам, знаете ли, – обратились они ко мне, то ли ансамблем слаженным, то ли наперебой, да это уже и неважно, ведь всех их воспринимал я, от смущения, от ощущения себя здесь – белой вороной, – всех заодно, вот этих редакционных дам, во множественном числе. – А то, ну как объяснить, понимаете ли, Володя, – СМОГ. Мы ведь в курсе дела. Не на луне живём. Кое о чём наслышаны. Стихи напечатать – сложно. А вот переводы ваши с грузинского – это можно попробовать напечатать.

– Вот и попробуйте! – твёрдо и призывно сказал им Андрей.

На стенах редакционного тесноватого помещения разглядел я, резко сощурившись, какие-то надписи, подписи.

То, что в столбик записано, – это, скорее всего, стихи, – догадался я, не пытаясь прочитать хоть одну строку.

А короткие надписи – видимо, афоризмы, остроты всякие.

Ну а подписи – вон их сколько там – их отсюда и не разглядишь.

Редакционные дамы увидели, что смотрю я, сидя на стуле расшатанном и щурясь, на стену, исписанную от пола до потолка почти, во всю ширину, так, что и места на ней свободного не остаётся.

– Володя! – журча и звеня приветливыми голосами, обратились они ко мне. – А вы нам прямо сейчас что-нибудь не напишете? Стихотворение. Или хотя бы четверостишие. У нас – такая традиция. Наши любимые авторы свои автографы нам оставляют, – вот здесь, на стене.

– Да вы ведь, поймите меня, ничего моего и не знаете! – совсем уж смутился я. И растерялся даже, немного. Потом спохватился и продолжил: – Так вот, нежданно, с места в карьер, спонтанно, я не привык. Вы меня врасплох застали. К тому же – я ведь не ваш ещё автор. Вы уж простите меня, но писать я сегодня не буду ничего. Если случай представится – то ещё напишу, потом.

– Ну, потом так потом. Понимаем! – дружелюбно сказали дамы.

Андрей с интересом писательским наблюдал, как я, деликатно, вроде бы, но и решительно, проявляя характер твёрдый, на ненужную мелочёвку не покупаясь, отказываюсь оставлять в редакции этой, по капризу дам, свой автограф.

– Да хоть что-нибудь напиши! – подзадорить меня он попробовал неуклюже. – Любые строчки. Хочешь, я подскажу тебе, что здесь можно сейчас написать?

– Нет, нет, Андрей! – отмахнулся я от него. – Спасибо. Не надо. Нельзя так вот, сразу же, лишь бы обнародовать что-то своё, хотя бы на этой стене, привлекать людское внимание любым, даже этим, поспешным и ненужным, в общем-то, способом.

– Ну, как хочешь! Дело твоё! – пожал плечами Андрей.

Дамы снова переглянулись.

– Вы, Володя, – сказали они, – приходите к нам. Со своими переводами. Кстати, они с собой у вас или нет?

Я ответил им просто:

– Нет.

– Вот и ладно! – сказали дамы. – Ничего. Это всё поправимо. Вот мы с вами договоримся – и придёте вы к нам с переводами, на машинке перепечатанными, как положено. Хорошо?

Я сказал:

– Хорошо, я приду.

– Переводы ваши внимательно мы посмотрим, – сказали дамы, – и обсудим потом их, и что-нибудь, посоветовавшись, решим.

– Смотрите и обсуждайте, советуйтесь и решайте. Обязательно! – сделал акцент на слове последнем Битов.

– Ну что же, Андрей, – сказал я, взглянув на него вначале, а потом и на дам-редакторш, – мы, вроде, договорились. Пойдём? Наверно, пора!

– Пойдём! – согласился Андрей.

Попрощались мы с милыми дамами.
– До свидания!
– До свидания!
– Заходите к нам!
– До свидания!
Белых ручек лёгкие взмахи.
Взгляды быстрые – и пытливые.
– До свидания!
– В добрый путь!
И – улыбки, почти Джокондины.
Холодок подведённых глаз.
Восклицания:
– В добрый час!
– До свидания!
– Ждём!
– Привет!
Потемнел ли впрямь – белый свет?
Или – рано темнеть ему?
Что за странности? Не пойму.
Иль неймётся Третьему Риму?
Снег нагрянул. За снегом – дым.
Город замер – и стал седым.
Время СМОГа?
Мы вышли – в зиму.

Андрей открыл дверцы машины.

Мы забрались вовнутрь.

– Ничего из этой затеи не выйдет! – с грустью, нахлынувшей внезапно, вымолвил я.

– Почему? – озадачился Битов.

– Потому. Потому что – СМОГ.

– Ну и что? – Андрей удивлённо посмотрел на меня. – Ничего я, получается, не понимаю.

– Зато я хорошо понимаю, – так ответил ему я тогда. – СМОГ, Андрей, это значит – запрет. СМОГ – это чуть ли не рок. Для меня – хороший урок. СМОГ – это значит, и нынче, и впредь – не пускать на порог. В редакции, например. И газетные, и журнальные. И, само собою, в издательства. Там ведь не идиоты законченные сидят. Всё они хорошо знают – и всё понимают. Директивы и распоряжения, сверху идущие

к ним, старательно выполняют. В том числе и о нашем СМОГе. Там напрямую сказано, по-советски: не издавать! Там, в циркулярах этих, я, между прочим, первым номером числюсь. Так-то. По алфавиту, естественно. Поскольку моя фамилия с буквы «А» начинается. Да ещё потому, что власти не желают меня печатать.

– Да? – протянул Андрей. – А я им начал – со СМОГа. Я ведь хотел – как лучше.

– Сказал бы ты им или вовсе ничего не сказал о СМОГе, – пояснил я устало Битову, – это не столь уж и важно. Всё равно они, эти дамы, сразу же сообразили бы, что я-то и есть тот самый Алейников. Тот, которого приказано – не печатать.

– Но всё-таки ты попробуй, – буркнул Андрей, – принеси им свои переводы. Вдруг да получится с публикацией?

– Принести-то я принесу, – сказал я, – да вот относительно публикации – сомневаюсь. И даже не сомневаюсь, а знаю, уже сейчас: ничего с ней, увы, не получится. Время такое – сложное – у меня. Свежи у властей наших воспоминания – о недавнем прошлом, смогистском, как его именуют, моём. Появляюсь я часто на людях или редко – везде я чувствую неприятное, странноватое, с подковыркой какой-то, внимание – ко мне, ко всему, что я делаю, что говорю, и так далее, и внимание это значит – непрерывное наблюдение. Плевал я на это, конечно. Да противно, поверь. И грустно. Терпеть приходится. Что же делать? И ждать, как всегда. Жить – и ждать. Да только – чего?

Битов, блеснув очками, закурил, взглянул на меня как-то искоса, сквозь белёсый дым табачный, и промолчал.

Шумно вздохнул. Завёл машину. Тронулся с места. Быстро довёз меня до дому.

Сильный, белый, обильный, слепящий, резко, наискось, густо летящий, с грустью, к радости предстоящей, снег округу заполонил.

Снег, скрывающий все обиды, все следы, от покрова Изиды к лёгким радугам светлой Ириды уносящий всё, что хранил.

Снег – белизна. Как с чистого листа – в несусветной темени.

Снег – пелена. Что ж, выстоим сызнова – в чистом времени.

Пелена, за которой, похоже, никакого просвета не видно.

Белизна, за которой всё же проясняется что-то скрытно.

Попрощались мы, как-то наскоро, без особых эмоций, с Андреем.

Почему-то – устали оба.

Говорить было, вроде бы, не о чем.

Всё и так уже было сказано.

Нитью вьющейся с чем-то связано.

С чем? Поди угадай. Попробуй.

Снег казался – белой чащобой.

Дымом. Скопищем зимних дум.

Битов был насуплен, угрюм.

Знать, на это была причина.

Зафырчала его машина.

Он уехал на ней – сквозь снег.

Словно тихий покинул брег.

Вдаль умчался. И – вглубь. И – ввысь.

Вихри снежные поднялись.

Белизна сомкнулась вокруг.

Снег – и СМОГ. Словно брат и друг.

СМОГ – и снег. Словно да и нет.
С чёрным вечером – белый свет.

Я остался один, в глубине тишины, посреди снегопада.
Постоял. Поглядел – куда?
В неизвестность, скорее всего.
И – пошёл домой восвояси.
Хлопнула дверь подъезда.
Лифта я ждать не стал.
По сырым, скользящим ступеням поднялся на четвёртый этаж.
Позвонил. Подождал. Мне открыли.
Я стряхнул с себя снег – и вошёл...

Переводы в «Дружбу народов» я принёс. Потом. С неохотой.
У меня их – взяли. Сказали, что посмотрят. Что надо звонить, узнавать... С публикацией этой ничего, конечно, не вышло.
Всё заглохло – само собой. Будто не было ничего.
Кроме зимнего дня – и снега.
Кроме снега – и слов о СМОГе.
Кроме снега – и зимнего сна.

5

И на свечу смотреть уже больней, чем некогда – на солнце; без оглядки бежать – куда? – с собой играя в прятки, уйти в пространство? – щурясь меж теней, живою плотью влагу раздвигая, душой живою ждать, перемогая тоску – итог невысказанных дней, но ждать – чего? – когда она, другая придёт пора? – я время постигаю, которое чем дальше, тем родней.

Читали тогда – при свечах.
Образ свечи то и дело загорался в наших стихах.
У меня:
– Наше время – свеча и полынь.
У Губанова:
– Но стоит, как свеча, над убитым лицом серый конь, серый конь моих глаз.

Свеча.
Над убитым лицом.

...Лёня Губанов стремительно, так, что его не догнать никогда, ни за что на свете, никому, никаким врагам, кто бы это ни был, менты, кагэбэшники или, может, все возможные силы зла, как бы нынче ни назывались, как бы ловко ни маскировались, но мгновенно распознавались, даже если им несть числа, весь – воплощенье движения, неудержимого, ввысь, весь – безоглядный, отчаянный, молниеносный порыв, а то и прорыв, куда-нибудь, в нежданное измерение, в зазеркалье, за грань реальности, в новый век, в параллельный мир, вбегает, но так, что, похоже, взлетает, а то и возносится, топоча по ступенькам лестничным, а порой проносясь над ними неким сгустком энергетическим, так, что искры в подъезде сыплются с плеч его или с крыльев, может быть,

и какие-то вспышки странные остаются надолго в воздухе на безумном или осознанном как спасенье от наваждения, от ненастья и отчуждения, ставшем отзвуком убеждения, сокровенном его пути, – скорее, как можно скорее, – ко мне, потому что жду я и снова его пойму я, – вверх, на четвёртый этаж.

Некогда ждать лифт. Незачем. Не до этого. Какой там лифт, если сам он так о себе сказал:

– Скучая, любим и ведом, в России, где морды биты, я должен твоим поэтам двенадцать копеек лифта!

Его несёт – а вернее, ведёт неясное что-то, трудновообразимое, видимо – невыразимое, но что же? Да кто его знает! Ведёт и ведёт. Ну и пусть!

Он врывается в дверь – с разгона. Или нет, конечно – с разлёта. Беззаконной кометой, что ли? Колобком из сказки? Ну вот! Сразу – сказка. Но как – без сказки? Несмотря на сплошные встряски, он действительно весь – оттуда. Это очень ему идёт.

Но кто же он? Это уж пусть гуртом – в грядущем – другие гадают.

Себя он оставил им – «на потом». Быть может, и распознают.

Вот он – стоит передо мной.
Гений. Смогист. Мальчик больной.
Парень дворовый. Почти хулиган.
Кореш богемный. Губаныч. Губан.
То ли подросток, то ли старик.
Что в нём за сущность? Плач? Или крик?
Что в нём за тайна? Что за печаль?
Сроду не скажет ведь! Как его жаль!..

Белое, словно гипсовое, мертвенное, застылое, свечой бессонной ночною сгоревшее и оплывшее, бездонное, отчуждённое, в безмолвную глубь ушедшее, пугающее, бескровное, отверженное лицо.

Маска? Нет, на лбу – поволока ледяного, давнего страха.

В серых усталых глазах – тусклый отсвет смятения.

Взмокшая чёлка взъерошена, ворот белой рубахи торопливо, рывком, расстёгнут, чтоб свободнее было дышать.

– Всё кончено, всё кончено. Стихи мои повенчаны. На пальцах черви кольчатые, над головой бубенчики. Сады опали яблоком, пропахли мысли порохом. И Муза – в платье ярком, и рифмы – звонким ворохом. Лежу седым преступником, кричу слепым наставникам: меня не арестуете и Музу не заставите петь! Не для вашей радости да не из вашей волости. Ну а пила для храбрости – чтобы не сгинуть в подлости.

Лёня предельно взвинчен. Дальше – просто уж некуда. Настолько, что может, кажется, взвиться пружиной ввысь.

Длинные пальцы его то судорожно сжимаются, то с усилием распрямляются, чтоб сжаться мгновенно вновь.

Губы упрямо сомкнуты, обиженно, как-то по-детски, очерчены, в уголках их видна застывшая кровь.

Ноздри буквально трепещут. Щёки небритые дёргаются в нервном, беспомощном тике. Спазматически ходит кадык.

Он шумно вдыхает в себя воздух, и лишь постепенно спадает со всей его небольшой, но крепкой фигуры чудовищное напряжение, сходит зыбкая тень отчаянного движения, оголтелой, безумной гонки.

Тогда он устало закуривает, смахивает ладонью нависшее вдруг невесомое колечко сизого дыма.

От кого он бежал? От чего?

Он отмалчивается. Ну и пусть.

Куда он бежал – знал. Ему спокойно со мной.

Мы сидим с ним в пустой квартире, в тишине, в наступивших как-то незаметно и быстро сумерках, совершенно одни – и молчим.

Потом говорим с ним зачем-то что-то совсем простое – о житье-бытье, о погоде, о понятном, вполне земном.

Губанов не сразу, конечно, а так, по чуть-чуть, понемногу, оживает. Ну, слава Богу! Существует – в яви своей.

Видит оставшийся в старом, тёмном, в потёках, подсвечнике оплывший, слегка изогнутый огарок жёлтой свечи.

Зажигает привычно спичку, подносит её к фитильку.

Долго, пристально, весь уйдя в свет мерцающий, смотрит на пламя.

– А на столе свеча горит, горит Душа моя, не тает, и Ангел с Богом говорит, и Бог над Ангелом рыдает.

За окнами – там, где страхи его донимали, – темнеет.

Губанов, совсем по-домашнему, негромко читает стихи.

– И Бог над Ангелом рыдает...

В начале семидесятых Губанову тяжело было жить, работать, просто – дышать, ощущать себя полноценным, востребованным, как ещё недавно и, казалось ему, так давно, человеком, ну а тем более – знаменитым в стране поэтом, нарасхват зазываемым ранее, днём и ночью, в любые компании, чтобы там он стихи читал и народ опять поражал, чтоб его на руках носили, обожали, ценили, чтили, подражали ему, желали познакомиться, подружиться, угощали вином, хвалили, по Москве на такси возили, всё, что он вытворял, прощали, без конца его выручали, вызволяли из всяких бед, потому что был он поэт, а не так, не хухры-мухры, словом, были к нему добры и внимательны все подряд, с кем он шёл сквозь рай свой и ад, с кем пудами ел вместе соль, пил, бузил, воспевал юдоль, уж такую, какой она, видно, свыше ему дана, – без своего, по его разумению, детища – СМОГа.

Ему, общительному, остро нуждающемуся в реакции окружающих на стихи, живущему – действием, соборностью, перекрыли все пути, по которым он мог двигаться, обрубили все нити, связывающие его с миром.

Может, и не все, поскольку так вот запросто, пусть даже исходит это от властей, эти нити все разом никак не обрубишь, и связь с миром прекращается лишь тогда, когда человек умирает, а Лёня, слава богу, был тогда ещё жив, и какие-то из нитей, которые не заметили, проглядели зоркие, бдительные, жестокие структуры, откуда исходили всевозможные запреты, оставались, были целы, ведь иначе и быть не могло, но так ему казалось, так – мнилось.

Впадая в отчаяние, в тоску, в свои сложные, крайне тяжёлые, состояния, периодически охватывавшие плотным кольцом его, мятущегося,

мечущегося по Москве, по знакомым домам, или же прячущегося непонятно где от всех и всего, переживающего свою боль наедине с собственной душой, а потом с большим трудом, буквально из кусков, подолгу, внутренне собираясь, он всеми силами стремился сохранить за собой положение лидера московской богемы.

– Ни веры, ни надежды, ни любви, стеклянные свидания в пыли. Лицо своё на зеркале возьми. Казни меня, казни меня, казни. Наверно, это в чёрных городах с монетою и чёлка молода. Наверное, но только не покой – с того бы света я ушёл к другой. Ты знаешь, ты сегодня – береста. Последнюю причёску перестань. У гробика иконы убери. Ни веры, ни надежды, ни любви! Я на рассвете жуткого письма, но утром, к четырём часам, весьма... Я вспомню прорубь в трёх верстах от глаз, и эта <...> мне не даст отказ. Я завяжу на шее гордый шарф, я попляшу, я поплюю на шар – на шар земной, который груб и скуп, где спят зимой и где весной умрут, на шар земной, где у больных мука, на шар земной, где у здоровых – мука, на шар земной, где мне твоя рука напоминает уголок и уголь, где спят, как жнут, перебегая ять, где яда ждут, как ждут любимых мять, где день и ночь в халате пьянь и лень, где тень, как дочь, а если дочь – как тень, картонный раб, и на ресницах тушь, в конторах драк служивых десять душ, в моментах птиц – еврейская печаль, в конвертах лиц – плебейская печать. Работай, князь! Дай бог вам головы, всё та же грязь – управы и халвы. Надейся, раб, на трижды гретый суп, оденься, наг, и жди свой Высший Суд. Солите жён, дабы пришлись на вкус, над платежом не размышлял Иисус. Я наклонюсь над прорубью моей – «О, будь ты проклят, камень из камней!..» Где вечно подлость будет на коне, а мы, как хворост, гибнем на огне. Когда, земной передвигая ход, разучатся смеяться и плошать, я – то зерно, которое взойдёт, не хватит рук, чтобы меня пожать. Ну а пока крепи меня, лепи. Ах, как же тянет спать да спать в гробу – ни веры, ни надежды, ни любви – я написал на белоснежном лбу!..

Но времена изменились.

Изменились они очень сильно, как-то вдруг, для многих – стремительно, для немногих – закономерно, и были они – другими, чем те, к которым привыкли все мы, то есть – родные, крылатые шестидесятые, с их молодостью, и храбростью, и радостью, вовсе не странной для нас, потому что она была нам вполне по возрасту, по силам, тогда безмерным, по нраву, тогда крутому, по многим ещё причинам, для нас дорогим и важным, – теперь же, мы понимали, настали для всей богемы иные совсем времена.

Никто и не думал отрицать наличие его громадного дара.

Никому это и в голову бы не пришло. Делать это бессмысленно, и такое вот лобовое, прямолинейное отрицание обычно сводится к абсурду и не лучшим образом, если вспомнить о разумности подобных выпадов, характеризует всяческих злопыхателей. Поскольку дар есть дар, и он, да ещё такой, как у Лёни, вообще крайне редок, и сам за себя говорит, и существует, несмотря ни на что, а часто и вопреки всему, что хотело бы его погубить, унизить, окутать завесой замалчивания, – то он, будучи, по природе своей, жизнестойким и жизнетворным, сам себя ещё и защищает.

Просто – жить стало сложнее, и сложность эта поначалу озадачивала, хотя, вскоре к ней притерпелись, но она ощущалась как изрядная тяжесть, для большинства непривычная, и утрата былой лёгкости в отношениях оказалась невосполнимой ничем, и уже вселяла в души тревогу по поводу возможной утраты свободы, и требовала напряжения всех человеческих сил, – и далеко не всегда удавалось общаться столь же интенсивно, как прежде.

Да и усвоение духовных ценностей – занятие, согласитесь, настолько важное, что тут и соваться с вопросами и советами нечего, – было делом сугубо индивидуальным.

Ещё во многом следовало разобраться, многое передумать, находя для себя верные ориентиры и в странноватой, зыбкой действительности, пока что не устоявшейся, дрожжевой, и только начинающей преподносить сюрпризы и, с изуверской расчётливостью и актёрской привычкой к выразительным паузам, постепенно, снимая маску, показывать истинное своё лицо, – и, конечно же, в области творческой.

Это требовало неторопливых ритмов.

Лёнины же ритмы, нервические, импульсивные, с надрывом и перебором, для некоторых становились тяжелы, а то и невыносимы.

Губанова это обижало. Ему, не привыкшему к любого рода запретам и отказам, донельзя избалованному богемной, шумной, щедро сдобренной выпивкой и похвалами, двойственной, в общем-то, славой, об уровне которой он, с самого начала своего взлёта и в дальнейшем своём кружении по мистическим кольцам столицы, на удивление трезво заботился, – казалось это, прежде всего, проявлением зародившегося и уже непрерывно растущего человеческого невнимания.

– Этой осенью голою, где хотите, в лесу ли, в подвале, разменяйте мне голову, чтобы дорого так не давали. И пробейте в спине мне, как в копилке, глухое отверстие, чтоб туда зазвенели ваши взгляды... и взгляды «ответственные». За глаза покупаю книжки самые длинные, баба будет любая, пару чёрных подкину ей. За такси очень ласковое, шефу с рожею каменной я с презреньем выбрасываю голубые да карие. Ах, копилушка-спинушка, самобранная скатерть, мне с серебряной выдержкой лет на пять ещё хватит. За глаза ли зелёные бью зелёные рюмки, а на сердце влюблённые все в слезах от разлуки. Чтоб не сдохнуть мне с голоду, ещё раз повторяю – разменяйте мне голову, или зря потеряю!..

Груз собственных, сверхнасыщенных эмоциями, пронизанных пульсациями времени, озарённых вспышками прозрений и гнетущих его предчувствий, полных щемящего лиризма и эпического размаха, диковатых, сумбурных и таких оголённо-подлинных, стихов – оказывался порою, в прямом смысле слова, несносным для него.

Это не было напечатано, в книгах ли, в периодических ли изданиях, как и полагается, как и надо бы по-хорошему, по-людски, да к тому же ещё бы и вовремя, – то есть не жило отдельной, особой, уже ни в чём не зависящей от автора, жизнью, в которую мог бы, наверно, войти настоящий, хороший читатель, друг поэта, неведомый или знакомый ему, но всегда возникающий в жизни печатного слова.

Это было записано на бумаге, в любимых Лёней больших тетрадях, наподобие амбарных книг, его характерным отчётливым почерком, так, что каждая буква в строке существовала и вроде бы рядом

с другими, и отдельно, сама по себе, как и сам Губанов, заметим, – или же просто, без всякой записи, держалось в голове, и вспоминалось навязчиво, ежесекундно, и томило его, тревожило, а не просто слегка волновало, – нет, его это мучило, жгло, – и он чувствовал потребность кому-то это прочитать, чтобы этот «кто-то» проникся прочитанным, понял его.

– И буду я работать, пока горб не наживу да и не почернею. И буду я работать, пока горд, что ничего на свете не имею. Ни пухлой той подушки мерзкой лжи, ни жадности плясать у вас на теле, ни доброты – похваливать режим, где хорошо лишь одному злодею. Ни подлости – друзей оклеветать, ни трусости – лишь одному разбиться, ни сладости – по-бабьи лопотать, когда приказ стреляться и молиться. И буду я работать, словно вол, чтоб всё сложить и сжечь, что не имею. И как сто тысяч всех Савонарол кричу – огня, огня сюда немедля! В плаще, подбитом пылью и золой, пойду лохматый, нищий, неумытый по пепелищам родины другой, как тот весёлый одинокий мытарь. И буду я работать, пока гор не сдвину этих трупов, что зловонят, и буду я в заботах, как собор, пока всё человечество зло водит за ручку, как ребёнка, и шутя знакомую даёт ему конфету – ах, Бога нет, прелестное дитя, и Бога нам придумали поэты. Но есть, есть Страшный Суд, и он не ждёт, не тот, который у Буонарроти, а тот, что и при жизни кровь с вас пьёт, по щёчкам узнаёт вас при народе. Ах, что вам стыд, немного покраснел, но кровоизлияние – не праздник. Да, на врачей вам хватит при казне, как вам хватило дров при нашей казни. Но буду я работать, пока гол, чтоб с царского плеча сорвать мне шубу, когда уже зачитан приговор и улыбается топор не в шутку. Но буду я работать до тех пор, пока с сердец не сброшу зло и плесень. Ах, скоро, скоро вас разбудит горн моих зловещих, беспощадных песен!..

Каждой клеточкой существа своего ощущал он, что его намеренно загоняют в угол, сознательно и жестоко лишают возможности дышать, но не желал с этим наваждением смиряться.

Коренастый, губастый, взлохмаченный, то ли этакий богатырёк сказочный, то ли Емеля, то ли Иванушка, но ему, во всяком случае, вполне подошло бы музейное, старинное, небольшого, по меркам нынешним, размера, воинское облачение, – да и вообще, как любил он подчёркивать, со значением и мальчишеским самолюбованием, приводя приятную для него и лестную аналогию, такого же роста, как Стенька Разин! – боец, вождь, он снова страстно мечтал оказаться во главе своего воинства.

Но проявлять активность – да и просто-напросто рыпаться, возникать, слишком часто, больше положенного, напоминать о себе, и особенно предпринимать какие-нибудь, смогистского толка, скандальные акции, вроде многолюдных демонстраций, чтений в известных своей демократичностью научно-исследовательских институтах, вроде Курчатовского, и так далее, – то есть, выражаясь грубее и резче, мозолить глаза властям, – ему многозначительно и категорично, чтобы знал, что предел есть любому терпению, не рекомендовали.

– Благодарю за то, что я сидел в тюрьме, благодарю за то, что шлялся в жёлтом доме, благодарю за то, что жил среди теней и тени не мечтали

о надгробье. Благодарю за свет за пазухой иглы, благодарю погост и продавщицу за то, что я без паюсной икры смогу ещё полвека протащиться. Благодарю за белизну костей, благодарю за роковые снасти, благодарю бессмертную постель, благодарю бессмысленные страсти. Благодарю за серые глаза, благодарю любовницу и рюмку, благодарю за то, что образа баюкали твою любую юбку. Благодарю оранжевый живот своей судьбы и хлеб ночного бреда. Благодарю всех тех, кто не живёт, и тех, кто под землёю будет предан. Благодарю потерянных друзей и хруст звезды, и неповиновенье. Благодарю свой будущий музей, благодарю последнее мгновенье!

Он зачастил в психушки.

О, эта чудовищная, псевдоврачебная, совдеповская затея, эти предприятия по переделыванию здоровых людей в законченных инвалидов!

Слишком уж много моих приятелей прошли через этот ад, потому и есть у меня должное о нём представление.

Сам я – чудом его миновал. Повезло. Слава богу, что – так. Но хватало мне встарь нервотрёпок и на воле, без всяких психушек, и ещё неизвестно, что хуже, и не хочется сравнивать их, потому что и то и другое – элементы системы одной.

Лёнина эпопея с психушками – затяжной, сплошной, откровенный мрак.

Помню, в середине шестидесятых ещё, в первый раз я поехал его навестить в больницу Кащенко. Привёз ему продуктов немного – чтобы поел, пачку чаю индийского – чтобы пил в своё удовольствие, стопку бумаги и авторучку – чтобы стихи писал, маленький томик Хлебникова – самый распространённый тогда, из малой серии «Библиотеки поэта», – чтобы читал.

И Лёня был тогда парень хоть куда!

Он выбежал ко мне такой оживлённый и радостный, будто находился не в дурдоме, а в доме отдыха.

Порывисто, весело, с широчайшей улыбкой во всё лицо, с озорным, немного лукавым огоньком в широко раскрытых серых глазах, обнял меня. Потом, по привычке столичной своей, чего я не очень-то любил, почеломкался.

И, сразу, с места в карьер:

– Старик! У меня всё в порядке. Ну подумаешь, мать сюда посадила! Здесь все врачи меня любят. Стихи мои любят. Я здесь рисую. Пишу. А когда попросят, врачам и медсёстрам стихи читаю. В общем, лафа! Ну, побуду здесь некоторое время, сколько там полагается. Думаю, что недолго. Зато отдохну. Витаминчиками подлечусь. А потом и отпустят меня восвояси. И снова буду на воле.

Довольный такой, оптимистичный, что я прямо диву давался, глядя на него, так оживлённо повествующего мне о своей расчудесной дурдомовской жизни, – и это на фоне больничных корпусов, палат, наполненных то истошно вопящими, то стонущими, то молчаливо глядящими перед собою людьми в измятых халатах, блёклых стен, решёток на окнах, то и дело проходящих мимо с каменными лицами врачей, каких-то грязных кастрюль, мисок и чанов, затхлой вони из кухни, шаркающих по полу подошв, тусклых электрических ламп, бьющихся в стёкла мух, паутины в углу, треснувшей штукатурки на потолке...

Да... Курорт. Дом отдыха. Санаторий.

А Губанов мне:

– Мы тут и поддаём, иногда. Если кто пронесёт с собой бутылку. Володя Высоцкий лежал здесь. Выписали его недавно. После запоя в себя приходил. Мужик что надо! Мы с ним подружились. Выйду отсюда – в театр к нему пойдём, на Таганку. Он звал. Ему стихи мои очень понравились. Мы с ним часто курили вдвоём, разговаривали. И он, представляешь, всё время просил меня почитать ему ещё разок. Ну, я, конечно, читал. И, ты знаешь, когда читал, то поглядывал на него – как он слушает? А он всегда расчувствуется, взбудоражится, и даже слёзы у него на глазах, и говорит, что это здорово, что вот это стихи так стихи! Жалко, что уже свалил он отсюда. А то с ним хорошо было поболтать. И выпить ему втихаря приносили. И я с ним к бутылке прикладывался. Не жизнь, а малина!

Я поглядывал по сторонам – и особой малины вокруг что-то не замечал.

А Губанов мне снова:

– Здесь Володя Яковлев лежит постоянно. Врач мне гору его работ показывал. У них тут целый музей. Творчество психов. Живопись и графика. И моих рисунков там полно. Володя, как только ляжет сюда в очередной раз, так сразу и рисовать начинает. У него и краски с собой, и бумага. Вина он не пьёт, ты знаешь. А курит много. Мне врач вчера говорил: Яковлев дымит, как паровоз, глотает лекарства, молчит – и только и делает, что рисует. А работы раздаривает. Кто хочет, то их и берёт. Эх, поздновато я сюда залёг! Яковлев незадолго до меня выписался. А то я его разговорил бы. Может, и нарисовал бы меня. Художник-то он гениальный. А врачи о нём пишут, что псих. И репродукции с его работ в научные книги свои помещают. Вот, мол, какой у них имеется давний пациент. Врач меня стихи иногда переписать для него просит. Я для него по памяти уже много чего переписал. Здесь хорошо! Можно с людьми пообщаться. И я не скучаю. Да ещё и пишу свои новые вещи. Ничего, скоро выйду. И тогда нагуляюсь по полной программе. И ещё такое придумаю, что Москва изумится!..

Я смотрел на Губанова, слушал его – и вздыхал.

Это были – ещё цветочки.

Ягодки начались потом. И довольно скоро.

И тогда, по мере нарастания случаев, когда его вдруг, ни с того ни с сего, вроде бы, вырывали насильственным образом, выхватывали, изымали из привычной для него, сумбурной, переполненной происшествиями и впечатлениями жизни, унижая тем самым, придавливая, чтобы не рыпался, чтобы заглох, и в очередной раз помещали в психбольницу, где закармливали спецлекарствами, притупляя сознание, подавляя волю, старательно разрушая личность его, и кошмару этому надо было как-то сопротивляться, чтобы выжить, и надо было суметь остаться самим собой, – пребывание там вовсе уже не представлялось ему занятным, беззаботным, почти безоблачным времяпровождением в доме отдыха.

Психушки стали, если так можно выразиться, теневой, очень мало известной любителям его стихов, львиную долю его времени в совокупности своей сожравшей, стороной нелепой и хаотичной губановской жизни.

Сознательно, чтобы чего-нибудь не натворил, его упрятывали туда в годовщину пятидесятилетия советской власти, и до этого, и после этого, и множество раз, и не могло всё это пройти бесследно для его здоровья.

– Я провёл свою юность по сумасшедшим домам, где меня не смогли разрубить пополам, не смогли задушить, уничтожить, а значит, мадам, я на мёртвой бумаге живые слова не продам. И не вылечит тень на горе, и не высветлит храм, на пергамент старушечьих щёк оплывает свеча. Я не верю цветам, продающим себя, ни на грамм, как не верят в пощаду холодные губы меча.

Со своим больным сердцем и никуда не годными нервами он был, тем не менее, на редкость вынослив.

Мог мобилизовать волю. При случае проявлял чудеса героизма. Или, наоборот, являл собою образец терпеливости. Заводился – с полоборота. Срывался – так уж на всю катушку, безоглядно, без тормозов. Держался – на упрямстве.

Алкоголь впрок ему не шёл. Пьянел он быстро, терял контроль над собой и мог выкинуть что-нибудь из ряда вон выходящее, набузить, надерзить, влипнуть в историю.

– Грею ли обледеневшее имя, водку ли лью в раскалённые губы? Строится храм батраками моими – каждою буквой и доброй, и грубой. Иконописцы ли жизни лишались, шмякаясь вниз и за хмель и за гонор? Ведьмы ль на карих бочонках съезжались? Казнь полоскала волшебное горло. Только ли врётся и только ли пьётся, только ли нервы в серебряных шпорах, и голова под топориком бьётся, словно бы сердце в развалинах школы. Только ли гений, скорее глашатай и оглашенный по чёрному счёту, очень мне жалко, не я ваш вожатый – всё, кроме Бога, послали бы к чёрту!

Но его любили. И некоторые – пусть и не все – любили его по-настоящему.

Ему всё – или почти всё – пусть и поворчав, для порядка, пообижавшись, подувшись, – прощали.

Он словно нёс в себе, как в одном донельзя спутанном какими-то коварными духами клубке, вместе с дичайшими выходками и малоприятными, к сожалению, а потому и всякими сплетниками обсуждаемыми охотно и часто сторонами его, уж такой, какова она есть, нестандартной, так скажем, натуры, – и раскаянье, и смирение.

– Моя звезда, не тай, не тай, моя звезда – мы веселимся, моя звезда, не дай, не дай напиться или застрелиться. Как хорошо, что мы вдвоём, как хорошо, что мы горбаты пред Богом, а перед царём как хорошо, что мы крылаты. Нас скосят, но не за царя, за чьи-то старые молебны, когда, ресницы опаля, за пазуху летит комета. Моя звезда, не тай, не тай, не будь кометой той задета лишь потому, что сотню тайн хранят закаты и рассветы. Мы под одною кофтой ждём нерукотворного причастья и задыхаемся копьём, когда дожди идут не часто. Моя звезда – моя глава, любовница, когда на плахе я знаю смертные рубахи крахмаленные рукава. И всё равно, и всё равно, ад пережив тугими нервами, да здравствует твоё вино, что льётся в половине первого. Да здравствуют твои

глаза, твои цветы полупечальные, да здравствует слепой азарт смеяться счастью за плечами. Моя звезда, не тай, не тай, мы нашумели, как гостинцы, и если не напишем – Рай, нам это Богом не простится.

Необузданный нрав его – не природное свойство характера, но скорее – от вызова, от желания защитить замечательную детскость, всегда жившую в нём и бывшую его сущностью.

– Скоро, одиночеством запятнанный, я уйду от мерок и морок слушать зарифмованными пятками тихие трагедии дорог...

Угловатый подросток, да и только.

И в жизни, и в стихах.

– Ах, меркнут сумерки кругом. Ох, мелом судороги крестятся. Как семиклассник, я влеком коричневой спиною лестницы...

Задиристый паренёк из московских дворов.

– Я – Дар Божий, я дай Боже нацарапаю...

Школьник, из числа способных, но хулиганящий.

– Я сам твой первый второгодник, чьи дневники никак не тонут...

И – глубоко, по-своему, верующий человек, заядлый, по своим задачам и возможностям, книгочей, благодарный, тоже по-своему, не всегда, к сожалению, а в прямой зависимости от сиюминутного своего состояния, от каприза или порыва, то чаще, то реже, слушатель тех людей, от которых мог, или мог бы, он почерпнуть нечто важное для себя.

– Стыжусь ваших глаз, боюсь непритворно. Спаси меня, Спас мой Нерукотворный!

Соединение противоположностей как-то запросто, по-домашнему, и свободно в такой степени, что отдавало почти полным отсутствием контроля над собственными поступками, утратой чувства меры, а то и откровенной, без малейшей даже маскировки, распущенностью, что я не без оснований ставлю в вину развращавшей его, преувеличенно, с примесью сладкой лжи, захваливавшей, спаивавшей, сбивавшей с толку, то есть выполнявшей нехорошую работу, словно от тёмных сил зла получившей задание сгубить человека и усердно из выполнявшей, вполне определённой, псевдобогемной прослойке в столичном богемном роении, – правда, и сам Губанов был далеко не подарок, и слишком уж часто себе позволял такое, чего позволять не следовало, но дар у него был, и дар этот был настоящим, и порою, спохватываясь, то сам Лёня отчаянно боролся за него, за его сохранение, то дар его, точно смилостивившись, выручал его, вывозил, в силу своей подлинности, а следовательно, и живучести, но годы шли и шли, и развитие губановское то делало рывок вперёд, обнаруживалось в новом качестве, и этим радовало, то сызнова притормаживалось, и это огорчало, но вера в движение оставалось, и происходил наконец новый рывок, и дар его, укрепившись, воспрянув, расцветал, как бывало когда-то, в молодости, в лучшую, самую сильную, ошеломляюще яркую пору его творчества, – да, что и говорить, соединение противоположностей, разнополярность многих его черт, настроений, сторон характера, в непрерывном брожении общем, кипении, с доведением до высшей точки нагрева, со взвинчиванием и разрушением всех нервов, живых клеток, частиц своего естества, с маниакальной потребностью постоять, ещё и ещё, «у бездны на краю», побывать на грани гибели или прозрения, заглянуть за черту, прогуляться в зазеркалье, совершить путешествие на тот свет, а потом и вернуться обратно, как ни в чём не бывало, непрерывно, то по-детски, любопытствуя, то по-юношески, с озорством,

то с беспечностью вневозрастной, на авось, то сознательно, целенаправленно, играть с огнём, испытывать себя всё в новых, желательно экстремальных ситуациях, проверять себя на прочность, разуверяться в чём-то, а потом во что-то уверовать, и жить, жить, жить, жадно, стремительно, пламенно, и спешить, и куда-то лететь, и взлетать над землёй, воспарять, и обрушиваться нежданно вниз, на ту же самую землю, падать, с болью, с мукой, с увечьями, и при этом смотреть в небеса, и вставать, и мчаться вперёд, и, очухавшись, рваться ввысь, и всё это называлось особым соединением разных противоположностей, – и всё это, всей этой кипенью, действительно уживалось, уживалось в нём, как и в неустанно воспеваемой им России, у которой, по его ещё юношескому и с годами только крепнущему убеждению, «всё впереди, всё впереди».

Сейчас, в наше с вами, свободное, или псевдосвободное, может быть, но такое, какое уж есть, и какое отпущено всем, сложноватое, как и всегда, невесёлое, в общем-то, время, но зато и такое, в котором вдосталь всяких полезных открытий и действительно замечательной, многоликой и многозначной, настоящей, живой новизны, как-то слишком охотно и много рассуждают, все поголовно, кто поглубже, кто по верхам, о всякого рода энергиях.

Конечно, они есть. Как им не быть – в мире? Само бытие, весь космос, жизнь в нём – сплошные энергии. И слово, и мысль, и музыка, и живопись, и любовь, и грусть, и радость – энергии. Время, а с ним и пространство, и память – тоже энергии. Везде, во всём и всегда, вокруг – сплошные энергии. Круг из энергий. Коло. Шар. Дом. Свет. Дух. И – путь. Везде на пути – энергии. И – свет созиданья. Так. Энергии бесконечны. И воздействие их все мы ощущаем всегда на себе.

Да и мистическое нынче в почёте.

Но оставим в стороне шарлатанство и паразитирующих на модной теме невежд.

Посмотрим на дело серьёзно.

Губанов – поэт мистический, отрицать это невозможно. И – поэт очень русский.

То древнейшее, ведическое, что было у него в крови, порой смутно, порой отчётливее осознаваемое, но врождённое, диктующее образ и строй, постоянно прорывалось наружу, соединяясь с другими, усвоенными им в процессе духовного развития, традициями, в первую очередь с православной верой.

В этом сплаве роли кремня и огнива играли интуиция и вдохновение.

Губанов был прирождённым импровизатором. Надо опять подчеркнуть эту грань его дара и напомнить об этом.

Когда в нём вспыхивал огонь творчества, он, будучи буквально за минуту до этого совершенно другим, весь, моментально, всем своим существом, почуявшим приближение чуда, преображался.

Глаза, дотоле какие-то мутные, словно спящие, вдруг ярко вспыхивали, изнутри, из глубины своей, странным, соединяющим жар и влагу, пламенем, а потом, высветляясь всё более, наполнялись какой-то загадочной, межзвёздной, что ли, материей, или энергией, и стояли, как две звезды, посреди бесчасья, во мгле, на краю беды, и сияли.

В его движениях тотчас же появлялась, я бы сказал, раскованная, вне логики, рисковая сосредоточенность.

Стихи свои зачастую записывал он почти набело, – позже, и то неохотно, вносил иногда в текст некоторые, всего лишь, мелкие уточнения.

Когда же он сам начинал править и упрощать собственные стихи, наивно надеясь, что, может быть, на родине их издадут, – и эта самоцензура и редакторство доморощенное настигали его, бывало, уже в поздние годы его, пусть и дико это звучит, потому что был он тогда, относительно, пусть, но молод, ну – за тридцать, подумаешь – возраст! – что ж, возможно и так, для кого-то, я подумал, но не для него, про себя-то он всё уже знал, – когда же свои стихи переписывал он самолично, подчеркну ещё, без принуждения, по причине, для всех неясной, ум за разум, наверно, зашёл или нечто вроде затмения было с ним, такое бывает, – когда же свои стихи, повторяю, он переделывал, – то всё из них исчезало, что было его, губановским, и получался некий блёклый, невыразительный, так, с отдельными блёстками, но без горения, текст.

Поэтому надо Губанова издавать – лишь в подлинном виде. То, что было записано им – в озарении и прозрении.

Сивилла, наверное, тоже не заботилась вовсе о стиле.

Ведические певцы вряд ли правили свои гимны.

Лирники украинские не брали в расчёт пунктуацию.

Орфею и в голову не приходило работать над текстом с редактором.

Вспомним Хлебникова – «и так далее...»

Следует учитывать громадное воздействие стихов его на людей, особенно при чтении их самим поэтом, впадающим в транс, причитающим, плачущим, кличущим, вещающим, – да и при чтении текстов с листа, когда работает их поле, – чрезвычайно сильное.

Губанов не только сам обладал мощной энергетикой, но и обострённо-чутко воспринимал все приходящие к нему извне «сигналы» времени и пространства.

Был проводником между высшей силой, руководящей его творчеством, и своими слушателями или читателями.

Не зря сказано: на всё воля Божья.

Губанов и был выразителем воли Божьей.

Делал это, как умел. Не всегда осознанно. Потому что в состоянии транса сознание спит, а бессознательное создаёт образы. Сказанные и записанные в таком состоянии слова – не результат лабораторно-дотошной работы, но – озарение, ясновидение, пророчество.

Абсолютно всё, что предсказывал Губанов, с Россией уже произошло. И происходит дальше.

По счастью, в лавине трагизма брезжит спасительное, отзывающееся не лживым современным практицизмом, а несокрушимым ведическим разумом «всё впереди».

Лёня, Лёнечка! Лёнька. Губаныч.

Заводила, упрямец, страдалец.

Я ещё расскажу о тебе.

А пока что оставайся на старом нашем снимке – молодым, в луче своей ранней и горькой славы.

Смотри и с фотографий начала семидесятых – уже другим, изменившимся, намаявшимся, набравшимся житейского опыта и не желающим

сходить с дистанции; оставайся и на них – поскольку предстоит тебе ещё столькое пережить и столькое сказать, чтобы оставить всем нам свой образ времени.

Оставайся в стихах своих – навсегда.

– И сгорев, мы воскресаем Вознесенья вешним днём. Небо с синими глазами в сердце плещется моём.

Узнаваем ты в любой строчке.

И свеча твоя – не погасла.

И лицо твоё – не убито.

Свечи не догорели, ночи не отцвели, – вправду ли мы старели, грезя вон там, вдали? Брошенная отрада невыразимых дней! Может, и вправду надо было остаться с ней? Зову служа и праву, прожитое влечёт – что удалось на славу? Только вода течёт. Только года с водою схлынули в те места, где на паях с бедою стынет пролёт моста. Что же мне, брат, не рваться к тайной звезде своей? Некуда мне деваться – ты-то понять сумей. То-то гадай, откуда вьётся седая нить – а подоплёку чуда некому объяснить.

Дмитрий ЛАГУТИН

Родился в 1990 году в Брянске. Окончил юридический факультет Брянского государственного университета, работает юрисконсультом.

В 2017 году занял первое место в международном конкурсе «Всемирный Пушкин» в номинации «Проза». Живет в Брянске.

ИДА

Лидия Егоровна, или, как звали ее правнучки, Ида, в очередной раз проснулась от холода – соскользнувшее одеяло лежало на полу. Она, не открывая глаз, повернулась, свесила руку и втащила его обратно. Повела плечами, устраиваясь поудобнее. Холодное и неприятное, точно сырое, одеяло обожгло щеку.

В щель между шторами полз бледно-серый свет, спать не хотелось.

Иде шел восемьдесят пятый год. Несколько лет назад дочь привезла ее к себе в Петербург. Из квартиры Ида почти не выходила – климат не баловал, а здоровье в какой-то момент ухудшилось. Да и желания особенного не было – город уже не удивлял, а родным так и не стал.

Где-то зазвонил телефон. По коридору простучали шаги, и Ида услышала густой бас Сережи – зятя. Постукивали несмело настенные часы. Четверть девятого.

Угловатые, громоздкие мысли толпились в Идиной голове, а среди них в самом центре ворочалась неясная тревога. Причиной тревоги был странный, неожиданный сон – непохожий на те сны, которые Ида привыкла видеть.

Обычно ей снились разговоры с домочадцами, ни слова из которых запомнить не удавалось. Или ее комната, залитая серым светом. Или стол с клетчатой скатертью. Снились бесконечные коридоры, пыльные тряпки, белый потолок и собственные руки. Сниться могло многое, но сны казались какими-то вялыми, тусклыми и вымывались из сознания через минуту после пробуждения. В этот раз все было иначе.

Не к месту приснилась Ирка Калачева, школьная приятельница, озорница и хохотушка, проучившаяся с Идой два года, а затем увезенная родителями то ли в Америку, то ли в Австралию. Во сне Ирка, на вид лет сорока, показывала Иде свою квартиру – пустую, с высоченными потолками. Ни мебели, ни ковров, ни даже картин – бледные обои с невыразительным рисунком и скрипящий под ногами паркет.

– Ирка, – спросила Ида и вздрогнула от зазвеневшего эха, – а мебель где?

Ирка подняла брови:

– Мебель?

И вышла из комнаты.

Ида шагнула к окну – напротив громоздились небоскребы. Верхние этажи терялись в облаках. Сотни черных окон равнодушно смотрели на Иду.

Зашумели шаги, вернулась Ирка с двумя платьями в руках.

– Ида, – сказала она, – так какое надеть?

Ида прищурилась – все было как в тумане.

– Ну что ты щуришься? – всплеснула руками Ирка и скривила губы. – Слушай, душно как.

Она проскользила к окну и дернула ручку. В комнату хлынул ледяной воздух – Ида вздрогнула и проснулась.

Она лежала в кровати, тянула одеяло к подбородку, смотрела на щель между шторами, прокручивала в мыслях странный сон. Ирку она не видела со школьных лет, и в памяти она так и осталась тощей, рыжей и бледной; какой она выросла, Ида не знала и знать не могла. Ида силилась связать какие-то нити, сложить какие-то образы, но чем сильнее она напрягалась, тем тоньше становились черты и тем дальше уплывало от нее Иркино лицо; мысли дрожали и тонули в мягком сыром тумане.

Из-за стены раздался звон – на кухне что-то упало. Ида медленно села, потерла лицо сухими ладонями. Опираясь о тумбочку, встала и принялась одеваться.

Когда она вошла на кухню, завтрак был уже окончен. Сережа допивал кофе, листая журнал, Марина, Идина дочь, мыла посуду. С подоконника сыпался непрекращающийся бубнеж радио.

– Привет, мам, – обернувшись, окликнула Иду Марина.

– Доброе утро, – поздоровался Сережа.

Ида улыбнулась, кивнула и села.

– Как спалось? – поинтересовалась Марина сквозь плеск воды.

Сережа вдруг заинтересованно вскинул голову и нахмурился; потом протянул руку под занавеску – и радио забубнило громче.

– Ничего, – пожала плечами Ида.

Перед ней возникла чашка с бледным, желтоватым чаем и тарелка с кашей. Марина зазвенела ящиками и вручила матери ложку.

– Горячая, ешь аккуратно, – сообщила она.

Ида, зачерпнула из тарелки, поднесла к губам, подула.

– А у нас, – заговорила Марина, – старая песня. Клавдия опять прикармливает голубей.

Ида пожала плечами и закашлялась – горло обожгло.

– Мама. Говорила же – горячо.

Сережа покачал головой. Затем отложил журнал, встал, потянулся.

– Я все, уехал.

И вышел.

Марина распахнула холодильник, заглянула в него и крикнула вслед мужу:

– Сережа! Купи рыбы!

– Хорошо! – отозвался глухой голос из прихожей, потом послышалась какая-то возня, бренчание ключей. Через несколько секунд громыхнула дверь.

Марина вернулась к раковине, вновь зашумела вода.

– Я ей говорю, – продолжила она, – ваши голуби мне житья не дают, а она – можешь ты себе представить? – руками разводит, моргает, а сказать ничего не может.

Она притихла на минуту, – и вдруг резко обернулась.

– Слушай, мам, а она не немая?

Ида опустила поднесенную ко рту чашку и пожала плечами.

Двумя этажами выше жила таинственная Клавдия – по-видимому, пенсионерка, – щедро снабжавшая пшеном голубей, которые с готовностью слетались к ее подоконнику со всей округи. Эта Клавдия, которую Ида ни разу в жизни не видела, была для Марины с ее стремлением к чистоте постоянным раздражителем: выступ, к которому примыкало окно их кухни, находился под постоянным гнетом птиц; смотреть на него без слез было невозможно.

Какое-то время молча занимались своими делами – Марина протирала столешницы, расставляла посуду, Ида тянула чай и мяла во рту остывшую кашу. Потом зазвонил телефон и Марина, вытирая ладони о фартук, двинулась в коридор.

Ида осталась одна.

– …вы даже представить себе не можете, в каких условиях большинство из них живет, – бормотало радио проникновенно, – в нравственном смысле они недалеко ушли от крепостных, которых в позапрошлом веке было не зазорно выпороть за малейшую провинность. И все молчат, и все соглашаются. И никто ничего не делает. Ничего не меняется, верьте мне, ничего. Эти вот на предпоказы ходят, театральные сезоны открывают, награды получают, а между тем мирятся с катастрофической несправедливостью и унижением. Можно бы, кажется, понимать…

Иду стало клонить в сон. Она подтянула к себе Сережин журнал, щурясь, всмотрелась в обложку, осторожно заглянула внутрь, но ничего интересного не нашла – текст серыми лентами полз куда-то вбок, изображения плыли и сливались.

– …не хватает им, не хватает, понимаете ли, решимости. Их, видите ли, устраивает такая жизнь. Но разве может человека устраивать *это*? А те, кого якобы не устраивает… эти еще хуже, потому что на каждом углу кричат о своей позиции, но мизинцем ради нее пошевелить не хотят. Почему, ответьте, почему они ничего не делают, а только мелют языком без устали? Порой смотришь в их лица, и такое зло разбирает…

На подоконник приземлился голубь. Он прошествовал от одного края к другому, внимательно посмотрел на Иду, повертел шеей и застыл, точно задумавшись.

– А ну пошел вон! – закричала на него Марина, появившаяся на пороге. Она подскочила к окну и замахнулась на птицу полотенцем. Голубь встрепенулся и ухнул куда-то вниз.

Ида, уже провалившаяся в мутную дремоту, вздрогнула и опрокинула на скатерть чашку с остатками чая. Марина всплеснула руками.

– Мамочка, милая, иди к себе, – она помогла Иде подняться и проводила в коридор, поддерживая под локоть.

Ида засеменила вдоль стены.

У своей комнаты она остановилась и позвала:

– Марина!

Из кухни выглянула дочь с всклокоченными волосами.

– А дети? Сегодня будут? – спросила Ида.

– Пока не знаю, – ответила Марина и скрылась.

Послышался звон и плеск. Ида вошла к себе и закрылась.

В комнате царил полумрак – шторы были все еще задернуты. Через тонкую щель на пол сыпался свет. Ида подошла к окну, растянула в

стороны тяжелую ткань, привычно опустилась на стоящую тут же табуретку и, опершись локтем о подоконник, застыла.

Над городом висели угрюмые тучи – казалось, будто они в любой момент могут сорваться со своих гвоздей и рухнуть вниз. Дома смотрели будто из-под опущенных век. По проспекту в обе стороны сновали машины, тянулись трамваи. Монотонное скольжение туда-сюда влекло за собой, окутывало, укачивало. Ида искала точку, зацепившись за которую, можно будет растянуть время бодрствования – плыла по черепицам крыш, по шпилям, по вихрастой лепнине, аркам, колоннам, но ничто не занимало ее внимания, все сливалось в сплошное серое полотнище и звало в объятья – мягкие и душные. Ида подняла глаза к небу и смотрела, как над домом кружит стайка голубей – серых на сером. Танец, сперва показавшийся увлекательным, быстро наскучил и превратился в бессмысленное мельтешение. Ида потерла глаза, пригладила тонкую прядь, соскользнувшую на лоб. Комната таяла в тишине, где-то далеко по квартире порхала Марина, раскладывая, перебирая, выметая и ополаскивая, как сквозь вату доносилось глухое гудение стиральной машины. Медленно, со вздохами тикали на стене часы. Ида не заметила, как голова ее склонилась на грудь, и все соскользнуло в серую мглу.

Ей снилось ведро, до краев наполненное ледяной водой. По бортикам, в тех местах, где краска облупилась или была стесана, чернели прогалины ржавчины; ручка дугой выгибалась над водой, увенчанная деревянным брусочком – чтобы удобнее было держать. Брусочек – покрыт трещинками и вздут. По ручке, как по мосту, неспешно ползла крохотная зеленая гусеница – тоненькое тельце то сжималось, то разжималось. Вот гусеница подобралась к брусочку, ткнулась в него раздругой, прижалась, приподнялась – и упала в воду.

Ида открыла глаза, повернулась к окну.

На той стороне проспекта, у входа в парк, толпились люди. Ида прищурилась, прильнула к стеклу.

На тротуаре лицом вверх лежал человек, рядом с головой чернело какое-то пятнышко – шляпа. Вокруг толпились прохожие и то наклонялись к лежащему, то принимались говорить друг с другом. Кто-то держал у уха телефон. Вдруг человек пошевелился, развел руки в стороны, неловко повернулся, уперся в землю и, поджимая длинные худые ноги, нескладно поднялся, прижимая ладонь к груди. Ему подали шляпу и какую-то палку, валяющуюся тут же. Человек, не отряхивая, водрузил шляпу на голову, крепко схватился за палку, оказавшуюся тростью, и, кивая окружающим, двинулся прочь. Прохожие некоторое время стояли на месте, глядя ему вслед, потом начали расходиться.

На стекле засеребрились какие-то точки – начинался дождь. Из Мариниой комнаты послышался равномерный стук клавиатуры.

В час обедали. Марина была чем-то расстроена и почти ничего не говорила, поджимала губы, хмурилась. Вышла из-за стола, не доев. Ида цедила борщ и смотрела, как колышутся занавески; в открытую форточку струился холодный воздух, разливался по кухне, тянулся к щиколоткам, полз в рукава.

– …а самое смешное, что все смотрят на подобные вещи как на нечто само собой разумеющееся и ни слова не говорят против. Вот до тех пор ничего не изменится, пока наши так называемые граждане будут ходить с опущенными головами и замечать только то, что происходит в радиусе одного-двух метров вокруг них, – горячился приемник.

Ида отложила ложку и встала. Обошла стол, сдвинула занавеску и, ухватившись за ручку, с грохотом закрыла форточку. Откуда-то сверху взметнулись в воздух голуби.

По двору, лавируя между припаркованными автомобилями, нарезал круги мальчонка на велосипеде. Один круг, другой, третий, четвертый... Серо-желтый двор колодцем будто ежился от сырости и ветра. Пятый круг, шестой, седьмой... Внезапно мальчик остановился. Обернулся через плечо и уставился на оцепеневшую Иду. Стоял неподвижно и смотрел, не отрывая глаз. Иду охватила какая-то тоска. Как-то вдруг потемнело над домами небо, взвыл жалобно ветер, а из дряблых серых туч посыпался не то снег, не то град – редкий и мелкий. Он звонко застучал по подоконнику, подскакивая и бросаясь на дно колодца; несколько горошинок удержались на краю, и Ида увидела, что они неприятного бледно-желтого цвета. Она вздрогнула и отпрянула, отгородившись от наваждения занавеской.

В Марининой комнате стрекотала клавиатура. Ида перенесла тарелку с остатками борща к раковине, вычистила ее и сунула под струю ледяной воды.

– ...если бы только открыть им глаза, дать понять, как – как на самом деле можно жить! Тогда и лозунги, и призывы нужны не будут. Очень быстро наши сограждане забывают обиды – а может быть, в лучших традициях Достоевского, и упиваются своей обидой и все глубже стремятся в нее завернуться...

– Марина, – позвала Ида.

– Что?

– Горячую воду отключили, что ли?

Молчание.

– Не знаю, мам. Я холодной мою. Оставь, я сделаю.

Ида выключила воду, поскребла по рукам вафельным полотенцем и направилась к себе. В коридоре было совсем темно.

Она вошла, закрыла дверь и как была – в одежде – легла на кровать лицом к стене. Но уснуть не получалось. Ворочалась, укрывалась, поджимала под себя ноги, но в конце концов легла на спину, вытянулась и стала смотреть на картину, висящую напротив кровати.

На картине был изображен залитый светом сад, расступающийся в стороны перед величественной усадьбой – колонны, арки. По аллее к усадьбе шли двое – мужчина и женщина. На женщине было пышное сиреневое платье, она держала над головой тонкий кружевной зонтик. Мужчина сжимал под мышкой трость. Сад пестрел яблонями и сиренью, по небу тянулись облака, вились птицы. Солнца видно не было, но оно чувствовалось в каждом штрихе. Усадьба казалась прекрасным дворцом, и было странно, что люди движутся к ней так размеренно и спокойно, а не бегут, сломя голову, так, будто сияющие колонны могут в любую секунду раствориться в воздухе и исчезнуть.

Картина была изучена Идой до мелочей – каждую веточку, каждый блик она могла бы объяснить и описать, а при желании – если руки не подведут – и воспроизвести; в молодости она недурно рисовала. Картина была привезена из дома, а там она висела в гостиной, а подарил ее Идиному отцу сосед-художник, высокий бородатый старик со смеющимися глазами, любивший петь в своей мастерской. Отец относился к картине как к семейной реликвии, показывал ее гостям и несколько раз перевешивал с места на место в поисках наиболее выгодного освещения.

Старика-художника вскоре выслали за границу. Перед отъездом он раздал почти все свои работы знакомым.

Ида смотрела на колонны, небо, сирень – и душа ее успокаивалась, приходила в доброе, тихое состояние. В окно застучал дождь, с ним слился тянущийся из-за двери треск. Робко вступили часы. Наконец, комнату окутал равномерный шум, растекающийся по потолку, стенам, кровати и картине. Аллея вздрогнула и потянулась куда-то вверх, колонны склонились набок, и Ида провалилась в забытье.

Снилось поле. Ида шла, загребая босоножками траву, а над ее головой носилась туда-сюда крохотная пестрая птичка и тоненько щебетала. Ида шла и шла, шла и шла, а поле все не кончалось. Птичка то улетала вперед, то возвращалась, то металась зигзагами, то выводила ровные круги – но не отдалялась. Горизонт таял, сливался с небом, в воздухе стоял душистый аромат черемухи и вишни, было тепло и тихо. Ида шла все быстрее, надеясь хоть куда-то да выйти, но ничего не менялось. Она не чувствовала ни усталости, ни раздражения – на нее наваливалась тяжелая, гнетущая скука. Если бы не птичка, она бы давно остановилась и села на траву, но щебет звал ее вперед, подталкивал, торопил.

В дверь позвонили, и Ида проснулась.

Дождь закончился, за шторами посветлело, холодный луч пересекал комнату, деля ее пополам. В коридоре слышались голоса.

Ида прислушалась, и губы ее растянулись в улыбке – голоса принадлежали правнучкам. Она опустила босые ноги на пол и села.

– Ида! Ида! – звенело в коридоре.

– Не шумите, бабушка отдыхает! – прозвучал строгий голос.

Дверь тут же распахнулась, и в комнату, смеясь и взвизгивая, влетели правнучки. Они увидели Иду и бросились к ней.

– Ида! Ида!

Ида рассмеялась и прижала девочек к груди.

– Ну, ну, – только и сказала она.

А они уже пели о своем, перебивали друг друга, одергивали, хохотали, делились последними новостями, впечатлениями, ожиданиями. Ида улыбалась, кивала и гладила девочек по волосам.

– Привет, ба, – заглянула в комнату внучка, дочь Марины. – Как здоровье?

– Ничего.

– Идите за стол! – послышалось из кухни.

– Маша, Даша, – строго скомандовала внучка, – бегом мыть руки.

Девочки вспорхнули и, смеясь, исчезли в коридоре.

– Это хорошо, что ничего, – сказала внучка Иде, – слава богу. Мама волнуется.

– Все в порядке, правда.

Внучка ободряюще потрясла кулаком и вышла.

Ида встала, взяла со столика зеркало, поднесла к лицу. Лицо как лицо.

На кухне стоял гвалт – девочки шумели, внучка пыталась их успокоить, Марина звенела тарелками, на плите шипело, над холодильником распевался телевизор, а где-то за всем этим неторопливо, с чувством собственного достоинства тянул свою шарманку радиоприемник. Когда Ида вошла, ее обдало жаром и шумом.

– Ида! Ида! – запищали девочки.

Сережа отодвинул стул, Ида села, положила ладони на стол. Потом спрятала их.

– Они и понятия не имеют… – доносилось с подоконника, – их даже жалко, честное слово… Как можно…

Марина под вздох всеобщего восхищения опустила на стол огромное блюдо.

– Вуаля, – щелкнула она пальцами.

– Так, папа, – возмутилась внучка, – выключай-ка.

Она протянула руку, выхватила откуда-то из-под тарелок пульт, и телевизор погас. Стало чуть тише.

– Мам, ты представляешь, – заговорила Марина, раскрывая холодильник и выуживая из него салаты, – Клавдия не перестает удивлять. Теперь она так щедра со своими голубями, что мне приходится сметать *пшено* с нашего подоконника.

Она сделала ударение на «нашего». Ида посмотрела на дочь так, словно хотела что-то сказать, потом лицо ее прояснилось и губы растянулись в улыбке.

– Ничего смешного, между прочим, – нахмурилась Марина, – не хватало только, чтобы эти… – она подернула плечами, – эти – у нашего окна вились теперь.

– Ма-ма, – потянула ее за рукав внучка, – давайте уже есть.

Марина всплеснула руками, засуетилась с сервировкой и наконец села – по левую руку от Иды.

И началось. Зазвенели приборы, зажурчали наполняемые бокалы, кухня наполнилась возгласами одобрения и комплиментами хозяйке. Разговаривали, смеялись, шутили, обменивались новостями, вспоминали былое. Девочки жужжали и хихикали, Марина жаловалась на Клавдию, внучка делилась школьными успехами дочерей, а Ида качалась на волнах всеобщего воодушевления и даже забывала про еду. Ее увлекало хороводом голосов, огней и запахов, звуки сливались друг с другом и превращались в птичье пение – даже приемник стал казаться серой, надутой птицей, глухо булькающей откуда-то издалека.

– …и только после того, как я увидел, в каких домах они живут, я понял, чего же нам все это время не хватало… – клокотала птица угрюмым грудным баском.

Иде было хорошо – ее окутывала тихая радость, и казалось, будто горячий летний ветер вьется вокруг нее, гладит волосы, целует щеки. Ей вспомнилась картина с усадьбой и подумалось, что, наверное, вот так – спокойно и благостно – себя ощущают люди, на ней изображенные.

– Мама, – взяла ее за руку Марина, – ты чего?

Ида вздрогнула:

– Что чего?

– Ты как-то… не знаю… задумалась… – сказала тревожно дочь, – может, пойдешь полежишь?

– Нет-нет, – улыбнулась Ида, – все хорошо.

И повторила:

– Все хорошо. Правда.

Внучка о чем-то зашепталась с девочками, а потом торжественно постучала вилкой о бокал.

– Внимание, внимание! – Она сделала важное лицо. – Сейчас перед вами выступят юные дарования Марья да Дарья со стихами Алексея Константиновича Толстого.

Девочки выпорхнули из-за стола и приземлились в центре кухни. Они защебетали между собой, по-видимому, проводя жеребьевку. Потом замерли. Даша вытянулась как струна и запищала:

Что за грустная обитель
И какой знакомый вид!
За стеной храпит смотритель,
Сонно маятник стучит;

Стукнет вправо, стукнет влево,
Будит мыслей длинный ряд;
В нем рассказы и напевы
Затверженные звучат.

Внучка кивала в такт каждой строке и смотрела с восхищением.

А в подсвечнике пылает
Догоревшая свеча;
Где-то пес далеко лает,
Ходит маятник, стуча;

Стукнет влево, стукнет вправо,
Все твердит о старине;
Грустно так; не знаю, право,
Наяву я иль во сне?

Вот уж лошади готовы –
Сел в кибитку и скачу…

Даша запнулась, зашевелила беззвучно губами, прижала кулачки к груди и умоляюще посмотрела на мать.

– Вспомина-ай, – строго протянула та.

Даша зажмурилась, потом выдохнула:

Вот уж лошади готовы –
Сел в кибитку и скачу, –
Полно, так ли? Вижу снова
Ту же сальную свечу,

Ту же грустную обитель,
И кругом знакомый вид,
За стеной храпит смотритель,
Сонно маятник стучит…

Внучка захлопала, к ней присоединились остальные.

– Замечательно! – воскликнула Марина.

– …нет слов, просто нет слов… – проурчал из-за занавески приемник.

– И вправду, недурно, – закивал Сережа, – вот только…

Все повернулись к нему.

– Вот только как, по-вашему, может пылать догоревшая свеча?

И он засмеялся.

– Па-па! – одернула его внучка. – Ну хватит. К Толстому придрался. Дочка, прекрасно. Умница.

Ида смотрела, как обе девочки смущенно переступают с ноги на ногу.

– Так, очередь Марьи, – объявила внучка, и все притихли.

Маша сделала шаг вперед, развела ручки, вскинула подбородок – и в этот самый момент в дверь позвонили. Маша стушевалась и надула губки.

Марина встала.

– Я открою. Не переживай, дорогая.

– Я не переживаю, – пискнула Маша и насупилась.

Марина вышла – и вернулась через минуту.

– Ну и кто бы это мог быть? – воскликнула она. – Наша общая знакомая, баба-«орнитолог» Клава. Мама, – она повернулась к Иде, – она не немая. У нее кот пропал, спрашивает, вдруг мы видели. У нее еще и кот есть!

Сережа фыркнул.

– А мы, кстати, видели какого-то кота, когда к вам шли, – сообщила внучка. – Рыжий такой, у подъезда сидел.

Марина вздохнула. Потом посмотрела на часы.

– Это когда было… Так-так… Ладно, что ж делать – пойду сообщу. А ты, милая, – она наклонилась к Маше, – без бабушки не читай, пожалуйста. Мне очень интересно.

Маша кивнула. Марина улыбнулась и вышла. В кухне воцарилась тишина. Только приемник ворчал:

– И только потом мы все поняли, что же это значило и какие перемены нас теперь ждут…

– Так, дети, – нарушил молчание Сережа, – вам мороженого положить?

Девочки захлопали в ладоши и сели на свои места.

Пока уплетали мороженое – пломбир с клубникой – вернулась Марина. Все это время Ида сидела молча и слушала, как разговаривали о чем-то Сережа и внучка.

– Не знаю, пап, – говорила та, – не думаю, чтобы это было так важно.

– Это ты сейчас не думаешь. А когда подумаешь – тю-тю. Время-то и ушло.

В кухне появилась Марина.

– Время ушло, а я пришла, – сказала она и поставила чайник на плиту.

– Что с котом? – спросила внучка.

– Нашла. Нашли, – поправилась она. – Ходили вниз, ловили беглеца. Он забился под твою, Сережа, машину и вылезать не желал. Какой-то мальчонка помог – всю дорогу пузом вытер, но достал.

Девочки рассмеялись.

– А кот-то… Мокрый, грязный. Она заохала, в охапку – и бегом наверх. Намыливает его, наверное, теперь. В бане парит.

– Подружились? – засмеялся Сережа.

Марина смерила его презрительным взглядом.

– Вот еще. Пока не перестанет этих… – она поджала губы, – этих птиц потчевать... Да вы посмотрите только!

Все обернулись. По подоконнику, выпятив грудь, маршировал крупный голубь.

– Это вообще уже ни в какие ворота… – сообщил приемник.

– А ну брысь! – подпрыгнула к окну Марина и стукнула по стеклу ладонью.

Голубь опешил, попятился назад и, захлопав крыльями, ретировался.

– Мама, спокойнее, – мягко сказала внучка, – разобьешь ведь.

Марина цыкнула на нее через плечо. На плите заскрипел чайник.

– Так, кто пьет чай?

– Дети только что ели мороженое. Им, наверное, не надо.

Марина открыла шкафчик и извлекла из него три белоснежные фарфоровые чашечки.

– Хорошо, – сказала она, – в таком случае, юные леди, идите с прабабушкой в ее комнату и поиграйте там. А нам тут надо устроить маленькое заседание, – она повернулась к Иде. – Мама, понянчишь?

Ида с готовностью кивнула, Сережа помог ей подняться. Девочки побросали ложки и выпорхнули в коридор.

Когда Ида вошла в свою комнату, девочки сидели на ее кровати и шептались. Мягко светил абажур, комната тонула в полумраке.

– Ида! Ида! – закричали девочки. – Расскажи сказку!

Ида улыбнулась, прошагала к окну. Проспект полыхал фарами и вывесками, которые скользили, качались и плыли в темном океане петербургского вечера. Небо было затянуто тучами – ни луны, ни звезд. Еле заметно мерцали шпили и башенки, стекло было усеяно каплями, но дождь уже прошел.

Ида сдвинула шторы, повернулась к правнучкам и устало опустилась на табурет.

– Сказку? – переспросила она. – О чем?

Девочки пожали плечами.

Сонно стучали часы, из кухни тянулся ручейком негромкий разговор. Где-то наверху послышался шум – будто двигали мебель. Ида помолчала немного, собираясь с мыслями – и начала:

– Когда я была такой же махонькой, как вы… Ну, может, чуть-чуть постарше, – я, как и вы, ходила в школу. И была у меня подружка. Ира. И непоседа ведь, хоть стой хоть падай, – болтушка, хохотушка. Ну точь-в-точь – вы.

Девочки радостно заерзали.

– Семья у Ирки была – прямо самые настоящие богачи. И была у них дача – чтоб, значит, в ней летом жить. Снимались с места всей семьей – и туда. А там – беседки, яблоньки, лес рядом.

– У нас тоже дача есть, – сказала Маша.

– И вы – богачи, – улыбнулась Ида. – Ну, вот и позвала меня как-то Ирка на эту самую дачу. Родители между собой все порешали загодя – и нашли, что, дескать, не такая уж это и плохая идея. И ребенок воздухом подышит, и родители спокойны – не по улицам шастает, а вроде как под присмотром. Привезли меня, с рук на руки сдали – и уехали. А я, значит, осталась. За столом посидели, в куклы поиграли, Ирка и говорит: «Пойдем, – говорит, – в лес гулять». «А отпустят?» – спрашиваю. Меня-то в строгости держали, ни-ни. «А мы быстро, – отвечает, – и глазом моргнуть не успеют». Ну, отчего ж не погулять? Вышли тихонько да и ну себе мимо домиков, через поле – а там и лес.

По подоконнику застучало – снова пошел дождь.

– Ну и, как это положено, значит, в сказках, мы, понятное дело, заблудились. Ходили-бродили, плутали-плутали – не видать тропинки. Ирка тогда села у дерева – и рыдать. А за ней и я. Сидим – рыдаем. А тут вдруг раз! – тучи, ветер, солнце скрылось. Темно, хоть глаз коли.

Ида перевела дух. Слова медленно ползли друг к другу, слипались в предложения и караванами ползли по комнате.

– Вдруг слышим – шаги будто бы. Да тяжелые такие, точно медвежьи. Мы в дерево вжались – ни живы ни мертвы. А шаги все ближе. Бух, бух. Выглянуть бы да посмотреть – кто там? – а страшно же. Дрожим, точно листки.

Девочки прижались друг к другу и распахнули глаза. Ида смутилась – еще испугаются.

– Вдруг, откуда ни возьмись, вылетает птичка – махонькая такая, пестренькая. Прямо перед лицом у нас затрепетала – и ну в сторону. А потом опять к нам. И снова в сторону. Зовет будто. «За ней!» – командует Ирка. Она та еще командирша была, только дай волю. Я соглашаюсь. А шаги уже совсем близко – бух-бух, точно кто поленом по земле громыхает. Вскочили и – только пятки сверкают. А птичка перед нами. Ирка бежит и говорит мне: «Надо бы обернуться, обернись, Ида, пожалуйста». А у меня самой душа в пятки ушла. «Нет, – отвечаю, – ты уж будь добра сама обернись». Ну и бежим не оборачиваясь. А шаги не отстают. Ирка тогда мне говорит, прямо на бегу: «Ты, Ида, меня прости, что я тебя в такую авантюру ввязала, это все я виновата». А я ей: «И ты меня прости, Ира. За что-нибудь». В чем-то я ведь перед ней наверняка провинилась, не могло же такого быть, чтоб совсем без вины. И бежим дальше.

Голоса на кухне зазвучали громче, послышался свист чайника.

– А лес, глядим, понемногу-то редеет. Вот уж вдалеке и свет показался, яркий такой. Птичка все шустрее, мы тоже, а позади грохот стоит, будто деревья падают. Страсти-то какие! Ирка, вижу, – отставать. Я ее за руку – раз! И тащу за собой.

Девочки задержали дыхание и даже привстали на кровати.

– Р-раз – и выбегаем из леса. И оказываемся как будто в саду или вроде того – цветы разные, кустики. И солнце – яркое-яркое, ну прямо слепит. Тут грохот за спиной и затих.

Девочки выдохнули.

– Ну, мы, понятно, продолжаем бежать – все остановиться не можем. И попадаем на широкую аллею. По обеим сторонам яблоньки, вот как у нас на даче, вишенки. Мы, значит, замедлились, идем шагом, пытаемся отдышаться – а совсем остановиться боимся. Обернулись на лес – ничего не видать, все как будто тихо. Идем, дрожим. Видим – в конце аллеи дом агромадный, ну прямо дворец! Колонны, статуи, фонтан – все как полагается.

За окном завыл протяжно ветер, Ида вздрогнула.

– А птичка-то наша, смотрим, прямо к дворцу тому и летит. И нас как будто зовет. А мы уже еле ноги волочим. Но идти идем. Ирка мне говорит: «Наверное, в этом дворце живут король и королева». «Откуда ж им тут взяться, – говорю, – рядом с твоей дачей?» Пожимает плечами. А кругом – красота неописуемая, куда ни глянь – все цветет, все пахнет, ветерок теплый, и как будто даже музыка звенит – тихонечко.

Дверь в комнату приоткрылась.

– Вы чего в темноте сидите? – спросила внучка, потом посмотрела на девочек. – Юные леди, собираемся.

Девочки рассеянно посмотрели на мать, потом принялись возмущаться.

– Никаких но. Мне рано вставать. На выходных дослушаете, так ведь, ба?

Ида кивнула и поднялась с табуретки. Затекшие ноги ныли.

В прихожей, когда кутались в куртки и шарфы, девочки подскочили и зашептали:

– Ида, а что вам было за то, что вы убежали?

Ида задумалась.

– Я целый месяц по грядкам дежурная была – с утра до ночи. А Ирку – вообще вон, за границу увезли. Чтоб неповадно было.

Девочки понимающе закивали.

– Мам, пап. Спасибо за гостеприимство, – сказала внучка. – Ба, будь здорова.

И она подняла вверх сжатый кулак.

– Как доберетесь, позвони, – сказал ей Сережа.

– Хорошо.

Обнялись, перецеловались. Девочки прижались к Иде, чуть не свалив ее с ног.

Ида потрепала их по головкам, пожала маленькие теплые ладошки. Дверь открылась, пахнуло подъездом, холодом и табаком, потом закрылась – и в прихожей стало вдвое меньше людей.

– Мама, ты как?

– Ничего.

– Пойдешь спать? Поздно уже, – она подошла к матери и пригладила ей ладонью волосы. – Как посидели с детьми?

Ида засмеялась.

– Просто замечательно.

– Ну и славно, – сказала Марина. – Они тебя так любят. Просто души не чают.

Ида пожала плечами.

– Это потому что ты такая добрая, – улыбнулась Марина и поцеловала Иду в щеку. – Спокойной ночи.

Она закрыла дверь на ключ и посмотрела в глазок. Потом все разбрелись по комнатам.

Ида расстелила постель, подошла к окну, зачем-то погасила торшер. Отодвинула штору, всмотрелась в темную пелену. Тучи поредели, в проталинах мерцали звезды. Луна выглянула на мгновение и тут же спряталась. Проспект жил обычной шумной жизнью.

Ида вернула штору на место, подошла к кровати, легла. Было тихо. Глаза привыкли к темноте, и Иде показалось, что комната расширяется – стены, потолок, часы, картина расходились куда-то в стороны, точно устали друг от друга.

Иде было грустно. Она стала прислушиваться – не идет ли дождь? – и скоро уснула.

ГНЕЗДО

Дед стоял за печь горой. «Не позволю!» – стучал он кулаком по столу и грозил длинным крючковатым пальцем. Отец хмурился, тер виски, но против деда не шел. Мать не вникала.

Печь занимала треть кухни – белая, теплая и мягко-шершавая – будто намелованная. Гости шарахались от нее, боясь за пиджаки и свитера. Дед смеялся над ними и хлопал по теплым бокам, демонстрируя чистые ладони.

На печь можно было забраться – по узенькой лесенке сбоку – и устроиться под самым потолком на цветастом одеяле, в горячем и сухом «гнезде». Так говорил отец. Из гнезда можно было наблюдать за происходящим на кухне – например, за тем, как кот пытается стащить со сковороды отбивную, а мать гоняет его полотенцем, или за тем, как спорят затемно отец и дядя, поглощая в жутких количествах терпкий черный чай. Дядя шевелил усами, горячился и яростно жестикулировал, а отец откидывался на стуле, складывал руки на груди и посмеивался. В гнезде можно было дремать, укутавшись, можно было прятаться ото всех, вжавшись в стену и затаив дыхание, можно было листать истрепанную, пыльную книгу.

А дед в гнезде слушал радио.

Зайдет на кухню; под мышкой личное сокровище – древний увесистый радиоприемник под дерево, с вытягивающейся вверх антенной и отломанным регулятором громкости. Повертит головой, покряхтит, вытянет из хлебницы пару сухарей. Потом вздохнет – и давай карабкаться по лесенке. Охая, ахая, хрустя суставами, устроится в гнезде, завернется в одеяло, поскребет бороду, щелкнет приемником и прижимает его к уху – иначе не услышать ничего. Чинить не дает, боится. «У вас, – говорит, – руки кривые. Вам такой тонкий инструмент доверять нельзя».

– Выкинь ты свой тонкий инструмент, батя, – смеется отец, – рухлядь же. Мы тебе новый купим, японский.

– В голове у тебя рухлядь, – отвечает дед, – а радио не трожь. В японском души нет, а сей мне прилюбился уже.

Отец все смеется, не спорит.

По негласным правилам деду касательно гнезда предоставлялось безусловное преимущество. Если он заставал на печи нас с братом, то шикал, делал страшное лицо – и мы исчезали.

Радио дед мог слушать ночами напролет. Покрутит ручку, найдет волну, прижмется к коробке – и замирает. Тогда кругом него хоть земля трясись, ничего не видит. Дядя зайдет, поздоровается, а дед не отвечает – весь *там*. Ночь на дворе, свет погасят, тихо; только и звуков что кот ворочается в углу, в печи что-то потрескивает да дед сопит из-под потолка. А то возьмет да и захрапит – раскатисто, с переливами. Отец тогда

выходит из комнат, расталкивает старика, уговаривает перебраться в постель. Дед спросонья ворчит, но соглашается – сползает по лесенке, ковыляет к себе.

Однажды зимой, ближе к вечеру, спрятался я в гнездо. Выжидаю. Зашла мать, помыла посуду. Постояла у окна. За окном яблоня, за яблоней сарай, за сараем забор, а там небо в облаках. Солнце заходит уже, выглядывает из-за забора, разливается огнем. Все белым-бело, на сарае снежная папаха. Облака ну прямо горят. Хорошо. Мать постояла – постояла, да и ушла.

За окном пробежал с соседскими мальчишками брат. Летят снежки, слышен хохот. Я жду.

Появился кот. Прошагал деловито до обеденного стола, запрыгнул, обнюхал. Перебрался на подоконник, уселся носом к стеклу – наблюдает.

В печке трещит тихонько. Солнце – за забором уже, а облака все горят. Жду.

Зашел отец, выпил воды, сел у окна. Потрепал кота по спине, пробормотал что-то задумчиво. Уходя, подмигнул мне. Конспирация провалилась. Но это отец, от него не спрячешься.

Жду деда. Над забором небо еще пылает, но выше – густая синь. Яблоня гладит голыми ветвями крышу сарая, на папахе остаются борозды. Кот сидит неподвижно, наблюдает за редкими снежинками, которые ползут сверху вниз. Я наблюдаю за котом. Наблюдаю, наблюдаю да и засыпаю, размякший от тепла и тишины.

Просыпаюсь от голосов.

– Не позволю! – скрипит дед и стучит кулаком.

Он сидит на табуретке и вертит в руках приемник. Горит лампа, за окном темно. Напротив деда сидит отец, пьет чай. От чая вьются ниточки пара, отец дует на кружку, цедит понемногу.

– Батя, – басит он, – ну на что она тебе?

– Не позволю, – бубнит из-за бороды дед. – Вот помру – хоть весь дом разбирайте.

– Так ведь и соседи уже смеются, ни у кого такой нет.

– Пущай смеются.

– Что ж ты так уперся-то?

– Захотел и уперся. Твой дед эту печь ставил, душу вкладывал. Погляди, как мальцам она по душе, – тычет пальцем на меня. Я юркаю обратно.

Отец вздыхает.

– Чудак ты, батя, стал, – говорит, – совсем чудак.

Дед не отвечает, вертит приемник. Потом зевает, встает и шаркает к печи.

– Слезай, шалупонь.

Я тру глаза и соскальзываю вниз. За мной увязывается кот, пытается прошмыгнуть в комнаты. На пороге оборачиваюсь и вижу, как дед жмется ухом к приемнику. Его лысая макушка, голая и ровная как шар, блестит в свете лампы.

Кот воспользовался моим замешательством и просочился-таки вглубь дома.

Той ночью меня разбудил грохот – дед, слезая с печи, оступился и упал с лесенки. Сломал руку. Пока отец собирался и грел машину, дед сидел на кровати и тихо постанывал. Мать кружилась вокруг него, поднося вещи, воду, помогая влезть в куртку.

Вошел в комнату отец – в верхней одежде, не разувшись.

– Марш спать, – приказал он нам с братом.

Взял деда под локоть и повел в коридор.

Когда они уехали, мать зашла к нам и сказала:

– Я к соседке. Ненадолго. Спите или со мной пойдете?

Мы к соседке не хотели

– Ты за старшего, – сообщила мать брату и ушла.

Воцарилась тишина. В комнате деда горела лампа, и у нас, с открытой дверью, было совсем светло. Я не мог спать. Ворочался, мял подушку, а потом тихонько встал.

– Ты куда? – спросил сквозь сон брат.

– В кухню, – и я зашлепал босыми ногами по полу.

Из-за окна лилось сквозь занавески холодное белое сияние, но в кухне все равно было темно. Я зажег абажур и уселся за стол. В печи тихонько трещало. На подоконнике, свернувшись калачиком, дремал кот. В углу, под табуретом, лежал одиноко приемник с погнутой антенной.

Я нагнулся, поднял. Повертел, приложил к уху – там неразборчиво шипело. Погасил абажур, сунул приемник под мышку и полез на печь.

В гнезде было по-обычному жарко и сухо. Я вжался в угол и поднес приемник к лицу. Его пересекала белая полоса с цифрами и черточками. По полосе, если крутить ручку, полз маячок. Я принялся двигать его вправо-влево, то и дело прислушиваясь. Звук был ужасно тихим – ничего не разобрать. Наконец маячок добрался до какой-то заветной черточки – и до моего слуха донеслась более-менее отчетливо музыка. Я приник к гладкому пластиковому боку. Пели про пальмы, море и закат. Кухня плыла серебряными бликами, мерцала таинственно. Меня здорово разморило, я подтянул к подбородку одеяло и укутался в него.

После песни про пальмы диктор со смешной фамилией принялся монотонным голосом читать историю про какого-то мальчика, которого везли через степь в город. Мальчик сперва ехать не хотел и плакал, а потом только скучал и бродил по округе на привалах, а вокруг него суетились какие-то люди – приятные и не очень.

В глубине печи потрескивало, где-то в противоположном углу кухни завел свою песню сверчок.

А мальчик все ехал и ехал в своей телеге. День сменял ночь, вокруг кричали птицы, лаяли собаки, разговаривали, считая деньги, люди. Я сперва слушал внимательно, потом куда-то поплыл, – и не заметил, как уснул. Снилось мне, что я еду через степь и рядом со мной сидит дед. Он то и дело поворачивается, улыбается из-за бороды и показывает торжествующе ладони – то ли чтобы продемонстрировать их чистоту, то ли чтобы сказать, что с рукой у него все в порядке. Степь застелена ровным слоем шуршащей травы, вдалеке темнеют на фоне неба холмы. С неба тянется редкий снежок, тает, не касаясь земли.

Наутро отец привел домой рабочих – и они в два дня разобрали печь. Нам с братом до слез было жаль теплого гнезда – и мы плакали, сидя у деда на кровати. Дед здоровой рукой гладил нас по головам и бормотал что-то ободряющее.

Олег МАКОША

Родился в 1966 году в Горьком. Работал слесарем в трамвайном депо, охранником, строителем, заведующим гаражом, консультантом в книжном магазине.

Лауреат премии журнала «Флорида» 2012 года. Живет в Нижнем Новгороде.

АЛКА ЗЕЛЬЦЕР

Мы не виделись лет двадцать пять, и когда столкнулись в магазине, она сразу после «здравствуй» сказала: как ты постарел.

Я, конечно, не стал отвечать, мол, на себя посмотри.

Я промолчал – всегда теряюсь в такой ситуации безапелляционных заявлений очевидного, но подаваемого как откровение, причем посетившее заявителя в одностороннем порядке.

Ах ты ж боже ж мой! Как ты постарел!

А ты как будто нет.

Зовут ее Алла, судя по всему, она думает, что обладает отрезвляющим эффектом, поэтому логично дать ей фамилию – Зельцер.

В общем, я выдавил улыбку и сказал: время-то идет.

Двадцать пять лет назад, а точнее, тридцать шесть лет тому, она была тонкая, звонкая, умная, красивая, загадочная и, не буду врать, сводила меня с ума. Любому, кто пытался срифмовать по тогдашней подростковой похабной, согласно возрасту, моде: «алка – давалка», я бил в зубы. Однажды разбитые костяшки распухли, загноились, потемнели, и под толстой наросшей кожей явно прощупывалась какая-то мерзкая субстанция, типа кровавого гноя. Я содрал болячку и ходил с перебинтованной рукой с полгода, если не больше. За это время на меня успел наехать некий местный молодой лев, жаждущий жизни, и мы забились перенести драку на время, когда рука заживет. Но она не заживала. Лев глумливо торжествовал и однажды, встреченный нами в кинотеатре на фильме с Бельмондо, был избит моим корешом Коляном. Просто так. В назидание и потому что надоел.

Бил его Коля внизу у выхода из зала.

Бил приговаривая: ты зачем, сука, мешаешь культурному отдыху трудового крестьянства? (Коля был из деревни Грабиловка.)

А Алка меня сдала чуть попозже.

Сдала, конечно, по моим и божеским меркам, по девичьим она не сделала ничего предосудительного. Молодой лев с приятелями завел с ней фривольную беседу, полную опять же по тогдашней (или вневременной?)

моде сексуального игривого подтекста, а в конце прошелся по мне, и Алла с ним согласилась. Иди на хрен, сказал я льву на перемене, хочешь, чтобы я тебе торец подравнял, чушок? Докажу, парировал лев. Ну.

И доказал.

Есть военное слово «рекогносцировка». Оно как нельзя больше подходило к ситуации. Мы пришли в подъезд Алки и огляделись. Лев предложил схему. Я встал ниже на одну площадку – между шестым и седьмым, а он, выше этажом, позвонил в дверь ее квартиры. Это была диспозиция, если уж продолжать пользоваться военными терминами. Дальше битва. Алка вышла, и лев затеял с ней тот же примерно разговор. Тогда с девочками беседовали на лестничных площадках часами. Мне было хорошо слышно. Она опять подтвердила. Я сейчас уже не помню. Допустим, он сказал: Олег ведь чмо? А она сказала: конечно, и засмеялась.

Я пошел вниз пешком. Я быстро пролетел все ступеньки, стараясь сделать это по возможности бесшумно, и вышел из подъезда.

Грудь мою разрывало бешенство пополам с дикой злобой на предательство Алки. Я был уверен, что у нас взаимная любовь. Я был уверен, что мы пойдем друг за друга на костер, Голгофу или куда там еще ходят фанатики. Я был уверен, что она никогда не станет говорить мерзким кокетливым игрушечным голоском с таким говном, как молодой лев, жаждущий жизни. А она говорила… А она не пошла, а она… И так далее…

Я даже не стал дожидаться чувака, чтобы разобраться. Предъявить ему по нашим, опять же тогдашним, понятиям было нечего. Можно было только свалить внезапным ударом в лицо и с наслаждением бить ногами, до тех пор, пока тошнотворная усталость не сменит кровавый туман в голове и перед глазами. Но до такого все-таки мы, слава богу, не доходили.

Я поплелся домой.

Наверное, я курил одну за другой, не помню. Мы, мальчишки, всегда в подобных нервных ситуациях много курили. Мне и сейчас иногда хочется закурить, когда я психую. Хотя бросил десять лет назад. Курить, не психовать.

А спустя еще некоторое время мне стало стыдно.

Сразу и за все.

За весь этот сволочной случай «доказательства». Я не мог понять, как сумел втравить себя в поступок бесконечно унижающий Алку. Мне было стыдно и больно за нее. На себя стало наплевать, все обиды и амбиции ушли куда-то. Остался только сырой, как руда, стыд. И ощущение, будто вляпался во что-то похуже коровьей лепешки, в которую я однажды наступил на турбазе.

Может, тогда я чуть-чуть повзрослел.

А может, и нет. Все эти россказни про внезапное взросление после экстраординарных случаев – полная ерунда. Люди не взрослеют никогда, так и помирают с обидами, испытанными в четвертом классе после летних каникул…

Молодой лев меня больше не интересовал, и я совершенно не знаю, что с ним сталось. А Алка спустя двадцать, что ли, лет со дня последней, тоже случайной встречи, увидела меня в универсальном магазине, сощурилась и сказала: как же ты постарел.

Даже вот так – ого, как же ты постарел!

ДЕЛИКАТНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Рае Бронштейн с любовью

Миша Исаков – деликатный человек.

Вчера, пока он с книжкой в туалете сидел, жена на работу собиралась и, уходя, выключила свет. Сказала «пока» и выключила. В том числе в туалете. Миша даже не заорал, так и просидел в темноте, пока все дела не доделал. На ощупь.

Книжка у него – «Кащеева цепь» Михаила Михайловича Пришвина. Миша его очень любит, и за то что тезка, и за плавную размеренность повествования. Успокаивает. Примиряет. Учит видеть прекрасное, там, где оно не ночевало. Опять же сплошная природа, а она не обидит. Или обидит? Трудно разобраться. А вообще Пришвин тоже человек деликатный, несколько самоуглубленный. Так и не заметил советскую власть на местах.

В романе Пришвина Мише особенно нравились диалоги, например: «– Держись поумнее, безобразием нашим не хвались. – Каким безобразием? – Обыкновенным безобразием, что бога нету, что царя не надо. Тебя с волчьим билетом выгнали...»

Миша в этих строках находил много верного и сходного со своей судьбой. Тоже случалось в ней всякого, и с волчьим билетом выгоняли из школы, и чем похуже грозили, а все из-за нее, из-за деликатности.

Деликатным Миша был с детства, точнее сказать, он таким родился. Он и вылезать-то не очень хотел на белый свет, все сопротивлялся, как чуял. Но это тема затертая, и останавливаться на ней мы не будем. А деликатность Мишина проявлялась по-разному, но всегда. То к однокласснику в гости придет и постесняется позвонить в квартиру. Так и будет стоять на лестничной площадке до вечера, наблюдая, как кончается долгий летний световой день, пока Юрка Туманов не выйдет по каким-то своим делам и не удивится. Ты чего, спросит, тут делаешь? Тебя жду, ответит Мишка. А чего ж не звонишь? Не знаю. А если бы я не вышел?

А то в автобусе на ногу наступит мерзкая старуха с бородавкой и кошелкой, а Миша так и едет до конца, не прогонит, не возмутится. Пот со старухи капает, а он терпит, дыхание у нее тоже не ванилью отдает…

Вот в том-то и дело.

Уголовники для таких людей даже термин специальный придумали, «терпилы». Ну, может, не для таких, но Мише очень подходит.

Он потом от этой деликатности специально учился избавляться. Подростком. Когда понял, что так не прожить. Точнее, когда ему окружающие объяснили. Доброжелатели. И почти научился, даже один раз подрался. Заступился сам за себя. Хулиган его оскорбил около парикмахерской, а Миша ответил, в том смысле, что вы не правы. Хулиган

страшно развеселился и ударил Мишу по лицу. Было очень больно и обидно. Миша почти заплакал. Но не заплакал. А хулиган еще два раза стукнул Мишу, и под глазом образовался огромный синяк. Дома Миша не знал, как объяснить маме происхождение травмы, и сказал, что упал. Мама поверила. Или сделала вид, что поверила. Мама не всегда желала знать правду, иногда ей было удобнее поверить в предлагаемые обстоятельства, чтобы сохранить уютный баланс жизни. Или не уютный, а хоть какой. Человеку, бывает, с трудом удается выстроить взаимоотношения с окружающим миром, и избитый сын может мгновенно и непоправимо разрушить схему.

Но Миша, конечно, на маму не обижался.

На мир – да, а на маму – нет.

Хотя чувствовал тонко, как с листа.

Еще Мишка в детстве любил читать. И тут не поймешь, что следствие чего. Чтение – деликатности или деликатность – чтения. Любимым был гениальный рассказ «Мишкина каша». Очень веселый, очень добрый, очень «свой». И опять совпадение имен, что в детстве всегда кажется знаком, а впоследствии оказывается ничем.

Есть уютное чтение, которое помогает создавать норку, сейчас бы сказали – виртуальную, а тогда Миша никак это не называл, просто любил замкнутые пространства. Каюты, кладовки, бытовки, сторожки, маяки, вагончики, гаражи, закутки, схроны, блиндажи, окопы, доты, дзоты, шалаши, все, что давало хрупкое чувство защищенности.

Он с мальчишками строил такой шалаш, под названием «хибара» в овраге на речке «Парашке», оказавшейся впоследствии рекой с индийским названием Рахма. Почти брахма. Хибару-то они построили, и даже печку из старой стиральной машины там приспособили, но ее, хибару, тут же сожгли местные хулиганы во главе с юным шепелявым уголовником Гвидоном.

Мишка почти не горевал.

В его жизни многое было «почти». Может, из деликатности – не хотелось давить и утверждаться в правах, а может, из-за лени, спасающей от удачной карьеры в обществе. Разве по-настоящему поймешь.

А мальчишки расстроились.

А Мишка уже тогда понял, что так будет всегда. Он строить – они сжигать. Он рисовать – они рвать. Он лепить – они топтать. Он выпивать – они увольнять. Он любить – они предавать (Мишка – художник-неудачник в областном драмтеатре). Он созидать – они…

Так что, когда жена, уходя на работу, крикнула «пока» и выключила свет в туалете, Миша Исаков даже не заорал. А вытер задницу на ощупь, а как по-другому? И пошел дальше жить.

ОДИН ДЕНЬ

Два лучших друга Вася Шлакоблоков и Семен Коржик с утра пораньше решили погулять. Встретились на углу, Вася достал приготовленную бутылку водки, и друзья ее распили. Тут же. Закусили чем бог послал, то есть сигаретой. Потом обнялись и разошлись по домам. Где у Васи злая жена, а у Семы больная мама. И это утреннее распитие – единственная отдушина в жизни. Что, конечно, плохо, с точки зрения подорванного социального и физического здоровья. Но хорошо с точки зрения гуманности и профилактики самоубийств. Потому что спустя некоторое время Вася мог бы повеситься от невыносимой тоски, а Сема спиться вдрызг от того же. То есть не так все это могло случиться, если бы не выпиваемая время от времени бутылка водки возле закрытого киоска, торгующего мясом. А так не произошло. Спасла бутылка.

Два лучших друга Вася Шлакоблоков и Семен Коржик с утра пораньше решили опохмелиться после вчерашнего. Встретились на углу, Вася достал приготовленную бутылку водки, и друзья ее распили. Тут же. Закусили чем бог послал – прихваченной Васей из дома краюхой ржаного. Покурили, обнялись и разошлись по домам. Где у Васи злая нелюбимая жена, а у Семы больная любимая мама. И это утреннее распитие – единственная отдушина в жизни. Что, конечно, очень плохо с точки зрения моралистов, но хорошо как профилактика стрессов. Но моралисты правы, потому что спустя несколько лет оба друга обязательно сопьются вдрызг, замученные: водкой, терпением и обязательствами. Или один из них повесится, а другой сопьется.

Два лучших друга Вася Шлакоблоков и Семен Коржик с утра пораньше решили встретиться около закрытого киоска, торгующего мясом. Встретились, обнялись, Вася достал приготовленную заранее бутылку, и друзья ее распили. Тут же. Без закуски и закурки. Просто так. Поговорили о том о сем и разошлись по домам. Где у Васи злая нелюбимая жена, а у Семы больная мать. И это утреннее распитие было бы единственной отдушиной в жизни (что плохо со всех точек зрения), если бы Вася с Семой не научились потихоньку радоваться жизни. Например, разводу с нелюбимой женой, улучшению состояния любимой матери, повышению на работе, собаке, прибежавшей на свист, новой встрече. А так бы могли спиться вдрызг. Или повеситься. Но бог миловал.

ПОЛУБОЯРОВА

Она врет каждым словом, мадам Полубоярова. Широкая, как рыбацкая плоскодонка, шуршащая платьем-парусом. На ногах сапоги гренадерского размера, на голове – вавилоны. Пальцы в дешевых перстнях (я не видел, точнее, никогда не обращал внимания, но думаю – в них, должны быть). У таких пальцы всегда в крупных перстнях. Заходит – улыбается, уходит – смеется. Душка, в общем.

Она хорошая, просто бесит меня дико.

Своей ложью. Хотя это не ложь. Это ее мир. В нем она права, элегантна и справедлива. Как мы все в своих мирах. Нормальная шиза.

Видит черное, говорит белое, ты ее поправляешь, она удивляется, а разве я не то же самое сказала?

Но ведь это «белое» в нашем нормальном мире, а в ее – «черное». Или синее. Или фиолетовое. Или какая разница, главное, она так видит.

У нас директор тонкий интеллигентный человек в очках с мощными диоптриями, измученный и издерганный повседневностью. На работу приходит, когда захочет, но каждый день. Или не каждый, но по возможности. Или как получится. В общем, творческая неординарная личность.

«У нас» – это в бюро. Лучше так – Бюро.

Мы располагаемся каждый за своим столом. Перед нами мониторы, за нами – зарплата. По бокам коллеги.

Иногда я отвлекаюсь, смотрю на сидящую слева от меня Ленку Голлидэй, похожую скорее (как в известном анекдоте) на симпатичного мальчика, чем на страшную девочку, и думаю, что, возможно, мир и правда бисексуален. Недаром же Шекспир писал: ту би или не ту би? Вот они – би.

Потом сосредотачиваюсь на текущих делах.

Пытаюсь сосредоточиться.

Полубоярова иногда приносит нам работу, «подкидывает халтурку» (ненавижу эти уменьшительно-ласкательные!) и дружит с директором.

Не факт, что и он с ней.

Иногда вместе с мадам приходят какие-то непонятные личности, и тогда Полубоярова устраивает экспресс-экскурсию по нашему крохотному офису. Директора сейчас нет, говорит она в таком случае, потому что сегодня четверг, а четверг – это единственный день, когда у него выходной (наглая ложь).

Дальше она поводит рукой в сторону стены, где у нас развешаны всевозможные дипломы в застекленных деревянных дешевых рамках. Она говорит, все эти похвальные грамоты висят здесь просто так, для антуража, вы ведь понимаете? Не обращайте внимания, Полубоярова заговорщицки, по-свойски смеется…

И это наглая ложь.

Я стискиваю зубы, чтобы не вякнуть чего-нибудь неподходящего. Все дипломы, благодарности и прочие поощрения заработаны нашим коллективом в кровавой и беспощадной борьбе с другими капиталистическими акулами в океане мелкого и среднего бизнеса.

Обидно.

Она продолжает врать, а мне наконец-то удается включиться в работу. Но все равно, вглядываясь в монитор, краем уха я слышу ее бормотание, которое бесит и мешает полноценно трудиться. Заткнись и уйди, мысленно молю я Полубоярову. Она не внемлет.

Обвиняю я только себя.

Всегда и только.

И потому, что где-то в самой глубине души считаю, что она несчастное и очаровательное существо (а как же иначе?), и потому, что так принято. Большинство знакомых воспринимает меня как гуманиста, любящего и понимающего людей. Сострадающего. На самом деле это не так. У меня нет ни малейшего сочувствия к Полубояровой. А то, что якобы есть, то, что видится, я выдавливаю из себя на поверхность по капле, как Чехов выдавливал раба. Выдавливаю, потому что от меня этого ждут – Дима Никритин должен быть отзывчивым и интеллигентным. Так меня воспринимают люди. Такой создался образ.

Но, мне кажется, я об этом уже говорил.

По выходным я хожу в кино в ближайший к моему дому торговый центр. Там покупаю билет в маленький кинозал на последний ряд, сажусь и смотрю фильм. Мне все равно какой, я готов смотреть все подряд. Даже российское. Последний раз рядом со мной сидела одинокая молодая симпатичная барышня с ведерком попкорна. Тогда я утешился: мое одиночество по сравнению с ее – семечки. Я не барышня, не молодая, не симпатичная. Чего мне ждать…

Еще я часто думаю о подступающей старости. О том, как это будет.

Моя семидесятипятилетняя мама говорит, в шестьдесят пять – можешь все, в семьдесят – почти все, в семьдесят пять – сначала думаешь, сумеешь ли, – потом делаешь. Она имеет в виду оцениваешь свои силы.

Я прикидываю (не в первый раз), сколько лет мадам Полубояровой. Определить трудно, но однозначно гораздо больше чем мне, и ничего – жива, здорова, всепобеждающа. Убедительна. Самодостаточна (вот еще ненавистное слово, после «энергетики» на втором месте).

Завтра новый рабочий день. Я жду и не жду его одновременно. Утром встану, почищу зубы, побреюсь, доеду на троллейбусе до офиса, поднимусь, войду, усядусь за свой стол и начну работать. Потом придет Ленка Голлидэй, потом Павлик Плохов, следом Павлик Башмаков, а ближе к обеду мадам Полубоярова.

Придет и начнет врать.

А я ненавидеть.

И молчать.

Хотя мне не семьдесят пять лет. Но у меня ощущение, что я уже. Сначала думаю, а потом делаю.

Или не делаю.

Не делаю, конечно.

ГЕРМАН

У Германа зрение так себе – возраст, плюс занятия с тяжестями с самого детства. А очки не хочет покупать, считает, ни к чему. Устраивает его этакая приятная размытость – грязи не видно. В общем, ходит без очков.

Из-за этого все чаще попадает в дурацкие ситуации. Не узнает знакомых, которые обижаются. Намедни Ирку Чехову на рынке не узнал, срамота.

А третьего дня ходил на похороны штангиста Ивана Ивановича Зуммера.

За столом, понятно, все больше коллеги по боевой юности – тяжелые атлеты. Некоторые очень тяжелые, а некоторые – ничего, можно общаться. Очень Герман любит словечко «общаться», вворачивает где ни попадя. С Сашкой, ему сейчас, наверное, уже за семьдесят, вместе хулиганили по месту жительства на площади Сенной, а с Колькой тренировались на «Воднике», с Пашей ездили на соревнования и сборы, с другим Колькой тоже вместе выступали.

Герман тогда с хулиганством завязал и ушел в спорт, который его спас от тюрьмы. От сумы не спас, а от тюрьмы – пожалуйста. В школу не хотелось, а на тренировку хотелось. Сидел зимой в подъезде, а летом болтался около рынка, ждал время. Радостно бежал на стадион, у них там под трибунами было место для занятий – тяжелоатлетическая секция. Помещение неотапливаемое, но это все ерунда, быстро разогревались так, что пар валил.

А сейчас сидят, поминают штангиста Ивана Ивановича Зуммера, что помер. И как полагается, после третьей рюмки, минут через сорок, заговорили о постороннем, в данном случае былом. Вместе же росли. А встречаются сейчас, ясно где – только на похоронах. Все так. И Герман возьми да ляпни, что силы еще ого-го, и он спокойно присядет со ста шестьюдесятью килограммами на плечах. Да иди ты, заржал Паша Башмаков, а друг Сашка подтвердил: Герман сядет! Не сядет, влез Леня Зайков, ни за что, года не те. – Те! – Не те! – А я говорю, те! – Тю?!

Короче, поспорили, «забились», как у них было принято говорить. Дайте только мне две недели на подготовку, попросил Герман. Да пожалуйста. Ну и ладно. А призом у них стал коньяк, и не простой, а дорогой, не дешевле трех тысяч рублей. «Пятизвездочный?» – спросил Герман. Сейчас по-другому меряют, научил его друг Сашка, сейчас все по цене.

Забились и забились. Герман, как вполне себе ответственный товарищ, отправился в ближайший к дому спортзал тренироваться. Лежа жмет, приседает потихонечку, по утрам еще вокруг парка «Дубки» бе-

гает вместе с собаками и алкашами, старается. А что-то не идет. То есть идет, но вяло, присел, допустим, с восьмьюдесятью кило – нормально, аж на пять раз, а дальше боязно, нет уверенности. Но дополз-таки до ста двадцати, как-никак старая школа – советская, лучшая в мире, а его, Германа-юниора, вообще сам Алексеев хвалил в далеком семьдесят первом, мол, техника на загляденье. Вот на этой технике и присел сто двадцать. И все… Решил уже за коньяком отправляться. Черт его знает, как выбирать, Сашке позвонит.

И вдруг поперло!

Помнил он это чувство отлично. Когда тело становится цельным и переполненным вырывающейся наружу силой сосудом. Нет, не сосудом, взведенным курком, пружиной – нажми, едва коснись – и выстрелит. (Тут ему в голову полез неприличный пример для сравнения, но Герман его быстро прогнал.) Взваливаешь на плечи сто пятьдесят, опускаешься вниз – сжимаешь стальную пружину в низшей точке, подрываешься и, распрямляясь, плавно, на мощнейшей тяге, поднимаешься вверх, радостно не чувствуя огромного веса.

Так и сделал, подлез под штангу, снял и спокойно присел пять раз.

А я что говорил?

Сашка, что крутился рядом при контрольном приседе, охнув, заснял, как самый технически продвинутый, несмотря на свои семьдесят лет, все это дело на телефон и позвонил Лене Зайкову. Абзац тебе, Заяц, сказал Сашка. Герман сто пятьдесят на пять сел, сто шестьдесят на раз – вообще не вопрос, беги давай за кониной! И заржал. Хочешь, видео скину? И скинул. Так что давай, готовь три штуки, орел.

Но орел после этого звонка пропал.

Выпал из обихода.

Ни на звонки, ни на письма не отвечает. То ли денег стало жаль, то ли обидно, что сам так не может. Скорее всего, денег.

Герман с Сашкой посудили-порядили и решили плюнуть. Чего с него взять, он и в детстве был говнюком.

Хотя горечь, конечно, осталась.

Поэзия

Олег РЯБОВ

Поэт и прозаик. Родился в 1948 году в Горьком. Окончил Горьковский политехнический институт имени А.А. Жданова. Работал в Научно-исследовательском радиофизическом институте (занимался проблемами внеземных цивилизаций), облкниготорге, издательстве «Нижполиграф».

В настоящее время – директор издательства «Книги». Член «Российского Союза антикваров», «Национального Союза библиофилов». Главный редактор журнала «Нижний Новгород», редактор-издатель альманаха «Земляки».

Член Союза писателей России с 2002 года. Живёт в Нижнем Новгороде.

ЕСТЬ У ОСЕНИ МНОГО ПЕСЕН...

* * *

Листаем мы воспоминанья:
Вокзалы, лица, города –
Измятых перед расставаньем
Пустых страничек череда.

Разлуки, встречи, анекдоты,
Года, свистящие в ушах,
И вдруг наткнешься – кто ты? Кто ты?
И переполнится душа.

Нахлынет с болью: в старом мире
Оставил я давным-давно
Тебя в слезах в пустой квартире,
Но возвратиться – не дано.

Сладка нам боль воспоминаний,
Когда за нею нет утрат.
Играет память в игры с нами
И вот – как будто бы вчера…

Нет, не забыто твоё имя,
И шепот, ну, и звонкий смех.

Что память? Это – только иней.
И снова холодно. И – снег!

* * *

Дождик лужу клюёт. Осень,
Журавли потянулись к югу.
Обозначили гон лоси –
Засмущались лосихи-подруги.

Лижет ветер своим шершавым
Языком холодную лужу.
Ну, так что мы с тобой решаем?
Может, я тебе и не нужен?

Есть у осени много песен
Про разлуку и про вагоны.
Только, если уж быть честным,
Ни к чему эти вздохи и стоны.

Ну, всплакни, ну, взмахни руками,
Только молча, прошу тебя – молча.
Ничего не случилось с нами –
Я опять позвоню тебе ночью.

Осень часто приносит смуту,
Осень остро ставит вопросы.
Если я ничего не спутал,
У тебя ведь не так всё просто.

Барабанят в окно капли!
Успокаивают? Тешат? – Ой ли!
Только душу всю расцарапали,
Раскровенили всю до боли.

Стрекоза

Какой кузнец тебе ковал
Твои серебряные крылья?
Какие он шептал слова,
Даря их легкостью и силой??

Он, видимо, ещё владел
Искусством древних ювелиров,
Когда их в золото одел,
Собрав для них все краски мира.

Он подобрал тебе глаза
Глубокие, как изумруды –
Как будто замерла слеза,
Но есть в них холодок простуды.

Сев на рыбачий поплавок,
Ты первая встречаешь утро,
Хвост задирая в потолок,
Блистая блеском перламутра.

* * *

А Дедал – он мой друг, он – мастер.
Он придумал летучие крылья,
Он натер их воском, покрасил,
Наделил их мускульной силой.
И летал он с Икаром, с сыном…
Вот сидим мы – седой он, старый,
Вспоминает, как в небе синем
Потерял он сына Икара.

Друг мой, Пигмалион – художник,
Он себе Галатею сделал –
Грудь и бедра с матовой кожей,
Дышат жизнью детали тела.
Он влюбился в творенье это,
Позабыв про возраст и сроки…
У творений вечное лето,
А состарился он одиноким.

Мой учитель, Гомер, пел людям.
Ах, какие поэмы и песни!
Мы его похвалить не забудем,
Хотя он не нуждается в лести,
А вот чашу вина он взалкает
Да и фиников горсть примет.
У него жизнь была слепая,
Да и помним мы только имя.

Все они – без прицела на вечность,
А, поди ж ты, и получилось!
Время судит и время лечит.
Есть у времени право и сила.
И поэт, и художник, и мастер,
И любой проводник мысли
Встретит вечность, а только счастье
Не создать пером или кистью.

* * *

Свечою белою мигала тишина,
Пока я шел к тебе от двери до окна.
Там, за окном, светила круглая луна,
А под луной спала огромная страна.

Ты обняла меня и молча приняла,
Не спрашивая про мои дела,
Не удивляясь, словно мы с тобой должны
Вот так – всю жизнь в таком обмане жить.

Потом мы разбудили петуха,
Ты улыбнулась – не было греха:

Мы не украли, не обидели, мы не
Обманывали, но вот там, в окне…

Там, за окном, стояла тишина,
И так пронзительно светила нам луна,
Что принималось это как намёк
На то, что человек – он одинок.

Минуты прыгали и капали часы,
А дни и месяцы ложились на весы,
Которые критически должны
Нам намекнуть на тонкость нашей лжи.

Нет, нет – не лжи: безумная луна
И звонкая ночная тишина,
И ты с полуоткрытым сладким ртом.
Не хочется и думать – что потом!

Потом земля проснется. Знаешь, как? –
По небу разбредутся облака,
А в голове возникнет рой забот,
Меж нами вырастет неведомый забор.

Когда-нибудь при бешеной луне
Ты вспомнишь, как в белесой тишине
Мы думали, что не было греха,
Пока не разбудили петуха.

Театральное

А. Мюриселу

Аплодисменты, шурша о стены, ползут по залу,
Поклон последний, артист усталый – в столбе софита.
Но вдруг покажется на миг, что сделал мало,
А «бис» провисший, он – не ему, а так, для свиты.

Снимался грим легко, как шкура с вареной щуки,
Он бросит в угол сюртук тяжелый – промок от пота.
И дрожь в ногах, от напряжения пляшут руки,
А в дверь с опаской стук – заявился зачем-то кто-то.

Вошел знакомый, вошел банальный и серый вечер,
Принес коньяк, цветы и грубо улыбку срезал.
Была усталость, и было просто ответить нечем,
А вечер мягко облокотился на спинку кресла…

Он панибратски был неприветлив с моим героем:
Он хороводил, не мямля глупо пустое «здрасьте!»
Своим молчаниьем он восхитился его игрою,
Но в тишине артист расслышал: «А ты, брат, – мастер!»

* * *

Вяч. Фёдорову

Руки дрожат? И хорошо:
Вот перестанут дрожать –
Вспомнишь, а может, всплакнешь ещё,
Простившись у рубежа.

Руки дрожат? – Значит, живой,
Могу и расцеловать.
Знаешь – это не тяжело:
Целовать, говорить слова.

А вот мечтать – уже не могу:
Слышу, вижу порог.
Листик с березы сорвать на бегу
Могу, да и раньше мог.

А замахнуться на целую жизнь?
А где её целую взять?
Видишь: рука немного дрожит –
Письма пишу друзьям.

Евгений ЭРАСТОВ

Родился в 1963 году в Горьком. Окончил Горьковский медицинский институт и Литинститут (семинар Юрия Кузнецова). Доктор медицинских наук.

Автор шести поэтических и четырёх прозаических книг, многочисленных публикаций в «толстых» журналах, зарубежной периодике. Произведения переводились на английский, немецкий, испанский, македонский и болгарский языки. Победитель международных поэтических конкурсов «Рождественская звезда» (2011), «Цветаевская осень» (2011), имени Сильвы Капутикян (2013).

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

А ЕСЛИ БЫЛ СЧАСТЛИВ КОГДА-ТО, ТО ТОЛЬКО, НАВЕРНОЕ, ЗДЕСЬ...

* * *

Ольха дрожащая, унылая
На фоне неба синевы
Влечёт к себе с неясной силою –
Необъяснимою, увы.

И ты, Эвтерпою не брошенный,
На тропке вычурной, кривой
Стоишь один над этой скошеной
И непорочною травой.

Стоишь один, и все упорнее
Зовёт сквозь годы и века
Тугая, искренняя, горняя
Живая сила языка.

Ты этой силой сокровенною
Был ошарашен как никто,
И над разъятою вселенною
Стоишь без шапки, без пальто.

Под злой, насупленною тучею
Стоишь один – как на духу.
И веришь ты – та сила жгучая,
Непостижимая, могучая,
Ведёт к высокому стиху.

* * *

Крис Кельвин в «Солярисе» смотрит в окно –
Большое и круглое. Долгого взора
Нельзя оторвать, так и это кино
Смотрю я, и глаз не свожу с монитора.

Тарковские шорохи нежной травы,
Прибрежной, что резалась так и кололась,
О совести нам не расскажут, увы.
О совести нашей твердит Банионис –
Последний осколок советской Литвы.

В тугое пространство кидает слова,
По станции шастает в штаниках узких.
Давно независимой стала Литва
От шведов и немцев, поляков и русских.

Партийный сатрап, диссидент, уркаган
Разрушить решили Империю Страха,
Чтоб в крошке Литве захудалый орган
Пленял фа-минорной прелюдией Баха.

Привет, демократия! Совесть, проснись!
А Хари придет – то одна, то другая,
И в женской истерике выдохнет: «Крис!»
Заткнись, не вопи, ты фантом, дорогая.

* * *

Во времена Веспасиана
И Леонида Ильича
Я не боялся ни обмана,
Ни гепатита, ни ВИЧа.

Весёлый, ловкий, загорелый –
И я торчал в очередях,
А телевизор черно-белый –
Невзрачный, пыльный – то и дело
Трещал о съездах и вождях.

Хранила школьная тетрадка
Плоды незрелого труда,
И пахли приторно и сладко
Эфиром смоченная ватка
И на газонах резеда.

В приватных снах – приятных, ватных
Опять ведёт меня судьба
Под сноп колосьев благодатных
Того, советского, герба.

Там замерзали в мае лужи,
Когда черемуха цвела.
...Я не о том, что стало хуже,
Там просто молодость была.

* * *

В стране нувориша и хама
Не стоит пенять на судьбу.
Свершается пошлая драма,
И спится от феназепама
Как мёртвой царевне в гробу.

Мечтаешь о призрачном чуде,
О сказочной дивной поре
И ждешь, что царевну разбудит
Какой-нибудь принц Дезире.

Какой-нибудь яркий повеса,
Воспитанник граций и муз,
Владелец дворца, «мерседеса» –
Австриец, бельгиец, француз.

Такой удивительно скучный,
Что твой алиментщик в бегах,
Прохвост, Хлестаков злополучный,
Изысканный Кот в Сапогах.

Буди же ее, мафиозо!
Смотри, как вздымается грудь!
И вытри ей девичьи слёзы,
Чтоб вновь, отойдя от наркоза,
Поверить в особенный путь.

* * *

Девяностые годы лихие…
Как не помнить – шальные, бухие
В битых «ауди» мчались братки.
Нулевые мои, пулевые,
Огнестрельные и ножевые,
Спрячь, эпоха, свои коготки!

Как бессовестны эти разборки
На глазах у родимой беды!
Как циничны брутальные орки!
Все свидетели прячутся в норки,
Под землей прорывают ходы…

Снег играет на скрипочке крысам.
Неужели удел твой таков –
Колобком золотушным и лысым
Убегать от бабуль и дедков?

Ты бредешь за живою водою
С узколобой своею бедою
Говорить о вселенской беде
И о русской загубленной силе.
Достоевский в холодной могиле
Пишет книгу о Божьем суде.

Без сомнений и помыслов лишних
Магнитолу сменил дивидишник.
Битых «ауди» нынче уж нет.
И сквозь выстрелов сиплые звуки
Лишь «тойоты» летят да «сузуки»
И срываются в темный кювет.

* * *

Холодная весна охватит чувством новым.
В окошко поглядишь – там, около крыльца
Дуб с кленом обнялись, как Герцен с Огаревым,
В желании своём бороться до конца.

Как много было чувств! Как пламенели взоры!
Мерещились в ночи великие дела.
Как были высоки им Воробьёвы горы!
О, как в закатный час сверкали купола!

Но тайну стерегла блестящая природа.
А юноши ещё витали в облаках
И жизнь свою отдать хотели для народа,
В то время как народ толкался в кабаках.

Как было на душе томительно и сладко!
Вот ураган пройдёт, и будет благодать.
Казалось им – они творцы миропорядка.
Прошло так много лет, но русскую загадку
Никто из нас не смог, как ребус, разгадать.

А «Колокол» гудит над Лондоном тревожно,
Из «Искры» костерок рождается в жару.
Как страшно быть в плену идей пустых и ложных –
Уж лучше трепетать листвою на ветру!

* * *

Клеврет полнозвучных рифмованных строк,
С восторгом катаясь по острому насту,
Ты отрок скорее, чем мудрый пророк,
Ты шудра, пролезший в брахманскую касту,
Бунтарь, получивший пожизненный срок.

Ребенок, влюбленный в доверчивый гул
Листвы тополей у районной ментовки,
Ты школьник, отметивший первый прогул
Стаканом шипящей своей газировки.

Простой, без сиропа, к которой привык,
Холодной, как голос директора школы.
Еще не попробовал детский язык
И сладкий, и приторный вкус пепси-колы.

Простой газировки, в копейку ценой,
С пшеничным гербом на облупленной решке.
А боли и беды прошли стороной,
Ты мчишься куда-то в ребяческой спешке.

И нет ни малейшей прорехи в судьбе,
А прожитый день – словно сахарный пряник,
И скоро волшебное слово тебе
На ухо шепнет шестикрылый посланник.

* * *

Потоки хрустального света.
Ковры среднерусских полей.
Ветлужская старица. Лето.
Полёт оловянных шмелей.

Угрюмые, тёмные ёлки.
Прохлада в притихшем леске.
И мокрые эти иголки
На крупном и влажном песке.

Тревожные эти закаты.
Озона тяжёлая взвесь.
А если был счастлив когда-то,
То только, наверное, здесь,

Где зреют июньские грозы
И возле притихшей воды
Висят жестяные стрекозы
На ниточках тонкой слюды.

Андрей ДМИТРИЕВ

Родился в 1976 году в г. Бор Горьковской области. Окончил юридический факультет Нижегородского коммерческого института. Служил в милиции, работал в частных охранных структурах. Редактор отдела экономики газеты «Земля нижегородская».

Автор трех сборников стихов. Лауреат премии имени Бориса Пильника, дипломант межрегионального конкурса «Наималы» и международного конкурса «Мирсконца-2015», проводимых музеем В. Хлебникова в Астрахани. Живет в Нижнем Новгороде.

ДЕМОН СМОТРИТ С ХОЛСТА...

* * *

Падал в омут –
то есть в воду –
чёрную-чёрную,
что течёт
наречённая
безымянной рекой,
падал между материков –
в сплетение меридианов –
натянутых
будто паучья сеть,
из которой только осе –
жёлтой пуле –
в жарком июле
под силу вырваться.
Падал – словно от выстрела –
в сухую траву
вдоль дороги, где наяву –
столбы, а во сне – обелиски
вавилонских царей со списками
древних законов,
которые вырвали с корнем
из кодексов
и вшили комиксы.

Падал в багряный мох
из сказки про теремок
зайцем или медведем –
прочь от таких соседей,
падал в ворох бумаг –

сир и наг,
перепачкан чернилами,
соком черники,
жертвенной кровью –
закупоренной тромбом,
откупоренной бритвой.
Падал – на манер метеорита –
пронзая купол небес –
кубарем в лес,
ищи-свищи,
как камень,
пущенный из пращи, –
канул
в ночи…

Падал тысячу раз –
то в бровь, то в глаз,
то в тюрьму, то в суму –
извалялся в пыли,
окунулся в сурьму –
Господи, подними.

* * *

Здравствуй, Нобель,
я – Врубель.
Демон – в жаркой утробе
раздувающий угли –
сел на корточки рядом –
смотрит в самую душу.
Он – желает награду:
номинируйте, ну же.
Холст – как старая карта
рудников потаённых –
обрекает на кару,
что пророчат знамёна
и железные крылья.
Нобель, Нобель,
я – Врубель, быль – я.
В окнах – пустыня Гоби.
Премию тратит пространство
на широту и выси.
Демон – на фоне красном
лик свой из пепла выстлал.

Здравствуй, Врубель,
я – Нобель,
динамитом загублен
тоннель, впрочем, мы оба –
знаем, что выход – внутри.
Номинации – тщетны,
но демон твой – посмотри –
к нам заходит с планшета

по вай-фаю и пишет комменты,
мол, засилье плохих репродукций
и дорогие билеты
на выставку – самую куцую.
Врубель, Врубель,
я – Нобель,
мне валюта – не рубль,
но в застиранной робе
кочегар с парохода на Волге
бросил в топку и свой уголёк,
чтобы путь этот долгий –
был широк…

Демон смотрит с холста –
он и Нобель, и Врубель,
он – рубильник, врубающий страх
перед миром, сколоченным грубо
на задворках вселенной,
он – кабель, он – кобальт,
он – набат над долиной оседлой,
где собаку с ножа мясом кормят.
Запекаются краски,
выпекаются деньги,
а на фоне – по-прежнему красном –
смотрит в душу к нам демон.

* * *

В Каракумах
кара – сотрут в муку,
в бессловесный песок. Культура –
песчаная буря, но на слуху –
только ветер… В клещах скорпиона –
забытые кем-то перчатки.
Это – Шёлковый путь – опасный, нескорый,
где участь заблудших – печальна.

Дли песок, разворачивай вширь песок.
Караванщик поёт про оазисы и колодцы
на горбе большого верблюда, про колесо
золочёной арбы, что катит – подобно солнцу –
по таким городам,
где динарию некуда пасть…
В Каракумах же деньги – вода,
уходящая в жёлтый песок – как сейчас.

След варана – извилист и узок.
Ещё уже – след кобры. Нет точки в конце.
В дебрях контурных карт бывших республик Союза –
потерялся штабной офицер.

По степенным журналам ступают великие ханы –
их дамасская сталь равносильна судьбе.

Угостив многочисленных слуг рассыпными стихами,
ханы – боги в суде…

Вновь зачах саксаул.
Лишь песок на хлеба перемолот –
лёгок он навесу
в пальцах ветра, с которым молод
снова воздух. Горяч простор,
не коснуться ладонью – ошпарит.
Здесь не встретится вор,
там кочуя, где рельсы и шпалы…

* * *

А в Нижнем Новгороде – полдень.
То – тусклый цитрус на разрез.
Лишь лёгкий иней на капотах
ещё играет с тем, что есть,
ещё неспешный старый дворник
пыль новогоднюю метёт,
в лужёном ощущая горле
настойки самопальный мёд…

Пространством – заточённом в кубе –
по-прежнему дивится глаз,
ведь красоту не призмы губят,
а то, что к ней остыло в нас…

* * *

На севере –
небо серое,
да снег бел.
На юге – бежит по трубе
виноградная кровь
рекой, но в ров.
На западе –
утиные заводи –
да охотник уснул с ружьём.
На востоке –
берёзовым соком
поят, хоть заказывал-то крюшон…

На севере –
живут бессребреники –
коптят рыбу, ждут лета.
На юге – опять вендетта,
а в перерывах – румба.
На западе – губы
приучаются к резкой речи.
На востоке – в аптечке
один аспирин,
но устав предписал: терпи.

На севере –
в расселинах
гнездятся чайки –
крикливые необычайно.
На юге –
под солнцем на каменюге –
греется аспид –
очень опасный.
На западе –
в душном запахе
спиленных лип –
пыльный свет суетлив.
На востоке –
рубят с наскока,
а после – отрубленной голове
командуют: гоп-алле!

Смотришь туда-сюда:
на седьмом киселе вода,
то ли суббота, то ли среда,
челюскинцам вновь не хватает льда
в стакане с чем-то, что никогда
не обнажает дна…

То севера
отсыревшая сера
на спичках,
то юга античная –
битая в щебень – посуда,
то запада пошлая скука,
то востока
списки потерь о высоком.
Что, заблудился, сокол?

* * *

Прыг да скок
воробей-пересмешник
по карнизу, что высоко,
по асфальту кромешному,
что где-то внизу, в пыли…
Прыг да скок.
По Волге плывут корабли
в навигацию, а меж зимой и весной
раскатаны льды.
Прыг – по пристани,
скок – у воды.
В суете – то пёстрой, то мглистой –
птичке, что с ноготок
найти бы мизинчик,
указующий потолок,
в который ввинчен

крюк для нового солнца.
Тысячи ног – топ-топ,
гул шагов раздаётся
в жарком вареве толп,
а под ногами – прыг-скок.
Вроде бы – воробей, не слово,
но и язык часто скор,
хоть на слове и ловят.

Прыг да скок –
с Горького на Ильинку,
с Маслякова к Малой Ямской.
Прыжки – под сурдинку,
скачки – под шаманский бубен.
Хлебная крошка – как манна
небесная, рядом рубль –
не к месту, ведь нет кармана –
подберут те, что без крыльев.
Отражаясь в витринах,
прыг да скок: рынок,
площадь, трамвайная остановка,
памятник, тихий сквер…
Был бы соколом
или орлом, например,
клевал бы сильнее и чаще,
а у ворон был бы в авторитете.
Зато – тот, кто ищет – обрящет.
Зато – любят дети.

А дети – возле скамеек
с мамами день-деньской.
Ну же, давайте смелее –
прыг да скок,
прыг да скок,
прыг да скок…

* * *

Сгрёб кочергой угольки –
смотришь: искрятся,
а глубже – капли свинца – легки
и тусклы – как коготки ястреба
в растрёпанном тельце мыши,
а глубже – оплавленная стекляшка –
осколок фужера, который вчера был лишним,
если вспоминать про вчерашнее,
а глубже – мебельный гвоздик,
выпавший из обивки кресла –
вот и всё. Искрятся – не то чтоб звёзды,
но всё-таки – интересный
с точки зрения наблюдателя космос.
Тянешься кочергой. Может быть, что-то ещё?

Нет. Ничего. На портрете – мальчик курносый
смотрит так – будто бы стал лещом
в глубокой посудине комнаты,
наполненной затхлым воздухом
с запахом гари, которого много в городе,
где ты – постоянно возле
какого-то края. Исчезает колечко дыма –
и вот уже не искрятся
те угольки, что могли бы
дальше служить для глаза
маленьким космосом
с капельками свинца,
со стёклышком да гвоздём, и курносый
мальчик – с гуашью в чертах лица –
махнув плавником,
уходит на самое дно холста.
С последним гаснущим угольком
первая всходит в окне звезда…

Олег ЗАХАРОВ

Родился в 1961 году в селе Новоликееве Нижегородской области. Окончил Волго-Вятскую академию государственной службы.

Поэт, публицист. Автор книг «Кстохмы» (2006), «Нежданный гость» (2011), «Иронист.ру» (2016), «Есть повод!» (2016). Лауреат Всероссийского фестиваля иронической поэзии «Русский смех» 2007 и 2012 годов. Призер международного литературного конкурса «Жизнь прекрасна!» (г. Аахен, Германия). Серебряный лауреат национальной литературной премии «Золотое перо Руси».

Председатель Нижегородского городского отделения Союза писателей России. Живет в Кстове.

КАК ЗАСТАВИТЬ ЭТАКИХ ПИИТОВ ОТНОСИТЬСЯ ТЩАТЕЛЬНО К СЛОВАМ?

Наследница

И брызгов солнца яркий рой
На обнаженной смуглой коже…

Алёна Даруева, Санкт-Петербург

От брызгов синий холм стоит…

Гавриил Державин, «Водопад», 1794 г.

Меня поддержат те, кто в теме
И изучал её всерьез:
Державин был последний гений,
Кто слово «брызгов» произнёс.

А что теперь в словесной форме
От царскоселья вдалеке?
«Брызг», а не «брызгов» – этой норме
Лет двести в русском языке.

Никто ж не знал на целом свете,
Что сам Державин Гавриил
Тогда Даруеву заметил
И, в гроб сходя, благословил…

Личина

Все люди спокойно
В едином строю
И смотрят достойно
В личину мою…

Игорь Орлов, Санкт-Петербург

Мой друг, аккуратней с личиной-то будь.
Под нею таится скрывающий суть.
Личина – лишь маска – и ныне, и встарь –
И это любой подтверждает словарь.

Язык наш богатый, но, как ни кружи,
Личина есть символ притворства и лжи.
А если уж крепкого жаждешь словца,
Пусть «смотрят достойно на морду лица».

Строгий порядок

…О где вы, милиционеры,
Заправленные в галифе?

Юлий Хоменко, Вена, Австрия

Живу по правилам в быту я:
С утра намазал бутерброд
И вместе с ним яйцо вкрутую
В себя заправил через рот.

Не нарушая строгих правил,
Залил во внутренность кефир,
В носки конечности заправил,
А самого себя – в мундир.

Чтоб пробудить к работе стимул,
В карман заправил револьвер,
А вот мозги, напротив, вынул –
Ведь я же милиционер!

Ни пуха ни пера

Голышом я выпорхнул из детства.
За душой – ни пуха, ни пера…

Сергей Соколовский, Москва

Чтобы вес придать любому слогу,
Чтобы был он ярче и сочней,
Фразеологизмы нам в подмогу
Делают суждения точней.

Кто, к примеру, стар и слабый телом,
По вискам струится серебро,
А его всё тянет к юным девам, –
Про такого скажут: бес в ребро.

Бьет баклуши – значит, он бездельник.
Еле жив – в чём держится душа.
Ни копейки – ясно, что без денег,
За душою, значит, ни гроша.

Даже в забытьи или спросонок
Сразу понимаем, что к чему:
Ни стыда ни совести – подонок.
Ни себе ни людям – никому.

В каждой этой образной цитате
Суть определяем без труда:
Ни к селу ни к городу – некстати.
Ни за что на свете – никогда.

Фразы хоть понятны и избиты,
Но, бывает, ставят их не там.
Как заставить этаких пиитов
Относиться тщательно к словам?

Есть у пародиста чудо-средство,
Надо лишь сказать ему: «Пора!
Соколовский выпорхнул из детства!»
Вот теперь: ни пуха ни пера!

Погорячился

Боже мой, как тебя я люблю –
Даже в приступах жутких бессилья!..
Я унынье, печаль прогоню…
Я расправлю согнутые крылья.
Александр Мишарин, Самара

Без тебя ни полёта, ни сил.
Без любимой я, кажется, взвою.
Даже крылья не просто сложил,
А согнул их… практически вдвое.

А вчера ты меня позвала
Разделить и печаль, и тревоги.
Я пришёл бы, забросив дела,
Но согнул накануне и ноги.

И теперь хоть кричи караул,
Больше мне никогда не влюбиться –
Я ведь сдуру, ребята, согнул
Даже то, что могло пригодиться…

Непризнанный поэт

Я упился столицами в склянь,
Где поэтам-лирикам крышка,
И сбежал душой в деревянь –
Захолустный в пыль городишко.

Там от дара своево отрекусь,
Раз собакам он только нужен…

Дмитрий Дарин, Москва

Жить в столицах уж нет больше сил,
Здеся крышка и крах идеалов.
Помню, я им стихов приносил
Для печатанья в ихих журналах,

А в ответ от редакторов брань –
Ну зачем так с поэтом жестоко?
Я уеду от вас в деревянь,
Буду тама с собаками тока.

И запомните вот что ещё –
Коль стихи приглянутся кому-то,
Если там гонорар или чё –
Я тута.

Что со мною?

Два «ха-ха» и три «хи-хи»!
Не умею я стихи.
Я – никак! Ну точно – не…
А они меня – вполне.
Я их – нет. Ну прям беда.
А они меня – всегда!

Наталья Сенькова, г. Радужный

За какие за грехи
Я два дня уже «хи-хи»?
Ни строки, ни полстиха,
В голове одни «ха-ха»…

Я в порядке или не?
Или да, но не вполне?
Два «хо-хо» и три «ла-ла»…
Или я такой была?

– Ты была совсем беда,
Как попала к нам сюда.
Не волнуйся, ангел мой!
Скоро выпишем домой!

Ошибка выбора

Пустыми двигала руками –
Движенья плавны и легки:
Босыми твердыми ногами
Утаптывала дно Оки…

…Ты так заливисто смеялась,
Как не смеялась никогда.

Александр Люлин, Санкт-Петербург

Я знал, что в форме Вы и силе,
Но обалдел, как говорят,
Когда узнал, что Вы ходили
По дну Оки, как земснаряд,

Не макраме, не оригами,
Не Белоснежку в драмкружке –
Босыми твердыми ногами
Фарватер делали в Оке,

Чтоб баржи шли зимой и летом,
И корабли туда-сюда…
Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда!

Раз-раз, и всё уже готово!
Меня ж как бог предостерёг:
Ведь Вы затопчете любого,
Кто скажет слово поперёк.

Нет, нам такой хоккей не нужен!
Как говорится: гранд мерси!
Вчера хотел быть Вашим мужем,
Сегодня – боже упаси!

Из будущих книг

Елена КРЮКОВА

Родилась в Самаре. Окончила Московскую государственную консерваторию (фортепиано, орган) и Литературный институт им. Горького.

Поэт, прозаик. Публикуется в литературно-художественных журналах. Автор книг стихов и прозы, куратор и автор художественных проектов в России и за рубежом. Лауреат премии им. М. И. Цветаевой, Кубка мира по русской поэзии, премий журнала «Нева» за лучший роман года («Врата смерти», 2012), им. Горького (2014), им. И. Гончарова (2015), Международной литературной премии имени А. Куприна (2016), Международной премии им. Э. Хемингуэя (2017).

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

МАВЗОЛЕЙ

(Из романа «Побег»)

Посреди Красной площади рабочие рыли могилу Ленину.

Могила эта представлялась всем сначала вместительным котлованом. Вокруг ямы постоянно жгли костры, так пытались оттаять почву, намертво скованную морозом. Но Сталин хотел пометить тело вождя не в яму. А в то, что должно было выстроиться над ямой.

В гробницу.

Сталин обдумывал предложение знаменитого еще до революции архитектора Щусева: возвести три объемных каменных куба; один покрупнее, и крыша должны быть ступенчатой, как у вавилонского зиккурата; два других куба поменьше, и в них устроить вход и выход. Так, чтобы народ входил в одни ворота, а выходил в другие.

Сталин приказал привезти на Красную площадь доски. Только из дерева за три дня можно построить гробницу. Камень подождет. Мрамор, гранит, это все потом. Потом!

Морозы сжимали белыми клещами тела людей. Рабочих распорядились обрядить в толстые полушубки и валенки. Дали им в руки ломы, кирки и лопаты. Сначала надо было разворошить, вскрыть, как каменную банку, булыжную мостовую, что помнила князей и царей. Могила, гордились рабочие, мы копаем могилу Владимиру Ильичу! Они сами не понимали, что говорили. Особо хваставшихся вечером, при огнях костров, приходили и забирали. Они не возвращались.

На их место, охлопывая себя на морозе по-ямщицки рукавицами и топоча ногами в мощных валенках, играя в руках лопатами, приходили другие.

Мерзли руки, мерзли ноги. Рабочие плясали у костров на площади, чтобы согреться. Хлопали руками, и голицы на морозе звенели, будто жестяные. Красная Кремлевская стена скалилась красными зубьями. Руки леденели, твердели, ими, прежде живыми руками, можно было рубить дрова, как топорами. Рабочий падал на снег, на камни мостовой, приезжал мотор и увозил утратившего от холода разум, обмороженного человека. Взамен присылали другого.

Рабочие люди кричали бодрые слова другим людям, в военных формах, кто приезжал на Красную площадь на военных грузовиках и холодно и жестко спрашивал, как идет работа. «Как идет горькая наша работа? хорошо! хорошо идет! – кричали военным рабочие, – от горя стынем!» Одного старого рабочего спросил строгий солдат, видя, как старик дышит внутрь рукавицы, напуская изо рта в рукавицу тепло: «Что, задрог, отец? Холодно?» Рабочий мрачно глянул на солдата. «Да, холодно. Жмет мороз. Но на сердце еще холоднее». И снова взялся за кирку, и размахнулся ею, ударил в камни, и от булыжников вверх, в лютую темень, зло полетели яркие, слепящие искры.

Отовсюду раздавался звон лопат и гулко разносился в звонком от мороза воздухе. Звенели о камень кирки. Звенели тяжелые ломы, вгрызаясь в лед и в землю. Земля под домами Москвы обратилась в вечную мерзлоту. Она промерзла, чудилось, до самого огненного ядра. Стала твердой, тверже железа и камня. Рабочие били землю ломами. Ломы сгибались и тупились, ударяя в промерзшую почву. Рабочие садились на корточки и плакали. Курили, согреваясь самокруткой. Держали цигарку в зубах, а над нею держали ладони, ладонями обнимали жалкий табачный огонек. А вокруг бились на морозе костры. Лисьи хвосты огня мотались в черной ночи.

Как ночевали на площади этой, в наспех разбитых палатках, при огне и буржуйках, мало кто помнил.

Ночью из палаток выволакивали за ноги замерзших насмерть.

Потом наступало утро, и надо было опять бить землю ломами и кирками.

И опять реветь от бессилия по-зверьи, по-детски плакать над ней.

Сталин ли приказал, рабочие ли сами додумались развести на Красной площади громадный, величиной с небо, костер? Несли и несли отовсюду, волокли, как покорные черные муравьи, на площадь доски и рейки, палки и слеги, старые телеги, брошенные извозчиками, и бревна от разломанного наспех сруба, – все шло в дело, и все тащилось и складывалось в центре площади. Огонь был разожжен. Занялось пламя, неистовое, как тысячи одновременных криков. Гул пламени был слышен за много кварталов от площади. Никто никогда не видел столь большого костра. Многие думали: загорится Кремль, возьмет и побежит огонь по стене, хотя это было бы страшным и безбожным чудом. Рабочие всерьез думали, что огонь растопит нежданную мерзлоту. А морозы, еще усиливаясь, белые ледяные зубы показывали, хохотали над нищими духом людьми.

Иван тоже тут сновал, между рабочими. Ему, как и всем, выдали тулуп, самый маленький тулупчик отыскали, и все же он был ему велик. И валенки ему были велики. Он таскал их на ногах, как гири, и жаловался бригадиру: ноги мерзнут, воздух в щель меж ногой и валенком

свободно дует. А носков лишних, вязаных, не было. Ему разрешили опять надеть его валеночки-малютки, в них он и приехал в Москву. Он побежал вынуть их из укромного места, из кирпичной ниши в кремлевской стене, там кирпичи были кем-то ловко повытащены, у самой земли, и в кладке образовалось подобие потайной барсучьей норы. Отодвинул кирпич – а там нет ничего. Пустота. Стащили валенки. Ваня шмыгал носом, силился не плакать и только все повторял, громко, чтобы все рабочие слышали: «Да я же кирпичом заложил! Сам заложил! Сам!» Сам с усам, хмыкнул рабочий в волчьем зипуне, на голове у него вместо шапки была наверчена и перемотана проволокой старая дырявая стеганка, а другие тоже угреться хотят. Да ведь они вам всем малы, уже со слезами в голосе кричал Ваня. Ничё, смеялся бригадир, сдвигая ушанку на затылок, ноги вор себе топориком подровняет!

Ветер дышал холодом, раздувал дым костра-чудовища, дым стлался по земле седой кудрявой, вонючей поземкой. Напрасно бесился огонь. Не отогревалась земля. Не хотела принимать мертвеца.

«Лучше бы из золота был он сделан, тогда бы не хоронили», – шептал себе под нос Ванька, еле таская по площади ноги в огромных черных валенках. Из черной овцы валяли; втайне мальчик любовался ими, нравились они ему, и он думал: когда все тут окончится и Ленина закопают, валенки украду, себе возьму и в село привезу. Хвалиться ими сельчанам буду. Шутка ли сказать, на самих похоронах Ленина работал, и харч давали, и всю одежу!

У Сталина и у Политбюро уже не было времени на раздумья. Решать надо было быстро. Команды отдавать – еще быстрее. У них у всех, захвативших власть, было странное чувство: корабль, который они, как пираты, захватили, непрочным оказался, дал течь и тонет, а они все никак не могут заделать пробоину, и только повелительно смотрят друг на друга и кричат друг другу приказы и советы, а то, что должно быть, происходит само, без их на то соизволения.

Сталин велел взрывать землю. По Красной площади рассыпались красные бойцы. Это вызвали саперскую бригаду. Красноармейцы быстро, неуловимо заложили взрывчатку. Взрывы вспыхивали. Короткий гром, еще один, еще один, еще. У окрестных жителей было чувство, что Красная площадь превратилась в поле боя. В воздух, вертикально, и в стороны, над булыжною мостовой, полетели комья мертвой ледяной земли и красные кирпичные осколки: под землею взорвали, видать, старинную, еще княжескую крепостную стену. Иван считал взрывы, считать он умел хорошо, до ста в школе считал; он насчитал сорок залпов. Сорок раз площадь взорвали! Рабочие садились на корточки, сдирали с рук рукавицы и бесчувственными пальцами щупали в яме землю.

После сорокового взрыва бригадир, катая в пальцах мерзлоту, просветлел лицом и крикнул: «Все, шабаш! Мягкая!»

Земля в ту зиму в Москве промерзла в рост человека.

И вгрызались вглубь земли; и поднялись изнутри нее невозможные запахи, так воняет ад, думал Иван; это взрывы обнажили черные нечистоты. А потом сверкнуло в ночи, и чертово электричество мигом убило двух рабочих: это строители гробницы наткнулись лопатами и кирками на подземный кабель. Дерьмо и ток, всюду смерть! Иван стоял на краю бездонной ямы и боялся глянуть вниз. Внизу шевелилась живая гниль, и таился, полз искристый смертный змей. Вонь била в лицо, и Иван, невзирая на мороз, зажмурился, снял шапку и ею прикрыл нос и щеки.

Темечко застывало, обращалось в ком льда.

Убитых током рабочих несли прочь от ямы, и никто не крикнул, не заблажил.

Живо снимали с мертвых валенки, ушанки.

Все делалось молча. В молчанье укутывались, как в бараньи, со свежих мертвецов, тулупы.

* * *

Все боялись ночи.

Ночью мороз становился просто невыносимый.

Рабочие не просили измерить этот мороз термометрами; рабочим было безразлично, какие цифры им назовут ученые люди, что привыкли наблюдать природу через приборы – они прислушивались только к себе, и сами себе отвечали на свой же безмолвный вопрос: «Еще две, три таких ночки – и поляжем мы тут все, задубеем, топорами нас и впрямь будут колоть, как мерзлые дрова». Над копошащимися на площади людьми зажгли мощные прожекторы. Яркие, белые снопы лучей разрезали плотную черноту ночи ножами, ножи схлестывались в черном воздухе, сшибались, потом застывали, и в огромных кругах мертвенного света, что падали на булыжники площади, люди продолжали работать – мрачно и рьяно, молча, лишь время от времени подбегая к пылающим кострам и суя в костер руки, иногда и до волдырей обжигая их: руки стали нечувствительны и к морозу, и к жару. Меж собой калякали: а вы знаете, мужики, Ленина-то не в могилу покладут! Не для могилы мы тут стараемся, надрываемся! А для чего ж тогда? Да вот, племяш мой, он в кремлевском гарнизоне власть охраняет, он разговор подслушал тут один, так главные люди говорят, со всей страны им телеграммы отбивают, что, мол, сохраните да сохраните Ленина для нас для всех, как он есть! Это в каком смысле, как есть? Он же... засмердит хуже Лазаря! Да в таком, понимай как знаешь! Так прямо и пишут: возможность видеть любимого вождя, хотя и недвижимого... дай припомню... а, вот: утешит наше великое горе и даст нам силу и дальше воевать и побеждать! О как! И строчат, прикинь, беспрерывно, со всего Совецкого Союза в Кремль строчат. Да, брат... это серьезно... А как же, наука, што ль, до энтого до всего – уже, знать, достукалась?

Тьма обнимала Кремль, стояла навытяжку по периметру площади. Взмывали рваные красные лоскутья костров. Взвивалась красная вьюга. Сыпались во мрак золотые и алые искры. Беспрерывно горели доски, бревна и все, что могло гореть. Все было в жертву огню. Ноздри людям забивал дым. Ветер швырял в лица рабочих вместе с дымом снег и огонь, и они были для людей равны, оба в кулаках острого, режущего лица ветра. Рабочие то сбивались в густую толпу, толпа изрыгала ругань и смех, то опять черным горохом рассыпались по площади. На морозе звоном раздавался стук топоров. Пилы пели и визжали. Перекрикивались. Ржали лошади, тащили сани, в санях везли доски, бревна, брусья. На огромной, как дом, телеге привезли кучу песка, ссыпали на снег; вот еще и еще медленно ворочались по снегу бесконечные колеса, вот под полозьями скрипел и взвизгивал чистый снег и мгновенно становился грязным. Бревна множество рук тут же складывали в штабеля. Из ноздрей у коней шел густой пар, висел на морозе белыми клубами. Лошади мотали мордами и опять жалобно, призывно ржали. Их гривы и хвосты покрывались толстым слоем голубого инея.

Греться люди бежали в военные палатки: там были установлены печи. Этот странный мальчик, с бледным лицом, в неуклюжих валенках, метался туда-сюда, помогал, тащил то брус, то доску, пытался даже тянуть бревно, но, малый муравей, не сдюживал, бросал на снег. Мальчика подзывали: эй, сюда! тащи! неси! Он бросался со всех ног. Люди забыли, что значит есть, что значит спать. Однако ели, кто что, добывали еду, казалось, из рукава – в пальцах появлялась вареная картофелина, ржаная горбушка с солью, откуда-то мужик нес кастрюлю с кашей, держа обгорелую кастрюлю руками-крючьями в ободранных овечьих рукавицах; передавали друг другу чищеную морковь, и снова и снова – эти хлеба куски, настоящие куски хлеба, и липкие, и с опилками, и подсохшие, и пушистые отломы калачей, и печенные забытыми женами ржаные плюшки, и опять эти черные корки, черствые, – драгоценные, дороже некуда, только нюхнуть, затолкать в рот и заплакать. От слез на морозе становилось всяко-разно горячей.

Землекопы вонзали лопаты в помягчевшую землю на дне глубокой, голова закружится поглядеть, ямы. Приходили комиссары и хрипло, зло кричали плотникам: «Не ждите землекопов! Работайте над каркасом усыпальницы!» Плотники сбивали из длинных досок, из крепкого бруса каркас гробницы на хрустком, визжащем под ногами снегу. Котлован рыли и рыли, и однажды, когда день снова угас и Москву закутала в черный слепой плат слепая вьюжная ночь, настал миг, прозвучал на всю Красную площадь крик, которого так долго ждали: «Готов котлован! Ставь каркас!» Люди хлынули со всех сторон. Дотащили каркас до ямы. Опустили туда. Земля обхватила деревянные ноги и ребра. Рабочие застучали молотками: пошли в ход доски. Каркас превратился в подземную избу. Пахло свежими спилами досок. Бойкий мальчишка вбегал в дощатый саркофаг, выбегал из него и вопил что-то несуразное. Его одернули, он умолк. Бежал и потерял на снегу валенок. Скакал к нему обратно по снегу, поджимая под себя ногу, как журавль на болоте.

Подкатил грузовик, из кузова на снег сгрузили рулоны темной материи. Прямо на снегу, на булыжниках резали ножницами и ножами отрезы. Ванька встал на колени, изумленно рассматривая ткань. Красивая, красная, с черными полосами: мрачно, а здорово! Печальная материя, слезы наворачиваются. Тканью обивали дощатые стены изнутри. Пусть люди стоят внутри, плачут, утирают слезы и глядят на мертвого вождя. Он уже не мертвый будет в этом черно-красном свете; будет гореть тусклая лампа, а может, яркая, электрическая, а может, бедная, керосиновая. Ленин ведь был небогат. Говорят, он ел на газете, пил из щербатой чашки и умывался из гремучего рукомойника. Ничего не надо ему было на этой земле.

А завоевал полземи! Ведь наш Эсэсэсэр – это полземи, правда ведь?

А потом увидели: много ткани осталось, еще и черные отрезы, и красные, и полосатые, – и приказали обить гробницу еще и снаружи.

Гвозди загоняли в мерзлое дерево, молотками стучали. Обили. Любовались, спохватывались: любоваться нельзя! Надо горевать дальше.

Гробница стояла, ее обнимал мороз. Уже стояла, и Ванька рядом стоял и глядел на нее. Он был маленький перед гробницей, а она была деревянная слониха, только что не переступала ногами под красной попоной, толстые ноги ее застыли на морозе и вросли в землю. Деревянная слониха стояла около кремлевской стены и молчала, и Ивану чудилось, она медленно шевелит деревянными ушами, и до самой земли, до по-

крова снега, свисает ее длинный хобот. Морозный туман разошелся, и он разглядел: хобот, это был всего лишь пожарный шланг, его на всякий случай солдаты привезли сюда, ведь столько огня полыхало кругом.

Гробницу затягивало инеем. Внутри у нее уже сгущалось будущее. Будущее это было совсем не светлым, и совсем не счастливым, и не сладким, и не желанным. Такого будущего и желать-то было нельзя. Оно было черно-красным, цвета ада. Зато оно было настоящим. Таким, как оно и было задумано. И рождено.

Да вот беда, никто не знал, кем задумано и кем рождено: тем ли, кого должны были сюда привезти в красном гробу и укрыть сверху двумя красными знаменами, расшитыми золотыми нитями, или еще кем-то, имени которого никто из рабочих не знал, не знали и люди, что командовали ими. А может, это имя не знал и сам Ленин.

Может, только голос слышал: далекий, повелительный. Насмешливый.

Седая от горя и скорби красная стена Кремля высилась перед вымотанными непосильной работой людьми, уходила в заоблачный холод. На досках красноармеец, стоя на высокой лестнице, малевал великое и бессмертное имя: ЛЕНИН, окуная широкий флейц в ведро с черной краской. Он обводил краской деревянные выпуклые буквы. Буквы рабочие выложили из плашек и прибили к высокой доске. Краска быстро застывала на морозе, и боец торопился. Он махал флейцем в морозном туманном воздухе, не вырисовывал красиво, мазал как попадется – спешил. Успел. Рисовал последнюю букву святого имени, а черная краска уже замерзала на глазах, затвердевала черным льдом, бугристым черным гранитом.

1932

Красные флаги свисали до полу.

Они укрывали изножье дорогого гроба.

Надя, какое имя сейчас у тебя? Опять Надя? Всегда Надя. Ты пришла сюда против своей воли. Ты не хотела, но пришла. Посмотреть, а может, из-за чего другого? Одна, совсем одна. Тебе открыли беспрекословно – ты жена владыки. Тебя вся Москва знает в лицо, хоть ты стараешься всегда спрятаться, уйти от чужих глаз. Девчоночка Надя! чего тебе надо? ничего не надо, кроме шоколада? Девчоночка Тося, ты меня не бойся, я тебя не трону, ты и успокойся!

...пришла сюда поздно вечером. Попросила Удалова привезти ее в Мавзолей. Удалов разбежался было: давайте, и я с вами пойду! я давно Ильича не видел! – но она резко оборвала его: хочу быть там одна. Одна, зачесал в голове шофер, да ведь мало ли что, я вас там буду охранять! Охранять, от кого, горько спросила она, от красных знамен? Они оживут и обнимут меня красными руками? Удалов захихикал и терся подбородком о воротник пальто. Долго заводил мотор.

Девчоночка Валя заплачет едва ли! Бойко отвечает всё, что не задавали! Девчоночка Люда, тебя бить не буду, коньяком с лимончиком вылечу простуду...

Они долго, почему-то страшно долго, как в другой город, ехали по темным улицам; кое-где горели окна, гордо светили сквозь метелицу фонари, но город обезлюдел, магазины зря пылали витринами, и двери парадных подъездов не хлопали, открываясь и закрываясь. Мир лежал

как в Мавзолее, лежал с закрытыми глазами. Каменные стены, гранитные своды. Москва умерла, и ей надо было отдать подобающие почести. Когда-нибудь нас похоронят с почестями, усмехалась она. Машину дергало вправо, влево. Удалов неистово крутил руль, но почему-то не мог выбраться из круговерти метели, из ее белого лабиринта. Лучи, бьющие из горящих окон, перекрещивались на снегу, и мотор ехал как по золотым шпалам. Скоро ли будет Красная площадь, мертвым голосом спросила Надя, и Удалов растерянно пожал плечами: сам не знаю, где мы плутаем! то ли с машиной что-то, то ли со мной!

Танцевала карапет, поранила пятку! танцевала казачок... а потом вприсядку...

Девчоночка Маша, ах ты радость наша... потеряла портмоне... что за растеряша...

Снег сыпал и сыпал в лобовое стекло. В салоне пьяняще пахло горючим. Темные дома сдвигались, грозя раздавить железную коробку. Наконец освобожденно вырулили на простор, и под колесами всплыла из-под снега благородная, вместо древней мостовой, недавняя брусчатка. Машину чуть подбрасывало на гладких черных камнях. Подкатили ко входу. Надя вышла, обернулась к шоферу: сиди и жди, – хлопнула дверцей.

Боец у входа, с красной повязкой на рукаве, сердито обсмотрел ее с головы до ног. В заячьей шубке с потертым воротником, в наспех наброшенном на плечи козьем платке она гляделась молоденькой крестьянкой, прибывшей из дальней, может, сибирской волости, поглядеть Ильича, да вот припоздала к Мавзолею с вокзала. Охранник рявкнул было: стой! куда! – и выставил вперед винтовку, да Надя шагнула ближе, спустила пуховый платок на плечи, и боец смотрел в ее голое лицо, это лицо уже печатали в газетах. Взял под козырек. Здравия желаю, товарищ Аллилуева! Она молчала и смотрела на солдата. Он смешался. Вы это, что, сюда, что ли?.. так поздно? на ночь глядя? одна? а товарищ Сталин с вами? Я одна, разлепила губы Надя, и товарища Сталина нет со мной. Можно, я войду? Так точно, можно, Надежда...

Раньше были рюмочки, а теперь стаканы. Раньше были мальчики, а теперь нахалы. Раньше были ниточки, а теперь катушки. Раньше были девочки... а теперь... болтушки...

Не дослушав, она прошла мимо упертой прикладом в снег винтовки, другой боец, что стоял перед дверью, быстро открыл замок и распахнул ее. Ее обняла пряная, холодная тишина. Стоящий за ней повернул рубильник, под потолком включился свет, он залил полосы черного камня и красные гладкие, недвижные озера. Угольно-черный лабрадор вспыхивал изнутри яркими синими бликами. Красный гранит сверкал, как море на закате. Если тихо, медленно идти, в каменную воду можно войти. И утонуть.

Она и шла медленно. Один шаг – вся жизнь. Девчоночку Любу поцелую в губы, ты не плюйся мне в лицо, я совсем не грубый. Ты убежала сюда? Ты убежала от своей жизни, чтобы посмотреть на вашу совместную, ту, что приснилась в березовом лесу, в избе той дурочки? Еще шаг. И еще жизнь. Важно бежать, убежать. Никогда не останавливаться. Душа моя, не оглядывайся назад! Кто это сказал, когда, и ей ли, и не она ли – сама себе?

Танцевала карапет, порвала ботинки... Остались на ногах чулки да резинки... Музыка играет, аж чулки спадают... а подошвы с ботинок собаки таскают...

Красный гранит отсвечивал в лучах прожекторов настоящей кровью. Моря крови, как же это смешно, когда так говорят. Ее всегда смешили эти выражения, море крови, коньяк лился рекой, из грязи в князи. Они все в революцию поднялись из грязи в князи, и путь этот был верным, народу дали свободу – живи или в грязи, в ней и сдохни, или выбирайся оттуда, рвись в небеса! Вот летчик один есть, Иосиф про него рассказывал. В Ленинграде живет. Летает так, что сейчас в стратосферу! А сам родом из села на Волге. Фамилия смешная, то ли Чукалов, то ли Чекалов. Моря крови, моря. Шаг, еще шаг, и так она будет идти целую жизнь. Она убежала от одной жизни, а где другая?

Пройдя морями застывшей ледяной крови, она замерла у саркофага.

Сияние лилось из лица Ленина. Слишком белое, светлое, гладкое, будто резиновое, оно сияло умиротворением и торжеством. Да, он мог праздновать победу. Он победил. Кого? Своего друга? Он на троне. Смерть? Но вот она, царит, и теперь он есть смерть. Он красный царь этого гранитного зала, и черный лабрадор взрывается изнутри новыми звездами, но он этого не видит. И никогда не увидит. Ему все равно.

Надя сделала к мумии еще шаг. Владимир Ильич, шепнула она едва слышно, я к вам пришла. Я сбежала. Нас здесь сейчас никто не увидит. Никто не знает, что я у вас. Дайте мне знак, что вы поняли, что я здесь! Я ничего не боюсь. Я не задрожу. Бога нет, я знаю. Но есть вы! И я...

...стояла, залитая светом прожектора, потом медленно опустилась на колени.

...она уже вставала перед ним на колени, как, когда, разве она теперь вспомнит? Не надо вспоминать.

Закинув голову, она глядела на красный бархат знамен. Когда-нибудь они станут гранитными. А монументы уже шагают по стране; памятников Ленину сейчас так много, не сосчитать. Они сделаны из чего угодно: из бронзы, из мрамора, из стали, из гранита, из крашеного гипса – в нищих селах-деревнях ни о какой бронзовой отливке слыхом не слыхивали, есть только, в кузнях да на конюшнях, дешевый гипс да краска-серебрянка, – из антрацита, из меди, из железа, из нефрита и агата, есть даже выточенные из дерева, и через малое время их источат дожди, снега и ветра, но дерево такое теплое, как живое тело, потрогав его, можно ощутить тепло живой плоти и души, что ушла.

Ты здесь! Душа, ты! Говорили, ты – выдумка. Зачем же тогда мы плачем и любим?!

Ах, девочка Надя, чего тебе надо? Ничего не надо: денег и богатых! Денег и так нету, никто не заплатит! Ты осталась где-то, где задаром платья... Музыку играйте... а вы, люди, чуйте... у кого ноги болят – карапет танцуйте...

...она хотела молиться, и ей было смешно и страшно.

...она не умела молиться, ее никто не учил.

Колени холодил гранит. Она стала гранитная, и смешно было думать, что еще недавно она была живая.

Он, вождь, теперь тут навечно. Ты помолись ему, он услышит.

И она стала молиться Ленину, а может, просто разговаривать с ним, как не говорила с ним живым никогда.

Николай СВЕЧИН

Родился в 1959 году в Горьком. Окончил экономический факультет Горьковского госуниверситета. Работал нормировщиком на заводе, инструктором горисполкома, занимался бизнесом.

Первая книга, объединившая две повести («Завещание Аввакума» и «Охота на царя»), вышла в Нижнем Новгороде в 2005 году. Плодотворно работает в жанре исторического детектива.

Живет в Нижнем Новгороде.

ФАРТОВЫЙ ГОРОД

Глава из романа

Александровский сад не произвел на Лыкова впечатления. В Казани развлечения поизящнее, а про киевский «Шато-де-Флер» нечего и говорить. Опять же цены. Вход стоил всего двадцать пять копеек. Но чтобы смотреть представления с комфортом, надо было купить ложу. А это уже три рубля двадцать копеек – дороже, чем в московском саду «Эрмитаж»!

Алексей Николаевич стоически вытерпел и эти цены, и номера артистов. Цыганские романсы в исполнении Кардиналовой ему даже понравились. «Дамская гвардия» оказалась незамысловатым парадом смазливых девок, а комики-эксцентрики были вульгарны. Рефреном через все представление звучала незамысловатая песня:

Ростов-на-Дону,
Ставрополь-на-Волге*,
Я тебя не догоню,
Твои ноги долги.

Однако загрустившая было Ольга воспрянула, и на том спасибо.

В час ночи духовой оркестр замолчал, публика начала расходиться. Большинство пошло на станцию трамвая, расположенную напротив Николаевской больницы. Но Лыков помнил слова местных сыщиков, что вокруг Александровского сада небезопасно, и заранее арендовал извозчика. Тот взял их и двинулся через межу к Ростову. Фонари на пролетке едва горели. В их тусклом свете мелькали какие-то тени, мимо шныряли темные фигуры… Сыщик стал беспокоиться, но тут луна вышла из-за облака и сделалось веселее.

* В то время так называли город Тольятти.

Вдруг лошадь застыла как вкопанная. Алексей Николаевич сразу понял, что дело плохо. Двое рослых парней держали кобылу, и еще двое маячили справа. Один из них вскочил на подножку, осмотрел седоков и радостно крикнул через плечо остальным:

– Золотые очки есть!

Налетчик ухмыльнулся как-то особенно мерзко и, не обращая на Лыкова никакого внимания, протянул руку к лицу Ольги Дмитриевны. Та испуганно отшатнулась и вжалась в спинку сиденья. Тут питерец рассвирепел. Дикая злость охватила его. Нападать на женщину? Ну, держись…

Он перехватил руку вентерюшника, резко дернул на себя. Парень полетел на пол пролетки, и Лыков сверху ударил его кулаком в шею. Так, чтобы основательно оглушить. Затем он выпрыгнул наружу, целясь каблуком в челюсть второму негодяю. Но бандит ловко увернулся и в ответ так заехал питерцу в глаз, что тот едва устоял на ногах. Налетчик загоготал:

– Что, ндравится мое угощение? А вот еще, анафема!

Он сунулся к храбрецу, размахивая кулачищами. Однако Лыков уже оправился от удара. Он тоже шагнул вперед, увернулся от кулака, пнул противника в колено. Детина с руганью согнулся и тут же получил сбоку такую плюху, что улетел под ноги кобыле.

Третий бросил уздцы и кинулся на сыщика. В свете луны блеснул нож. Дело принимало опасный оборот. Но Алексей Николаевич только сильнее разозлился. Не хватало еще, чтобы его зарезали в Ростове какие-то халамидники! А то, что у них холодное оружие, лишь развязывало сыщику руки. Так, значит? Он увернулся от клинка, пропустив его мимо левого бока. Затем прижал кисть противника локтем и справа нанес короткий, страшной силы удар в голову. Нападавший рухнул как сноп. Увидев это, четвертый вентерюшник испугался. Он закричал, словно раненый заяц, и исчез в кустах.

Разгоряченный боем, Лыков осмотрелся. Из экипажа послышалось кряхтение, и над бортом показался любитель золотых очков. Питерец выдернул его наружу, поставил перед собой и дал еще раз.

– Это за мою бабу!

Нагнулся, поднял того, что подбил ему глаз, и прислонил к экипажу:

– Ну, а как тебе мое угощение?

– Барин… ох…

– Это тебе за фингал!!

Он врезал так, что детина своей тушей выломал борт пролетки. Затем, убедившись, что бить больше некого, сыщик достал свисток и начал наяривать полицейский сигнал «ко мне!».

Раздался топот, и подбежали сразу несколько городовых. Через секунду к ним добавился Англиченков.

– Что здесь? Алексей Николаевич, вот не ожидал!

– Займись, Петр Павлович. Двое в сознании, третий навряд ли. Напал на меня с ножом, подбери его и укажи в протоколе. Четвертый удрал.

Надзиратель сначала поднял нож, присвистнул. Потом рывком попытался поставить на ноги его обладателя, но у него не получилось.

– Чернобай, помоги.

Полицейские вдвоем вытащили налетчика из-под дышла. Англиченков вынул электрический фонарик, посветил:

– Ого…

– Что, знакомого встретил?

– Алексей Николаевич, – напряженным голосом сказал не имеющий чина, – это Меньшой Царь. Собственной персоной.

– Ну, попался! Теперь в каторгу пойдет, сукин сын.

– Не пойдет. Он мертвый.

Лыков несколько секунд молчал, ошарашенный. Потом спохватился:

– Ты нож-то нашел?

– Точно так.

– Обыщите остальных, все оружие, что при них есть, тоже внесите в протокол. Потом пригодится…

– Мы, Алексей Николаич, вас в обиду не дадим, – мрачно сказал Англичанков. – Необходимая самооборона, и точка.

– А уж эту дрянь и жалеть нечего, – загалдели городовые. – Подох, и ладно. Давно его черти ждали, аж соскучились!

Остаток ночи Лыков провел в Третьем полицейском участке. Сначала, правда, он отвез в гостиницу Ольгу. Та была напугана, но держалась. Она впервые увидела своего друга в бою. И хотя слышала о его силе, но была поражена. Тот разобрался с тремя бандитами, отделавшись лишь фонарем под глазом.

Арестованных обыскали и нашли два ножа и топор с укороченной рукояткой. У Меньшого Царя обнаружили револьвер. Доктор Линдеберг сделал вскрытие убитого и записал: удар, повлекший за собой смерть, был нанесен тяжелым тупым предметом. Начался дурацкий спор насчет этого предмета. Сыщик объяснял эскулапу, что бил кулаком, что ничего тяжелее бумажника у него при себе не было. Тот сердился:

– Не стыдно мне сказки рассказывать? Я двадцать лет как врач, отличаю черное от белого. Кулаком можно проломить височную кость, сам такое видел. Но у этого перелом стеклянной пластинки, осколки черепной кости вошли в мозговую кору.

Лыкову надоело оправдываться. Он подошел к стене, ударил без замаха. Стена в кабинете пристава была толщиной в два кирпича. Тот, по которому пришелся удар, раскрошился, а второй вылетел и упал на пол с другой стороны.

Сыщик подул на отшибленные пальцы и сказал с нажимом:

– Повторяю, доктор: вот ваш «тупой предмет».

Линдеберг разинул рот, постоял так немного и пошел переписывать протокол. А Петр долго разглядывал оба кирпича, после чего заявил:

– Никогда такого не видал! Алексей Николаевич, пойдемте со мной в цирк на турнир французской борьбы.

– Зачем?

– Там такие силачи! Морре-Чеховский, к примеру, одной рукой поднимает пятерых.

– А я шестерых, и что с того? Делом надо заниматься, Петр Палыч, а не в цирки ходить. Когда можно будет допросить пленных?

– Не раньше вечера, и то если доктор разрешит.

Действительно, оба захваченных налетчика выглядели неважно. Один едва мог говорить из-за сломанной челюсти, второй мочился кровью и скулил.

– И вообще, Алексей Николаевич, – посерьезнел надзиратель, – вам теперь о другом надо думать.

– О чем? – спросил питерец, хотя и догадывался.

– А об том, как спасаться, – рассердился молчавший доселе Блажков. – Вы ж у них брата убили, они отомстить захотят.

– Средний Царь имеет под рукой много головорезов, – подхватил пристав Третьего участка Новиков. – А Самый Царь, тот вообще нанимает на Кавказе абреков. Когда ему понадобилось захватить в Забалке лучший кирпичный завод, прибыли на поезде пятьдесят кинжальщиков. И все! Наследники даже не пикнули, и в полицию никто не обращался. Ехали бы вы, господин коллежский советник, восвояси. Покуда целы…

Лыков посмотрел на пристава и с усмешкой ответил:

– Не могу, у меня ревизия не закончена.

– Черт бы с той ревизией, – встрял Блажков.

– Яков Николаевич, мы же с вами договорились! Изловим всех жуликов подчистую, тогда и поеду.

Коллежский регистратор только махнул рукой…

В четыре часа утра, усталый и разбитый, Алексей Николаевич отправился в гостиницу. Но спать ему в эту ночь, видимо, было не суждено. Он проходил по Большой Садовой мимо нового собора. Вдруг впереди, со стороны Дмитриевской, раздались два выстрела. Что за чертовщина? Питерец остановился и прислушался. До него донеслись крики, свистки, и тут началась такая пальба, словно шло батальонное учение. Ай да городок, подумал он. Развернулся и быстрым шагом двинул на шум. Оружия у командированного при себе не было, но хотелось узнать, что там происходит.

Идти пришлось далеко. Пока он добирался, стрельба стихла. На Старом Базаре несколько городовых окружили околоточного надзирателя и что-то разглядывали. Сыщик приблизился и сказал начальственным тоном:

– Я коллежский советник Лыков из Департамента полиции. Что случилось?

Околоточный посмотрел на незнакомца, задержался взглядом на синяке под левым глазом и ответил:

– А предъявите документик, господин хороший.

Питерец протянул ему свой полицейский билет. Тот прочитал, вернул билет и стал во фрунт:

– Заведывающий конными городовыми и ночной стражей губернский секретарь Филимонов.

– Здравствуйте. Так что произошло?

– Стычка, ваше высокоблагородие. Вот, поглядите: это я еще легко отделался.

Полицейский показал свою фуражку. Тулья на ней была оторвана, околыш почернел от порохового нагара.

– Ну и дела… – удивился сыщик. – В упор стреляли?

– Так точно. Вторая пуля под погоном пролетела, вон нитки торчат. Как только не уложил, дурак?

И Филимонов рассказал дикую историю. Он делал обход ночным сторожам. У дома номер сорок восемь по Дмитриевской на ступеньках парадного сидели пятеро. Околоточный на ходу спросил их:

– Чего расселись? Неподходящее место выбрали.

Парни встали и пошли прочь. Но Филимонов уже почувствовал, что это не простые гуляки. Он потребовал остановиться и предъявить документы. Незнакомцы ускорили шаг, полицейский начал их преследовать. Вдруг самый высокий из них развернулся, выхватил пистолет и дважды в упор выстрелил в надзирателя.

– Я опешил, – признался Филимонов. – Вспышка, удар; лицо обожгло. Стою и думаю: живой я или уже покойник. Но спохватился, вынул

свой наган и открыл ответный огонь. А те уж далеко убежали! Я следом. Бегу, одной рукой стреляю, второй в свисток дую. Примчались с Никольской двое постовых и присоединились ко мне. Бандиты свернули на Темерницкую, где им пытался преградить путь городовой номер двести семьдесят Савченко. Вот он стоит.

Из группы вышел дядька с медалью и отчеканил:

– Городовой старшего оклада Савченко, ваше высокоблагородие!

– Ему еще ночной сторож помогал, – продолжил Филимонов. – Но бестолку. Негодяи открыли из браунингов такой огонь, что пришлось прятаться за угол. Более шестидесяти выстрелов сделали! В результате… того… убежали они, в общем.

– И никого не поймали?

– Никого, ваше высокоблагородие. Но Савченко одного из них узнал.

Городовой опять вышел вперед:

– Дубинин его фамилие. Живет в Затемерницком поселении. Темный человек, опасный.

– А улицу и дом знаешь?

– Никак нет. Где-то повозле Колодезной…

– Придется послать человека в адресный стол, – вздохнул надзиратель. – А Дубинин за это время уже утекёт.

Тут подъехал полицмейстер.

– Алексей Николаевич, вы-то как здесь оказались? – удивился он.

– Шел к себе в гостиницу, слышу – стреляют. Подумал сначала, что на сыскное отделение напали. А где они, кстати?

Как нарочно, на этих словах прибежали наконец Блажков с Англиченковым.

– Уф! – запыхался Яков Николаевич. – Чего это у вас творится? Вся мостовая в гильзах.

Филимонов еще раз изложил происшествие. Липко посадил одного из городовых к себе в коляску и велел ехать в управление. По приезде городовой пошел будить начальника паспортного стола, который имел служебную квартиру там же, в здании. А сыщики отправились следом за полицмейстером.

– Видать, сегодня поспать не удастся, – проворчал тот, входя в кабинет. – Вот, поглядите сводку происшествий. Началось с того, что вы, Алексей Николаевич, убили Антипа Царева. Затем на Братском кладбище сыскная полиция арестовала рецидивистов Пашкова и Богданова… Это который Яшка Рыжий?

– Он, сволочь, – ответил главный сыщик. – Еще и сопротивление оказал, чуть мне руку не вывихнул.

– Молодец, Яков Николаевич. Далее. В Нахичевани в Шестом участке схватили известного конокрада Анисима Чуйко. С поличным. Но это не все!

Полицмейстер вздохнул, залпом выхлебал стакан холодного чая и продолжил:

– В три ночи шайка громил взломала двери бакалейной лавки Халатова, что на углу Малой Садовой и Среднего проспекта. Угрожая сторожу револьверами, вынесли товара на восемьсот рублей, погрузили в поджидавшего их извозчика и уехали. Рядом стоял городовой Третьего участка. Он все видел, но стрелять побоялся: бандитов было восемь человек. Что теперь с ним делать – не знаю…

– Выгнать из полиции, – непримиримо заявил Англиченков.

– Больно ты быстрый, Петя, – ответил коллежский асессор. – Сам, конечно, никого не страшишься. Но другие-то не такие!

Все дружно посмотрели на командированного. Тот спросил у Липко:

– За семью испугался?

– Ага. Пятеро детей, и жена опять на сносях.

– Поставить на стойку* и простить.

Полицмейстер кивнул, довольный, и продолжил:

– Затем из кордегардии, что в нашем здании, замыслили побег содержавшиеся здесь арестанты. Уже вырезали пробой в двери, да, слава богу, караульные вовремя заметили. В это же время на Старопочтовой кто-то поджег Алафузовские амбары. И наконец, так сказать, под занавес, нападение на Филимонова. Не многовато для одной ночи? Что будем делать, господа правоохранители?

– Облаву самое время провести, – дал предложение Блажков.

– Мы вечером с Алексеем Николаевичем по Богатяновке прогуляемся, шухеру наведем, – поддакнул Англичанков.

– Это еще зачем? – возмутился полицмейстер. – Гусей дразнить?

У Лыкова уже глаза закрывались – так хотелось спать. Поэтому он не стал пререкаться. Сговорился с не имеющим чина встретиться вечером в ресторане Жудика, что в Городском саду, и отправился в гостиницу.

Ольга не спала, ждала его. Вид у женщины был измученный: под глазами мешки, на лице проступили морщины.

– Ты почему так долго? Я вся извелась, думала: у тебя неприятности из-за этого случая.

– Успокойся, обойдется. Ну убил я одного негодяя. Он напал с ножом, и целая шайка с ним. Ни один судья за такое не накажет.

– Что нам делать?

Сыщик как мог успокоил женщину. Сказал, что утро вечера мудренее, сейчас надо поспать, а за обедом они что-нибудь решат. Но, скорее всего, Ольге придется уехать в Петербург уже завтра. Бандиты могут начать мстить. Подруга будет сковывать действия сыщика, одному ему проще. Увы, им надо расстаться на время.

Заснул Алексей Николаевич мгновенно. Подумал лишь, что столько происшествий за одну ночь – действительно многовато. И Липко еще не все назвал. Сыщик успел прочесть сводку: там дополнительно значились несколько краж, ограбление кассира кафельного завода Тимофеева, взлом ларя с рыбой на Рождественском крытом рынке. Фартовый город Ростов-на-Дону! Заканчивалась бумага словами: «Уровень воды в гирлах – восемь и две трети фута».

---

* *Поставить на стойку* – вид наказания, когда виновный в полной амуниции длительное время стоит на виду у начальства.

Публицистика

Николай БЕНЕДИКТОВ

Российский политический деятель, писатель, философ. Родился в 1949 году в Горьком. Окончил историко-филологический факультет Горьковского государственного университета. Доктор философских наук, профессор. Избирался депутатом Государственной думы третьего и четвёртого созывов.

Автор ряда книг, в том числе «Русские святыни» (Москва, 2003) – о системе ценностей русского народа. Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

«ВЕЛИКОЕ ДИТЯ ОКАЯННОГО МИРА»

По прочтении книги Льва Данилкина «Ленин: Пантократор солнечных пылинок»

Написано о Ленине очень много. В основном это книги двух сортов в зависимости от отношения автора к Владимиру Ильичу хвалебные или ругательно-разоблачающие. И вот появляется книга неизвестного автора с непонятным названием – «Ленин: Пантократор солнечных пылинок». На обложке фото Ленина в мешковатой одежде, в панаме и с тросточкой. Что бы это значило?

Без особых, признаться, ожиданий – прочитал. И не пожалел. Книга в целом неплохая и потому заслуживает отдельного рассмотрения, тем более что оставляет без ответа ряд вопросов, а порой и просто вызывает удивление.

Автора можно считать представителем первого постсоветского поколения, то есть сформировался он как писатель уже после 1991 года. Этим и интересен: он пытался понять Ленина и рассказать о нем по-новому – и для нового поколения. Отсюда и язык, чудной и непривычный, как потом в интервью скажет сам автор, язык вульгарный и плебейский, – Ленин «орал», «разорался», «долдонил», «вопил», «имел бульдожью хватку» и тому подобное. По словам Данилкина, этим он пытался приземлить Ленина и сделать его понятным новому поколению, не обремененному советскими идеологическими штампами. Вместе с этим у автора нет желания принизить вождя.

Применяясь к нынешнем веяниям, автор употребляет современный волапюк. На читателя обрушивается слова «краудфандинг», «айнтопф»,

«обсессия», «хайкинг», «лайфхек», «батрахомиомахия», «юзер-фрейндли», «азан», «провенакс» и прочие, и прочие «мерчендайзеры». Посочувствовал автору: трудно быть современным – и улично-помоечный сленг надо употребить, и англицизмы дурного пошиба.

В интервью Л. Данилкин говорит проще и лучше, нежели в книге. Он говорит, что пытался понять и передать гений Ленина, его великое и современное значение с учетом ленинопада на Украине, при этом вспоминая и гитлеровский ленинопад – свержение ленинских памятников на оккупированных территориях.

Надо признать, работу автор проделал колоссальную, поездил по ленинским местам, прочитал тучу книг, попытался понять гения и его время. И премию «Большая книга» получил заслуженно.

А теперь подробнее.

О сущности и пантократоре

Сам Данилкин справедливо написал, что умножая количественные примеры не приближаешься к сущности. Тут не поспоришь. Например, словечко «пантократор» означает «вседержитель». Это титул богатворца всего сущего, а вовсе не только солнечных пылинок. Поэтому «пантократор солнечных пылинок» означать может что угодно, а вот истолковать его трудновато. Чувствуется некая претензия на красивость и интеллектуальность, но не более того. Поэтому, говоря о книге, хочется отметить то, что не заметил или не понял автор в своем персонаже.

Есть правило исторической критики, которое может быть применено к осмыслению любого текста. Это правило гласит: текст на 70% говорит об авторе и только на 30% – о предмете. И ничего тут не поделаешь! А если автор пишет о гении? Что ж, из собственных штанов не выпрыгнешь.

Когда наши «западники» вслед за Чаадаевым говорят о пустоте нашей истории, то как теоретики они весьма сомнительны. Получается, что Наполеон в Европе – это великая и красивая история. А Бонапарт в России – уже мышиная беготня. Ричард Львиное сердце – это красиво и интересно, вспоминаешь книги Вальтера Скотта «Айвенго». Но заглянем в «Историческую энциклопедию»: «типичный средневековый рыцарь-авантюрист, Ричард I вел беспрерывные войны, чуждые интересам Англии и стоившие ей огромных средств». А Святослав и его византийские войны, или его же война с хазарами – это, выходит, свое – домашнее и скучное? Как к этому двойному счету относиться?

Аналогично и с Данилкиным. Он пишет, что марксизм для Ленина есть высший абсолют. Однако сегодня можно прочитать книгу С.Г. Кара-Мурзы «Карл Маркс против русской революции», в которой автор убедительно показывает, что Маркс и Ленин расходятся во многих и серьезных вопросах. Значит, марксизм для Ленина не абсолют.

Данилкин и сам чувствует, что какие-то вещи не уловил, прошел мимо. Например, у Ленина экономических работ намного больше философских. Однако Данилкин привлекает внимание лишь к одной «Развитие капитализма в России». Но ведь остальные тоже имели какое-то значение, для чего-то писались. Понятно, что литератору они могут быть не очень интересны, но смысл ленинских размышлений и переживаний в таком случае передается автором неадекватно.

Можно бы сказать, что и ладно, ведь автор старался. К сожалению, он прошел мимо слишком серьезных вопросов или даже их исказил. Поэтому и придется о них поговорить.

К примеру, почему у Данилкина Ленин после революции встречается только с чудаками-учеными, и даже более того – несостоятельными любителями-аферистами? Разве так было на самом деле? Автор и сам знает, что неправ, и говорит об этом в интервью. Ведь Владимир Ильич открывал академические институты, помог К. Циолковскому, П. Флоренскому, И. Павлову. Из прозрений «чудака» Циолковского выросла наша космонавтика, и исчезла недосягаемость США. Уж куда как практично оказалось «чудачество» Константина Эдуардовича! Из работ Флоренского выросли целые направления наук, а не только ГОЭЛРО и электростанции, развилась и стандартизация электрических параметров, на чем и сегодня мы стоим. Про академика Павлова и объяснять не стоит. Если же по книге Данилкина, то Ленин выглядит этаким доброжелательным и бестолковым чудаком, что дает повод подленько подхихикивать различным Ерофеевым. Впрочем, Вик. Ерофеев сразу вызывает в памяти известное соображение В. Вересаева из его «Пушкина в жизни»: для камердинера нет героя, ибо он видит героя без штанов. Но Гегель правильно заметил, что это не потому, что нет героя, а потому, что это взгляд лакея и холуя. Такое искажение истины весьма чревато искажением и облика и смысла действий вождя.

И, пожалуй, главное. Почему Ленин стал великим, почему его слушались и за ним шли? Вот эта сторона проблемы самая интересная и недостаточно отражена у Данилкина.

Загадка Ленина

Первое, что хотелось отметить и что в какой-то мере оправдывает писателя, – это ленинская закрытость. Об этой черте ленинского характера Данилкин не пишет. И зря!

Ленин в свой внутренний мир почти никого не допускал. Поговорить по душам? С кем? Сын штатского генерала растет в маленьком городе Симбирске, и все с ним милы и приветливы. И вдруг отец умирает, а старший брат, страшно сказать, покушается на цареубийство. «Общество» отшатнулось, удар по начальной ленинской открытости весьма и весьма тяжелый. Затем революционная работа наложила мощный отпечаток своей конспиративностью. Броня закрытости резко затвердела. И, наконец, Ленин просто не переносил пустой болтовни, особенно усугубленной выпивкой. Он был трезвенником (хотя мог выпить кружку пива) и работником. Во время пустой говорильни явно переставал слушать, люди это видели и уходили.

Автор воспоминаний о Ленине Н. Валентинов описывает такие случаи. Хороший вечер, собравшиеся беседуют о литературе. Ленин в хорошем настроении разговорился. Валентинов считал себя лучшим в мире специалистом по Тургеневу и в разговоре вдруг осознал, что Ленин знает писателя лучше его. Ночью другой участник разговора (Воровский) записал ленинские высказывания, а утром обратился за проверкой точности к Ленину. Владимир Ильич занят другими важными вещами, вопрос не к месту и не ко времени. И собеседник слышит в ответ, что Ленин и не читал вашего Тургенева. Ф. Дан потом напишет,

что Ленин был литературно не очень образован. Понятно, что оценка Дана больше говорит о самом этом меньшевике, нежели о Ленине.

Или другой случай. Луначарский приглашает Ленина в театр, а в ответ получает записку, в которой: «…в гробу видел Ваши театры. Занимайтесь, наконец, школами, просвещением». Это замечание Председателя Совнаркома наркому культуры и просвещения и, конечно, вовсе ничего не говорит об отношении Ленина к театру, а указывает на несвоевременность увлеченности театральными делами в конкретный период времени. Вот уж истинно по Тютчеву: «Мысль изреченная есть ложь».

Интуиция Ленина

Вторая сложность для любого автора работ о Ленине состоит в его загадочной интуиции. Данилкин в эти психологические глубины не забирается. Впрочем, об этом вообще никто не пишет. А ведь тема очень интересная.

Психологически Владимир Ильич является классическим интуитивистом. Это означает, что человек данного психологического типа дает ответ на какой-то вопрос, а размышлений, ведущих к этому ответу, явным образом не приводит.

Что такое интуиция? Толком никто не знает, существуют различные точки зрения, идут споры. Такая ситуация нередко приводит к удивительным историям. Так, гений физики и математики и интуитивист Анри Пуанкаре написал формулу определенной функции, получившей его имя, а потом его что-то отвлекло, он более к этой проблеме не вернулся. В результате исследователи около ста лет пытались доказать и вывести логически эту функцию, пока наконец это не удалось сделать. Наполеон, например, считал интуицию просто быстро сделанным расчетом. То есть интуиция – это расчет. Вряд ли это правильно, однако и в бонапартовском варианте расчет должен быть представлен. Иначе интуитивный вывод кажется людям бездоказательной догадкой, повисает в воздухе.

А как это выглядит по работам Ленина? Он появляется на общественной арене в период, когда продолжаются споры об экономической сути России. Народники пишут, что капитализм есть болезнь Европы, а в России нет или очень мало капитализма, да и тот привнесен. Ленин с первой опубликованной работы и с первого публичного выступления исходит из наличия наступившего в России капитализма. А годами позже он пишет капитальное исследование «Развитие капитализма в России», работу, в которой он доказывает, а не просто провозглашает наличие капитализма в России. И ценно, что Данилкин уделил этой работе большое внимание.

Другой пример. В 1915 году Ленин пишет статью «О лозунге Соединенных штатов Европы». В ней он впервые делает вывод о возможности победы социалистической революции в одной отдельно взятой стране. А потом годами Ленин пишет цикл работ по империализму, в которых он доказывает, что империалистическая стадия капитализма резко увеличивает противоречия общественного развития, а поэтому возможен прорыв цепи капитализма в одном звене, в одной отдельно взятой стране. Иными словами, сначала вывод, а потом идет доказательство. Соратники Ленина неоднократно отмечали неожиданность его выводов.

Впрочем, подобная неожиданность не всегда может быть объяснена интуицией или иными современными наукообразными словами. Можно употребить и другую терминологию.

Хлеб и мистика

Приведу пример, который в советское время любой политиздат старался убрать из работ по ленинизму. В 1917 году Ленин находится на нелегальном положении и скрывается в семье рабочего. Хозяйка принесла купленный свежий хлеб и позвала Ленина к столу. Владимир Ильич откусил хлеб и вслух восхитился его качеством и свежестью. Хозяйка сказала, что, мол, буржуи боятся сейчас нам плохой хлеб давать.

Ленина этот случай поразил. Он неоднократно к нему возвращался. Мне, говорил Ленин, человеку, не знавшему голода, трудно связать вопрос о качестве хлеба с классовыми производственными отношениями. Мысль интеллигента идет длинным извилистым путем от классовых производственных отношений к качеству хлеба. Рабочий же видит эту связь прямо как на ладони.

Интересно, что в данном случае пролетарский подход в советской литературе назывался практикой, а аналогичное получение истины без посредствующих размышлений («на ладони») в православном учении – мистикой. Ленинское обозначение практики и формулировки В. Лосского (см. его «Очерки мистического богословия») понятия мистики во многом совпадают. Как видим, в данном случае вряд ли можно объяснить ленинские прозрения с помощью одной лишь интуиции.

В известной сцене из романа «Мастер и Маргарита» на Патриарших прудах Воланд рассказывает о своих разговорах с Кантом. Кант уничтожил все научные или претендовавшие на научность доказательства бытия божия, а потом выдвинул свое и совершенно ненаучное жизненно-чувственное доказательство. Неграмотные веруют без рациональных аргументов, они чувствуют бога!

П. Флоренский добавил свое доказательство и тоже ненаучное («Есть “Троица” Рублева – есть Бог»). Рациональных доказательств здесь, как видите, нет. Однако если у вас есть эстетическое чувство, то доказывать ничего и не надо, истину красоты видно глазом!

Но стоит добавить, что оба доказательства не имеют никакого отношения к проблеме интуиции. Данилкин справедливо говорит о громадном количестве часов, отведенных на преподавание закона божьего в симбирской гимназии. Фактически ученики гимназии получали мощное богословское образование. И важно, что Данилкин это отметил. Правда, истолковать и использовать для расшифровки своего героя не сумел. Впрочем, в данном случае можно сказать, что Данилкин присоединился к подавляющему большинству пишущих о Ленине. Прошли ли бесследно богословские часы для мировоззрения Ленина? И сразу вспоминаются выпускники семинарий Сталин и Микоян, да и другие.

Марксизм и Ленин

Как уже говорилось, Данилкин излишне однозначно связывает мировоззрение Ленина и марксизм. А так ли все прямолинейно? Исключительно важным выглядит вопрос о соотношении европейской

марксистской и ленинской мысли. На мой взгляд, нетрудно заметить несовпадения и противоречия между классическим марксизмом и ленинизмом. Некоторые бросаются в глаза. Так, Маркс очень не любит Герцена, впрочем, взаимно. Ленин же пишет хвалебную статью «Памяти Герцена». Он знает о взаимной нелюбви Герцена и Маркса, однако пишет хвалебную статью и никак не обсуждает возникшее противоречие между тоном его статьи и провозглашаемой им приверженностью марксизму.

Маркс очень не любит крестьян. Он употребляет выражения «идиотизм сельской жизни», крестьяне для него «недочеловеки», поскольку не превратились в буржуа или пролетариев. Ленин же крестьян – большинство населения России – явно отличает как тружеников, не позволяет себе никаких уничижающих терминов по отношению к ним. А Валентинов пишет даже о постоянных крестьянофильских пассажах Ленина.

Маркс очень не любит Россию, ведь она «жандарм Европы». Эта нелюбовь нередко приводит к несправедливым и злобным упрекам русскому началу. Так, в статьях по восточному вопросу и о судьбах славян, угнетаемых турками, нередки выражения, с которыми вряд ли согласятся любые революционеры. Энгельс как альтер эго Маркса писал о русской борьбе за освобождение балканских славян как о «наглых происках царских агентов против цивилизаторской миссии турецких феодалов».

А Ленин же безусловно является патриотом России. Если Люксембург была деятелем германской, польской и русской революции, Троцкий – деятелем американской и русской революции, Артем (Ф.А. Сергеев) – деятелем австралийским и русским, то Ленин всегда был только русским деятелем, а всемирным стал в силу масштабности России и ее роли планетарного значения. Если же сталкивались интересы революции и России, как это случилось в дискуссии о Брестском мире, то Ленин явно выбирал Россию. Напомню, что ему пришлось выступить против всего политбюро, в составе которого были не только Троцкий, но и Сталин, и Дзержинский, то есть фигуры весьма стойкие, однако Ленин сломил их сопротивление. Ленин писал о Владивостоке как о городе «нашенском», писал с восхищением о патриотизме арзамасского крестьянина, готового голодать, но сохранять Россию.

Противоречия касались и теоретически важных положений. Маркс и Энгельс пишут о возможности победы социалистической революции во всех или большинстве развитых стран. Ленин, напомним, доказывает возможность победы социалистической революции в одной отдельно взятой стране, и, конечно, речь идет о России.

Он «знал одной лишь думы власть» – Россию. И это, пожалуй, главное, что удалось хорошо показать Данилкину.

Абсолютная истина Ленина

На мой взгляд, автором упущены возможности порассуждать о философской части ленинских работ. Совершенно исключительный интерес представляет ленинская теория познания и истины. У Маркса и Энгельса истина никак не связана с абсолютом, над вечными истинами они иронизируют. У Ленина же, как известно, сама истина вытекает из наличия объективной, а следовательно, и абсолютной истины.

Признание абсолюта всегда в философии означало признание бога и вечности. Поэтому Богданов написал специальную книгу против Ленина «Падение великого фетишизма», в которой обвинял Владимира Ильича в религиозных корнях его философии. Известный философ А.Ф. Лосев, монах тайного посвящения, обвиненный в клерикализме, защищался в советское время отсылкой на ленинское признание абсолюта.

Можно назвать наиболее близкое ленинскому учению об истине – это учение основателя православной философии исихазма Григория Паламы. К сожалению, спор Ленина и Богданова не получил продолжения, однако несовпадение взглядов Маркса и Ленина видно невооруженным глазом.

Противоречия марксизма и Ленина

Трудно умолчать философу и об упущенных Данилкиным возможностях объяснить особенности марксизма, не получившие продолжения в ленинизме. Дело здесь не в том, что ряд позиций Маркса и Энгельса устарели. (Например, сумма углов треугольника равнялась 180 градусам, что казалось Энгельсу вечной истиной, а в это время уже была развернута полностью геометрия Лобачевского.) Речь идет о существе теоретических посылок марксизма. Ведь Маркс писал в «Капитале» об идеальном капитализме, о теоретическом идеале, и при этом, как он сам подчеркивал, автор отвлекался от географических условий, наличия других стран, наличия некапиталистических классов, национальных особенностей. Для теории это не страшно. Ведь по теории вероятностей мы не можем встретить на улице подряд тысячу мужчин, однако можем встретить полк солдат. И этот полк не отменит верности теории вероятностей. Просто теория вероятностей не рассматривает и отвлекается от социальных условий, наличия армий и т. п.

Поэтому революции не делаются в самых развитых странах, ибо свои проблемы эти страны могут перекачать в менее развитые, революции делаются в странах второго эшелона. Попробуйте сегодня отвлечься в мировой политике от наличия бандитских войск США и НАТО в зависимых странах – ничего не получится. Да и независимые страны типа Северной Кореи и Кубы никогда не могут забыть наличие в мире американских вооруженных сил. Бомбежки Ирака, Югославии, Ливии, Афганистана, разгром Гренады, Панамы и прочие подобные примеры убедят любого в необходимости учитывать факторы, от которых Маркс отвлекся в главном своем труде. Ленин это хорошо понимал. Когда ему пришлось отвечать на догматическую критику Н. Суханова, то он справедливо говорил об учебниково-азбучной подготовке его противников. Ленин же далеко отошел от учебника. Чтобы его описать, нужно представлять его открытия, его неожиданные для всего мира шаги, и лишь тогда великанский масштаб его личности может быть обозначен.

Наш великий литературовед и мыслитель П. Палиевский справедливо и точно заметил: «славянофильство и марксизм развивались параллельно. Оба обозначили решимость философии выйти за пределы ума – к действительности». И в этих словах намек на разгадку тайны Ленина. Он, с одной стороны, все время думает о России (как и славянофилы), а с другой стороны, использует марксизм как средство. При этом окружающим часто невдомек способ получения вывода и следо-

вательно действий гения. Он видит реальность, но по-другому. Как тут спорить?! Н. Бухарин, и Н. Гиммер-Суханов, и другие не понимали ленинский способ видения реальности, но признавали его жизненность и основательность. Главное: Ленин видит реальность, и его успех прямо связан с тем, что он ее правильно видит.

Гений и труд

Думается, писатель должен был озаботиться и попытаться объяснить истоки великанского масштаба личности главного своего персонажа. Этого не случилось. А истоки состояли в том, что Володя Ульянов был от природы фантастически одарен. Ему удивительно легко все давалось. Его мать очень беспокоилась, что сын не научится трудиться. Это очень русская проблема. Каждый педагог знает, что русские дети очень одарены и талантливы, а поэтому не всегда могут научиться трудиться. Встретишь такого талантливого ученика через много лет, а перед тобой, к сожалению, совершенно рядовой обыватель. И обратное бывает. Ученик был средний, но он очень старался, работал, в результате через много лет мы можем встретить весьма неординарную личность.

Мать Ленина Мария Александровна сумела компенсировать легкость усвоения знаний необходимостью трудиться. Получился очень дисциплинированный труженик. И его целеустремленность и гигантскую работоспособность отмечали все. Увлеченность работой могла доводить до упадка сил. Он входил в раж, работал очень много и быстро, после чего наступал упадок сил. Валентинов (Вольский) приводит в своей книге о Ленине пример подобного прилива-отлива. Задолго до революции, еще до ранения и заболеваний, написание очередной работы совершенно измучило вождя. И когда Надежда Константиновна вывезла его восстановить силы в сельскую местность, то местные ребятишки прозвали его «дрыхалкой» потому, что он садился на пенек и мгновенно засыпал вместо поиска грибов.

Интересно, что подобная запойность в работе как правило связана с увлеченностью темой. Так, И. Гончаров был явным флегматиком, однако свой главный роман «Обломов» написал практически за две недели как «под электроударом». Лощиц в своей книге о Гончарове пишет об этом с удивлением: роман писался много лет, но главное содержание (как говорят сегодня «кирпич») было написано удивительно быстро: «три страницы в час. Это как бы под диктовку… История написания «Обломова» предстанет перед нами как выдающийся феномен творческой продуктивности, один из самых выдающихся за всю историю новоевропейской литературы. “Мариенбадское чудо” – так обычно именуют этот феномен литературоведы, биографы Гончарова, подчеркивая тем самым, что события лета 1857 года в жизни писателя – вещь, пограничная с чем-то сверхреальным, умонепостижимым» (Ю. Лощиц, «Гончаров». М., 1977) . Та же серия «ЖЗЛ» подтверждает это правило: много читали и много писали и англичанин едва ли не основатель протестантизма Джон Виклиф, и русский писатель и публицист Н. Чернышевский. Видимо, ощущение ценности труда дает мощнейший импульс к работе.

Ленин работал быстро и много. Как-то посчитал некоторые сравнимые показатели. Так, науковеды давно сосчитали, что квалификации выше советского доктора наук в мире нет (западный доктор наук

сравним с нашим кандидатом). В течение жизни наш доктор наук публиковал около 75–80 печатных листов. Ленин выполнил эту норму уже к 30 годам. Подчеркиваю: это внешние механические показатели, они вовсе не учитывают гениальности содержания и выводов. Можно ведь «набоборыкать» много и бессмысленно. Если же продолжить сравнение, то нетрудно подсчитать, что Лениным за жизнь написано множество докторских диссертаций (по науковедческим показателям): 4 философских, 6 экономических, 5 политологических.

Ленин очень быстро читал. Для сравнения один пример. В воспоминаниях Чуковского говорится о том, что Горький только внешне мог произвести впечатление мало читающего самородка. На самом деле он-де ученый сухарь, прочитавший все энциклопедические словари. Так вот, Горький писал о том, как оказался с Лениным в одной комнате и не мог вчитаться в книгу потому, что слышал шелест переворачиваемой Лениным страницы. Отобрал книгу у Ленина и стал проверять прочитанное. Обнаружил, что Ленин читал, и очень внимательно, поскольку тут же начал едва ли не наизусть повторять просмотренные лишь едва просмотренные, как могло показаться, и второпях пролистнутые страницы.

Ученость и основательность

Мне довелось прочитать едва ли не все рецензии на философский труд Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Поголовно все рецензенты отмечали «китайскую» ученость Владимира Ильича, который для написания книги прочитал все имеющее отношение к теме. «Китайское» совершенно явно обозначало дотошную, доскональную, скрупулезную ученость. Вот эта исключительная основательность бросалась в глаза любому, кто знакомился с Лениным. Это и Воронцов – народник, это и Скворцов – марксист, это и рабочий Заломов, и философ Плеханов, это и артиллеристы, и политики, и проч. и проч. Всегда наблюдался один эффект. Появлялся неизвестный человек с самой обычной внешностью с неизвестной фамилией. Начинался разговор, и достаточно было Ленину сказать несколько слов, как вся окружающая компания начинала приобретать характер кружка с ясно выраженным центром. Слова Ленина всегда оказывались сказанными настолько точно и к месту, настолько основательны, что жизнь приобретала им выявленный центр и смысл. Ленинская картина мира заражала его слушателей. Данилкин немного касается этого эффекта через рассказ о человеке, который хотел убить Ленина, а вместо этого стал его поклонником.

Вспоминается очерк Горького о Ленине, где рассказывается о посещении Владимиром Ильичом артиллеристов. Он не был представлен, сами пушкари были удивлены точностью и основательностью высказанных суждений посетителя в области, вроде бы лишь их профессионально касающейся. И очень показательно, что в публикациях очерка Горького в хрестоматии для чтения в советское время, как правило, исключался отмеченный выше сюжет. Ленинский рассказ о качестве хлеба и классовых взаимоотношениях, упомянутый выше, также исключался. Мистическое и непонятное, сверхреальное, умонепостижимое (вспомним выражение Лощица) убиралось – ведь вождь должен быть «прост как правда» (выражение П. Заломова).

Похожее описывает Джавахарлал Неру появление в Индии Махатмы Ганди: словно молния в ночи освещала и проясняла все сложное и непонятное, и мысли после разговора бежали к ушедшему собеседнику. Совершенно то же самое, что Неру о Ганди, писал, и едва ли не теми же словами, Кржижановский о Ленине.

Масштаб личности

В США помнят немногих президентов – Вашингтона, Линкольна, Ф. Рузвельта, Кеннеди. Ф. Рузвельт из них единственный избирался четыре раза в президенты, превратив США в сверхдержаву. В Великобритании также не помнят всех премьеров, но уж Черчилля знают все. Известно, что во время второй мировой войны многие сравнивали Рузвельта, Черчилля и Сталина. Как правило, даже американцы и англичане отмечали наиболее эффективным лидером Сталина. Это сравнение как бы задает масштаб. Так вот, Ленин, конечно же, по сравнению со Сталиным фигура выше по масштабу. И это хотелось бы подчеркнуть.

Каждый великий человек есть своего рода загадка, а уж Ленин, говоря словами Горького, «великое дитя окаянного мира сего», тем более. И открывать его придется еще долго. И книга Данилкина – ступенька на этом пути.

Наивно было бы ожидать, что писатель раскроет все или основные стороны сложнейшей натуры гения человечества. Но мы должны воздать должное его попытке сделать это и поблагодарить за колоссальный труд, создавший дополнительные возможности людям приблизиться к пониманию.

Мамед ИСМАИЛ:

Я – ХЛЕБ МАТЕРИ, СОК ЯБЛОКА, МОЛОКО ОВЦЫ

Мамед Исмаил – азербайджанский поэт, писатель, публицист. Автор десятков книг стихов, более 50 романов и монографий, изданных в Азербайджане, России и Турции. Профессор университета им. 18 марта в г. Чанаккале. Живет в Турции.

Участвовал во II Международном литературном фестивале имени Горького, прошедшем в марте этого года Нижнем Новгороде, и дал интервью для нашего журнала.

– Мамед Мюршидович, ваша судьба – живая иллюстрация нашего бурного, подчас трагического времени. Вы уехали из Азербайджана и стали профессором одного из лучших турецких университетов. Вы незаурядный поэт, настоящий художник слова. Как отразилось то драматическое время, что вы пережили, в вашей судьбе, ваших стихах?

– Елена-ханум, ваш вопрос содержит в себе массу нюансов, но вначале хочу ответить своим стихотворением:

Слагаем песни о чужбине,
В них – новость или старина?
А в судьбах Родины отныне
Мы – быстротечная весна.

Пройдут и эти дни тугие,
Но так далек свиданья час:
Из дальних далей ностальгии
К вам вести не дойдут о нас.

При жизни нас из жизни вынут,
Произведут поспешный суд,
От нынешнего дня отринут,
Столетьям в руки отдадут*.

Как вы верно заметили, драма переходного времени отразилась не только в моих стихах, она стала причиной разрушений и в моей личной жизни. Я вынужден был оставить родину, которую любил больше жизни, и поселиться на чужбине. И теперь мне все кажется, что живу я средь тающих льдин океана…

* Перевод М. Синельникова.

На закате горбачевской перестройки я редактировал популярный в Азербайджане журнал «Молодость». И хоть это нескромно, но замечу, что многие тогда говорили, что я совершил революцию в азербайджанской прессе. Затем, после развала Союза, когда у нас победил Народный фронт, меня назначили председателем телерадиовещательной компании Азербайджана. Конечно, мне не следовало соглашаться… Но, как говорит пословица: «Если б знать, где упадешь, соломку бы подстелил». В общем, вскоре реальная власть вернулась к Гейдару Алиеву. Положение мое осложнилось. С меня стали требовать материалы, порочащие Народный фронт, и передачи, хвалящие режим Г. Алиева. И мне тогда пришлось уйти… Три года я просидел без работы. Вокруг меня встала стена молчания, как будто поэта Мамеда Исмаила уже не существовало. Даже песни на слова моих стихов запретили передавать по телевидению и радио. И мои дети испытали на себе репрессии. Азербайджан – это моя родина, моя душа, но мне были созданы такие условия, что я вынужден был покинуть страну. И я уехал в Турцию. И до сих пор здесь живу.

– В вашей поэзии звучат и ноты высокого эпоса, и мелодии пронзительной лирики. Что вам ближе – героическое звучание стиха или нежное, интимное? Кто вы больше – эпик или лирик?

– Несмотря на то что иные критики относят лирику и эпос к разным стилистическим пластам, однако, по моему мнению, у них единый язык. Моя лирика – память. Свои стихи я черпаю из энергетических глубин эпического мышления народа, из фольклорных источников. Притом, что образы многих моих стихов – это образы сегодняшнего дня, и мои герои – нынешние герои. Но они приходят как бы из сказок, дастанов, легенд. Меня притягивает к себе некая энергетическая сила, исходящая из фольклора. Мне кажется, в сказках и дастанах сокрыто дыхание Всевышнего. Сами подумайте, может ли какое-либо произведение даже самого известного современного поэта сравниться с коллективной продукцией народа, поэзией эпического мира дастана... Даже самые полноводные воды могучей реки, зная о том, что, впадая в море, река потеряет свое имя, все равно стремятся к морю. Этой миссией река награждена с рождения. И поэт черпает силу в памяти народной и желает слиться с ней.

– Турция стала вашей второй родиной. Что вы можете сказать о стране в целом? Каков ее общий гражданский настрой, какова культурная атмосфера? Куда она направляется на крайне подвижной карте мира?

– Честно скажу, в Советском Союзе я через иностранную комиссию каждый год подавал заявку на посещение Турции. Но мне отказывали. Говорили, мол, в Турцию большая очередь – и посылали меня на Кубу, во Вьетнам, в Буркина-Фасо – только чтобы я не попал в Турцию. Я объехал 34 государства! У меня есть стихотворение на эту тему:

Во мне живут два берега,
С одного на другой смотрю с вожделением,
Я горловина пролива Дарданеллы,
Каждый сквозь меня проходит.

Я написал эти строки в 1985 году, когда был запрет даже на произношение слова «Турция». Почему я написал не «Берингов пролив», не «Стамбульский пролив», а «Дарданеллы?» Как будто мне кто-то шепотом сказал: «Пиши – Дарданеллы. Все равно ты там будешь жить». Через 12 лет после написания этого стихотворения я оказался здесь, вдруг очнулся – и вижу: иду по берегу пролива Дарданеллы…

Оказавшись у себя на родине, в Азербайджане, без работы, я поехал в Турцию за работой и нашел ее на берегу пролива Дарданеллы, в университете города Чанахкала. Не удивительно ли это? Вероятно, это судьба. Турция и университет Чанахкала – это предназначенное мне судьбой место жительства. В этом плане я считаю Турцию своей второй Родиной. Я родился и вырос в Азербайджане, в России получил образование. Обе эти страны мне дороги, обе сыграли в моей судьбе большую роль. И теперь вносит лепту добра в мою судьбу Турция. Народ здесь очень трудолюбивый. Нельзя сказать, что здесь не пьют, не курят, не употребляют наркотики, но вы здесь нигде не увидите пьяного или одурманенного наркотиками человека. Если вы взглянете на карту мира, то увидите, что Турция, как мост, объединяет Восток и Запад. По своему географическому расположению она выполняет роль моста между Востоком и Западом, Югом и Севером. На мосту сложно жить. А турки на этом раскачивающемся мосту живут уже тысячу лет, в сердцевине исторических войн, сражений.

– Назовите ваших любимых поэтов исламского мира, мировых авторов – и, конечно, русских. Кто является для вас некой путеводной звездой? Или вы стараетесь охватывать внутренним взором большие поэтические пространства и не отдаете предпочтение каким-то избранным именам?

– Любимых поэтов у меня много. Если начать с азербайджанской литературы, это Физули, Сабир, Мушвиг, Али Керим и другие. В анатолийской турецкой поэзии: Юнус Эмре, Насиб Фазил Кисакурек, Назым Хикмет, Ариф Нихат Асия, Али Агбаш. В мировой литературе: Байрон, Гете, Артюр Рембо, Рильке. Из русских поэтов наиболее мной любимые: Михаил Лермонтов, Тютчев, Анна Ахматова, мой близкий друг Юрий Кузнецов и многие другие. Списки эти можно продолжить или же убавить. На сегодняшний день я считаю для себя самым близким человеком и поэтом Юрия Кузнецова. И мне кажется, что не только при жизни, но и после смерти дух моего переводчика Юрия Кузнецова меня оберегает. А поэта, которого я считал бы своей путеводной звездой, у меня нет.

– А кто ваши любимые прозаики и в русской, и в мировой прозе?

– На этот ваш вопрос отвечу длинным списком имен: Лев Толстой, Федор Достоевский, Гоголь, Набоков, Стендаль, Флобер, Гамсун, Цвейг, Моэм, Джек Лондон, Маркес, Айтматов, Джалил Мамедкулизаде, Мирза-Фатали Ахундов, Иса Гусейнов…

– В мире стал невероятно популярен турецкий писатель Орхан Памук. Как вы относитесь к его работам? Любите, принимаете, интересуетесь, спорите с ним?

– Я мог бы и Орхана Памука внести в список своих любимых писателей. В Турции к нему двойственное отношение. Есть люди, которые его любят, и есть те, кто его отрицает. И поэтому после вручения ему Нобелевской премии и в Турции, и в тюркоязычных странах это оценили неоднозначно.

Что же касается моего мнения, я думаю, Орхан Памук достоин Нобелевской премии. И потом, получение им Нобелевской премии ценно еще и потому, что ее, в лице Орхана Памука, вручили 350 миллионам турок. Конечно, эта премия делает честь тюркоязычной литературе. В этом плане Орхана Памука можно считать первопроходцем. Я от души желаю, чтобы на Нобелевскую премию были представлены и другие турецкие писатели. Но чтобы они при этом не изменяли своим взглядам, правде жизни.

– Как мировая и русская литературная критика восприняла вашу книгу стихов «Вместо письма»? На русский язык перевели ваши стихи замечательные поэты – Юрий Кузнецов, Александр Кушнер, Михаил Синельников. Как вы сами оцениваете эту работу? Составление «Избранного» всегда непростая задача для автора…

– И мировая, и русская литературная критика доброжелательно встретили мою книгу «Вместо письма». После ее выхода в «Литературной газете» появилась на нее отдельная рецензия. И в Азербайджане, и в Турции, и в Европе было высказано много интересных мыслей об этом сборнике. Книга была опубликована в Японии, Молдавии, Косове и Казахстане. Ожидается перевод книги и на другие языки мира. Хочу подчеркнуть, что все это благодаря качественной работе русских переводчиков. Если бы переводы моих стихов на русский язык были выполнены слабо, то навряд ли моя книга «Вместо письма» кого-либо заинтересовала. Но, разумеется, в книге наряду с удачными переводами есть и менее удачные. Как известно, перевод – дело сложное, стих, как отпечаток пальцев, неповторим. Недаром об этом удачно высказался Жуковский: «Переводчик стиха – соавтор поэта, автора, а переводчик прозы – его раб». Еще с молодости к работе переводчика я относился весьма серьезно. Об этом мной написано в эссе о покойном Юрии Кузнецове. Опубликовать в Москве сборник стихов – это не такое легкое дело. Помнится, когда в 80-х годах должна была выйти моя книга на русском языке, я снял ее с набора из-за некачественной работы переводчика. Но, в принципе, с переводчиками мне везло. Это видно и по книге «Вместо письма». Мои стихи в ней переведены на русский язык замечательными переводчиками. Среди них самые для меня дорогие имена – это Юрий Кузнецов, Александр Кушнер, Михаил Синельников. Кстати, в переводе Михаила Синельникова выходят в свет стихи еще одного турецкого поэта – Али Акбаша, с которой будет интересно познакомиться русскому читателю.

– Расскажите о состоянии современной турецкой поэзии. Кто вам ближе из авторов? На кого вы бы советовали обратить внимание русскому читателю, если у этих авторов есть переводы на русский и на другие языки?

– Турецкая поэзия неотделима от мировой. Мимо нее не прошли стороной модернизм, постмодернизм и другие «измы». Возьмем европейскую поэзию, которая на сегодняшний день почти вся – без знаков препинания, без рифмы, без ритма, или же современную русскую поэзию, которая не отошла далеко от классической. На сегодняшний день в Росссии большинство поэтов, и среди них очень много хороших, предпочитают писать в классическом рифмованном стиле. К примеру – Михаил Синельников. Эти поэты не ищут новизны, подражая европейской форме написания стиха – без рифмы, ритмики, знаков препинания. Думаю, они считают, что погоня за формой может привести их в тупик. Они ищут свой путь в поисках новых мыслей, размышлений.

Не знаю, в чем причина того, что в Турции давно отошли от традиционного стиля стихосложения. Возможно, это происходит от близости этой страны к Европе. В действительности хоть в феодальном теле России, хоть в Турции капитализм – это незаживающая рана, и эта рана – в стихах народа, в его музыке и в других областях искусства проявляет себя. Истина заключается в этом. Исторические события, что проносятся «над головой» народа, несут с собой дубляж, копии различных – иностранных – литературных течений. Почему я это говорю? Если мы взглянем на путь, пройденный турецким народом, то увидим,

что когда турецкий народ сам себе становится хозяином, тогда и национальная литература начинает процветать, а как только народ попадает под влияние инородной силы, то под ее влияние попадают и национальные литературные течения. К примеру, в седьмом веке нашей эры, во времена империи Гёктюрк тюрков, турецкая поэзия пользовалась стихотворным слогом слогом vezin, а как только наступило арабское владычество, этот слог сменился слогом eruz. И даже великий тюркский поэт Мухаммед Физули сетовал, что размер eruz'a не согласуется с законами тюркской речи, но – «Что поделаешь, – говорил он, – в нынешнее время я вынужден писать свои стихи этим слогом. Из-за этого меня могут посчитать поэтом, пишущим по указке…»

Гегемония европейского капитализма и европейской культуры повлияла не только на культурное развитие России, но и на культуру всех тюркских стран, во главе с Турцией. Как мне кажется, vezin с точки зрения развития схож с деревом. Так же как небольшой росток, осуществляя свою жизненную миссию, становится впоследствии большим деревом, так и vezin, развиваясь, выполняет свою миссию в литературе. Как мне кажется, в турецкой духовной жизни vezin пока не до конца завершил свою миссию, и поэты этим слогом еще долго будут писать достойные стихи. На этот вопрос я так длинно ответил потому, что это и мое больное место. Поскольку на слуху у турок и сейчас – классическая поэзия, и еще не так давно турецкий народ знал наизусть стихи Юнуса Эмре, Карачаоглана, Ашуга Вейсели, Насиба Фазили, – и вдруг он окунулся в модернизм. Хотя и у этих новейших течений есть свои авторы-звезды. Не могу не упомянуть здесь талантливейшего поэта Орхана Вели. Он писал:

Оцепенев, я смотрю
Вслед уходящему кораблю.
Слишком прекрасен мир, –
В море броситься не могу.
Слишком горды мужчины, –
И расплакаться не могу.

Разве это не прекрасно? В этом стихотворении есть все – и судьба человека, и образность, и простота речи, и мысль. Значит, поэзия – это нечто… Нечто неуловимое, не поддающееся ни vezni, ни eruz, ни модернизму... Не форма – главное. Главное, чтобы стихи были хорошие, чтобы чувствовалась в них живая душа, мысль.

И у поэзии, так же, как и у моря, есть свои приливы и отливы. И если в настоящее время поэзия испытывает момент остывания, охлаждения, – не беда. Я знаю, придет день, и любовь к стиху вспыхнет в народе с новой силой. Ведь стих нам послан во всех священных книгах. Любовь к стиху – любовь к Всевышнему.

– Как долго вы осваивали турецкий язык? Ведь, хотя азербайджанский и турецкий языки принадлежат к одной ветви тюркских языков, все же между ними есть различия. Как вы преодолевали эти неизбежные трудности?

– Никаких таких больших трудностей я не испытал. Во-первых, потому, что я отношусь к турецкой культуре с большой любовью – к ее литературе, музыке, кино; во-вторых, в свое время я был участником создания словаря турецкого языка. Это мне помогло изучить турецкий язык досконально. В начале моей преподавательской деятельности в университете, когда студенты не понимали некоторые слова, которые

я произносил, я говорил им, мол, эти слова не мои, а ваших отцов и дедов. Они пришли в эти края, в Анатолию, из Средней Азии, и затем иные слова из-за лени растеряли в дороге. Я собрал эти слова в своей памяти и решил вернуть вам. Разумеется, это говорилось шутя, затем потихоньку я стал употреблять слова, которые слышал в детстве в Товуз-Огузском районе, язык жителей которого весьма близок к языку анатолийских тюрков. Если бы турецкий письменный язык принял за основу не стамбульское наречие, а наречие анатолийско-эрзрумское, то между нашими языками – азербайджанским и турецким – практически почти не было бы отличия.

– Мамед Мюршидович, расскажите, пожалуйста, о вашей семье, родителях и детях. Мне кажется, семья – это то пространство, которое спасает наш мир от разрушения. Это воистину Божье пространство. Дом – это микрокосмос. Каковы воздух, атмосфера вашей семьи, ее традиции и обычаи?

– Елена-ханум, вы просите меня рассказать о моей боли? Если я начну рассказывать о своей семье, то это будет равносильно пересказу романа. Я единственный сын моих родителей. Мой отец, еще до его женитьбы на моей матери, на почве защиты чести совершил преступление и на пять лет был осужден. А мать моя была самой красивой женщиной на свете. Она была в разводе со своим первым мужем – из-за того, что у нее не рождались дети. Выйдя из тюрьмы, мой отец написал моей матери письмо, что хочет жениться на ней. Мать моя ничего ему не ответила. Наконец мой отец, встретив ее на лесной дороге, загородил ей путь и спросил ее – зачем она не ответила на письмо. «Послушайте, брат, почему вы так настойчивы? – ответила ему моя мать. – Разве вы не знаете, что я не плодоносящее тополиное дерево, и поэтому не смогу быть вам подругой жизни»…

Такой ответ не обескуражил моего отца: «Послушай, дорогая, – сказал он, – если Бог захочет, то и тополиное дерево плоды принесет».

Ему удалось уговорить мою мать.

Они поженились, и через девять месяцев случилось чудо, тополиное дерево принесло плоды, родился на свет я. Когда мне исполнилось полтора года, отец ушел на Вторую мировую войну. На вокзале я уснул на руках у матери. Отец хотел меня разбудить: «Сынок, открой глаза, может, эта разлука последняя…» Но я не проснулся. Мне от отца, кроме его имени и крови, текущей у меня в жилах, ничего не осталось, даже его фотографии, чтобы я мог его представить, заплакать о нем. Мое стихотворение «Отцовское фото» так и заканчивается:

Сон младенца был снегом, и снег, белолик,
Рассыпался, касался лица…
Если б только глаза приоткрыть в этот миг,
Сохранился бы облик отца*.

Вот таким образом мать с сыном остались в селе одни. Если я скажу, что меня от войны, голода, нищеты не одна, а три матери спасли, поверите? Но это было так. После ухода отца мы вначале жили в избушке, которая раньше была пчелиным домом. Из окна этого домика внутрь днем проникал солнечный свет, ночью – свет луны. Я мечтал, ухватившись за лучи солнца, луны, подняться в небеса, улететь к звездам. Затем нам в колхозе выделили участок земли, где росло всего одно дерево.

* Перевод М. Синельникова.

Это была дикая яблоня. Во дворе у нас не было никакой живности, но в один прекрасный день моя мать принесла маленького ягненка. Я спросил, чей он, она ответила, что нашла его на дороге, хозяин не нашелся, вот она и принесла его домой. «Ты жалуешься, что у тебя нет ни брата, ни сестры, так возьми его, пусть он заменит их тебе». Ягненок вырос, стал овцой. В год два раза стал давать приплод, по два ягненка за раз. И таким образом, потихоньку, у нас во дворе образовалось небольшое стадо. И, однажды раскапывая землю под яблоней, мать нашла под деревом, в земле, желтое-прежелтое яблоко; она почистила, промыла, протерла его шалью и протянула мне: «Поешь, посмотри, какое оно на вкус». Я откусил яблоко, оно было сладкое как мед. И мать попробовала плодов этого яблока и сказала, что будем по осени собирать их. Вот так мы и жили: с одной стороны труд матери, с другой – молоко овцы и ее детеныши, и еще – яблоки дикого дерева. Вот так все они вместе – три матери – моя мать, овца и яблоня – спасли меня от голода, помогли вырасти. Как это назвать, если не судьбой?

Четверо нас было – дружная, добрая,
Тихая наша семья:
Это смешная овца белолобая,
Яблоня, мама и я.
Мать представляла красу человечества,
Яблоня – все деревца,
Я всех детей, все земное младенчество,
И всех животных – овца.
Самое доброе, самое близкое,
Как это все далеко:
Ласковость детская, боль материнская,
Яблочный сок, молоко…*

Однажды, возвращаясь из школы, мы с мальчишками подрались. Я одного повалил, другой отказался со мной драться, сказал:

– Как я могу с тобой драться, ты же больной!

Я разозлился:

– Ты сам больной, почему ты решил, что я больной?

– Если бы я был болен, то и на моей груди был бы пришит амулет, – ответил мальчик.

Мой школьный товарищ был прав. Мама постоянно пришивала к моей рубашке амулет, а я не обращал на это внимания. Я не знал, что сказать своему товарищу, который не пожелал со мной бороться. Вечером, когда моя мать пришла с работы из колхоза, я, плача, сказал ей:

– Сейчас же сними с меня этот амулет.

Мать вначале не захотела его снять, но затем, видя мою настойчивость, взяв ножницы, отпорола амулет с моей рубашки. Вначале она срезала ножницами кожаную обертку, затем тряпичную, предохраняющую амулет от дождя, снега, пота. Протянув мне клочок бумаги, сказала: «На, возьми, прочти». Я ответил: «А как я могу прочесть то, что написал молла по-арабски? Мы в школе не проходим этот алфавит». Оказалось, это было последнее письмо моего отца с фронта. Мать его пришила к моей рубашке как амулет, чтобы он охранял мня. Моя мама собиралась дать мне его прочесть, когда я научусь в школе читать и писать.

* Перевод А. Кушнера.

Однажды наша овца заболела, и наш сосед ее зарезал, чтобы мясо ее не пропало. Вернувшись из колхоза, мать запричитала над овцой, оплакивая нашу кормилицу: «На кого ты меня оставила?!» Ни я, ни мама даже куска ее мяса не смогли съесть.

Однажды осенью, среди ночи, нас разбудил ужасный треск. Мы с матерью кинулись во двор. Наша яблоня, под порывом ли ветра или же под тяжестью своих плодов, раскололась на две части и упала наземь. Зима в тот год обещала быть суровой. Дома у нас не было дров, чтоб затопить печь. И хоть я не раз предлагал матери нарубить дров с веток этой яблони, она не согласилась и, когда пришла весна, вырыла длинную яму и похоронила дерево, как человека. Таким образом, вероятно, эта была самая длинная могила на свете.

Мать затем сказала, что отцы говорят: «Бог троицу любит. Овца наша ушла, яблоня не выдержала бури. А теперь очередь за мной». Она сказала правду, моя святая мать, которая похоронила даже дерево, как человека... Прошло немного времени, и она ушла, оставила меня в этом мире одного. Я теперь как бы являюсь памятником их священного дара. Я – хлеб матери, сок яблока, молоко овцы… Где бы я ни был, духи их – рядом со мной.

– Что вы сейчас пишете? Поделитесь вашими творческими планами.

– Что касается творчества, у Блока есть замечательная фраза: «У поэта нет карьеры, у поэта есть судьба». Мне кажется, что эта ссылка на чужбину была мне послана Богом. Я многое здесь понял. Смог в другой среде, в другой атмосфере, среди других людей не потерять себя. Я благодарен Турции – стране, предоставившей мне работу и жилье. Пишу много: поэзию, прозу, занимаюсь переводами. Работаю над антологией современной турецкой поэзии. Выступаю на местном турецком телевидении, печатаюсь в местной прессе. Меня спрашивают: «Признайся, стихи, которые ты сейчас публикуешь, ты ведь давно их написал?» Я смеюсь – как же я мог их раньше написать? Все эти стихи написаны за последнее время. Это плоды моих раздумий о жизни и о себе. Несмотря на уже, можно сказать, почтенные годы, какое счастье, что сердце мое не очерствело. Бог не покинул меня, и вдохновение не покинуло. За последние 23 года на чужбине я сделал столько, сколько не сделал за предыдущие 50 лет на родине. Я свободный человек, а свобода любит поэтов.

– Есть ли у вас заветная мечта, и что вам нужно для ее осуществления?

– Я мечтаю, чтобы моя родина – Азербайджан – процветала.

Я мечтаю, чтобы на моей второй родине – в Турции – были мир и благоденствие.

Я мечтаю, чтобы человек на земле стал Человеком – не развязывал войны, не разделял народы, не засорял природу… Чтобы он любил жизнь и жизнь любила его.

С Мамедом Исмаилом беседовала Елена Крюкова

Андрей РУДАЛЁВ

Родился в 1975 году в городе Северодвинске Архангельской области. Окончил филологический факультет Поморского государственного университета, два года работал там же на кафедре литературы. После был охранником в ночном клубе, замредактора в рекламной газете, корреспондентом «Северного рабочего», пресс-секретарем Совета депутатов Северодвинска.

Участник Форумов молодых писателей в Липках. Лауреат литературной премии «Эврика!» (2006). С критическими заметками выступает во множестве периодических изданий. Живет в Северодвинске.

СЛУЧАЙ ЯХИНОЙ,
или Легенда об успешном дебютанте

Еще до выхода роман Гузель Яхиной «Дети мои» был обречен на разговор при включенных громкостях раскрутки. На ажиотаж вокруг него. Двойной удар был подготовлен еще не забытыми страстями по поводу дебютной книги автора «Зулейха открывает глаза», а также «Тотальный диктант» запустил массированную промоакцию. Это то, что называется «агрессивный маркетинг», когда «Тотальный диктант» легко перерастает в пиар-диктат. Кстати, если верить «Википедии», то сама Гузель Яхина долгое время в Москве работала в сфере PR, рекламы, маркетинга. Много у нас писателей – профессиональных пиарщиков?..

В шоу-бизнесе так запускают звезд. Литература сейчас не такого уровня индустрия мозгопоражения, но продвижение книги и автора все-таки пытаются строить по лекалам шоу и по законам бизнеса. Вот и Гузель Яхина – литературная звезда, возникшая из ниоткуда и по легенде раскрутившаяся только благодаря своему таланту. «Проснуться знаменитым» – это о ней. Таков метод конструирования литзвезды. В анонсе новой книги о ней пишут как о «самой яркой дебютантке в истории российской литературы новейшего времени». Все это говорит о том, что ставки высоки. Сейчас она – «самая яркая дебютантка», а, например, после третьей книги будет презентоваться современным классиком и безусловным авторитетом, все к этому идет. Тем более что дебютную книгу благословила сама Людмила Улицкая, написавшая предисловие к «мощному произведению, прославляющему любовь и нежность в аду». Эту формулу можно применить и к «Детям моим», при этом заявив, например, что в новом романе автор подробно пред-

ставляет круги этого ада. Получается, что эстафетная палочка будущего властителя дум теперь в руках у Яхиной?..

Схожий ажиотаж сопровождает, к примеру, книги Евгения Водолазкина. Но он все-таки ученый-медиевист, и в литературные дебютанты его записывать что обидеть. Поэтому сразу – классик и духовный авторитет. Кстати, его роман «Лавр» постоянно вспоминаешь при прочтении «Детей моих».

Критики в растерянности. Это видно по первым рецензиям. Все-таки перед нами звезда, но не Ольга Бузова. Критики и не лайкают, но и дизлайки не ставят, выжидают. От бурных аплодисментов воздерживаются, отмечая, что «Дети мои» сильнее дебютного романа, но и ругать особенно не знают за что. Настораживает еще предстоящий и вполне очевидный на пиар-дрожжах читательский успех. Другой вопрос: настолько он будет долгоиграющим, но книга на какое-то время обернется горячим пирожком. Все это грозит критику со своими критическими брюзжаниями быть непонятым читательскими массами, а потому для подстраховки с этими брюзжаниями решили повременить, дождаться подходящего ветра, иначе можно персидской княжной выпасть из тренда, и поминай как звали. Смелость сейчас не в чести, поэтому больше дипломатии. Вот и Павел Басинский в своей рецензии в «Российской газете» ничего конкретного по книге не смог сказать, отметил только, что есть все шансы стать бестселлером. Не очень-то и хитрое дело в эту воду глядеть…

Чтобы узнать мнения о «Детях моих», соответствующий вопрос вывел в «Фейсбуке». Основная масса высказываний сводилась к тому, что автор попала в формат и перед нами проектная литература.

Вот некоторые высказывания из тех, кто откликнулся. «Яхина сценаристка, она и книжки собирает как коммерческое кино. Это работает, в принципе, но потом остается ощущение обманутости – вроде как покупал хлеб, а съел почему-то пончик», – прокомментировала питерский критик Наталья Курчатова.

«Остается ощущение как будто семечек переел. Язык какой-то душный, что ли, непопадание в ноты, будто все от начала до конца написано не теми словами», – Наталья Романова.

«Всегда это было. Посмотрите тиражи “Барона Бромбеуса” или Надсона в соотношении к прижизненному Пушкину. Вещь банальная, повторяющая прописные истины быстрее доходит до ума и сердца читателя, а издатели тут как тут со своими инструментами продвижения. Относиться к этому предлагаю философски», – Ольга Погодина-Кузьмина.

Если уж использовать термин «проект», то я бы от себя добавил определение «филологическая проза», которое вполне себе укладывается в понятие этого самого проекта.

Отошло то время, когда филологическая проза – это был особый эксперимент-ребус, таинственный шифр, своеобразный лабиринт Минотавра, по кругам которого водит оглушенного и с диким взором смотрящего по сторонам читателя высокомудрый автор-демиург. В целом это была аутичная мертворожденная проза для узкого круга, жаждущих войти в число посвященных и заполучить отмычки тайн.

Сейчас филологическая проза – совершенно иное. Это профессиональная литература, и предназначена она для широкого круга читателя. Для тех, кто хочет умильную и сентиментальную картинку посмотреть, сказочку услышать и историю слезливую и бьющую на эмоции.

Также рассчитана она и на читателя с претензиями интеллектуального порядка, который мнит себя за элитарного. Здесь важно сыграть на чем-то знакомом, вшить нити аллюзий, которые такого рода читатель с радостью ухватит и начнет разматывать и наматывать на клубок в формате сизифова труда. Подобная литература очень удобна для анализа, стоит потянуть за любую ниточку-образ, и готовый образчик ходовой бижутерии получится. Его можно легко за что-то выдать, так как подобная литература – вторична. Сама по себе она не самодостаточна, является намеком на что-то большее. Кому-то и достаточно этих намеков.

В филологической прозе главное подкинуть пищу для подобной интеллектуальной медитации, которая станет самозабвенной и страстной. Это как и с читателем, ориентированным на жалостливую историю, – ухватив знакомое в филологической прозе, прогрессивный читатель будет благодарен автору и примет в свой круг. Поэтому и является филологическая проза эклектичной. Автору важно заманить читателя в свой темный лес, заставляя его там блуждать. Кстати, в своей рецензии критик Константин Мильчин отметил, что Яхина «пишет каким-то петляюще-волшебным стилем, который заманивает читателя, утапливает его в сюжете и в описаниях». Что ж не попытаться утопить читателя, если сюжет с утоплением автор использует в каждой из своих книг?.. Может, в этом и коренится волшебство стиля, которое привиделось Мильчину?

Другой важный момент для понимания: книги Яхиной – это «женская проза» (кстати, и откликнулись на мой вопрос в «Фб» представительницы прекрасного пола), а сегодня, как принято считать, главный читатель – женщины. Отсюда и идет мощное воздействие на эмоциональные читательские струны: будто булавочку автор воткнет и ковыряет в ранке, а то и соли обильно посыплет. Эмоции… Это движитель в литературе, особенно за неимением прочего. Другое дело, когда сталкиваешься с поддельными, формальными. В книге Яхиной переживаешь разве что за младенца, который остался на руках у главного героя, но кто за малыша не будет переживать?.. Все же прочее оставляет равнодушным, как что-то чрезвычайно искусственное и выморочное.

«Филологический фэнтезийный роман для филологических дев», – так отреагировала моя супруга, которую также испытал книгой.

Главный герой книги – школьный учитель Якоб Бах, незаметный и мало чем примечательный, но любивший бури и бури накликавший. Бах – представитель маленького народа – немцев Поволжья из колонии Гнаденталь. Время действия – грандиозное и переломное в истории России – первая половина прошлого века. Как пишет автор в начале книги, Баха «волновало… любое искажение привычного мира», поэтому он и является наблюдателем всего происходящего. Так получилось, что почти на двадцать лет ему удалось запереться от бурь времени на противоположном берегу Волги. Вначале со своей возлюбленной Кларой, потом с дочерью и с приблудившимся беспризорником. От мира он отстранился еще и потеряв дар речи. Пытался воздействовать на мир, изменить, придумывая сказки, но вслед за добрыми пошли страшные, зловещие, которые реализовывались в реальности.

Критик Галина Юзефович в своей рецензии употребила словоключик для понимания феномена книги: «банальное». Юзефович пишет, что «на уровне идеи “Дети мои” опять сводятся к банальному “в любых обстоятельствах человек имеет шанс прожить собствен-

ную жизнь со всеми ее горестями, радостями, обретениями и утратами"». Этим словом можно охарактеризовать многое в романе. Таковы полностью главы с «вождем», которые вклиниваются великаном в мир маленьких людей. Совершенно одномерная сцена с игрой на бильярде, где к тому же появляется фюрер. Ну разве она не банальна? А сюжет, где Сталин просит зажарить наиболее активного и боевого карпа в бассейне, кормит его мясом стаю собак, которую затем отстреливает охрана, которой также не поздоровится за стрельбу?.. Так и видится глубокомысленность морально-учительных выводов, заложенных автором. Но это даже более, чем банально. Банален и посыл, связанный с жизнью главного героя – маленького человека, будто можно отгородиться от большого мира до поры, но рано или поздно он сам придет за тобой. А разве поверхностное и вторичное может быть другим, не банальным?

Прозрачен и понятен образ детей, проходящий через всю книгу. Отсюда и сказки и фэнтезийный мир, в котором ключи для детских сердец и в тоже время определенные коды для внедрения в головы новой реальности, новых идей.

Дети – это и немецкие колонисты, к которым Екатерина Великая обращается «дети мои». Для них патриархальные сказки об обетованной земле Поволжья. Это и новые герои, пионеры, барабанщик и Анче с Васькой под крылом бывшего учителя Баха, со временем выбившиеся из-под него, – новые люди нового времени. Для них и сказки новые, и новое летоисчисление, да и девиз, который где-то в воздухе: мы рождены, чтоб сказку сделать былью. А между сказками водораздел – река, дно которой устлано трупами… Такова история, меняющая мир и изменяющая человеческое сознание для новых идей: «Вот он, главный наш враг: вбитые в голову слова, вбитые в голову мысли! Тысячи слов, крытых пылью и паутиной. Тысячи мыслей, настолько изветшалых, что они уже начали разлагаться внутри черепной коробки...» – говорил горбун с прекрасным лицом Гофман. Он, как и первые колонисты, приехал из Германии за мечтой, воодушевленный новой идеей, преобразующей мир. Для нее надо очистить головы от старых мыслей.

Отсюда и разделение на новое и старое, мир детей и взрослых, которые будто два противоположных берега реки: «Мир распадался надвое: мир испуганных взрослых и мир бесстрашных детей существовали рядом и не пересекались». По словам автора, «историю движут идеи», да и «революцию в России свершила идея». Идеи зашифрованы в сказках, через них они актуализируются в реальности. Осталось подыскать разгадку этих шифров. Вообще тут большой простор для интерпретаций. Почему не заглянуть в сокрытую от глаз механику идей, их потаенный сюжет? Как уже отмечено, для филологического романа как раз и важен намек на подобную интеллектуальную конспирологию, которая может ухватить и заблудить читателя. Поле для спекуляций тут просторное. Спекулировать для пущего эффекта можно на многом, например, на теме малых народов, ставшей в последнее время достаточно модной. Да и время действия книги сейчас стало завлекательным для многих литераторов.

Подобного рода филологических произведений сейчас много в отечественной литературе. Каждое второе будто своеобразное горе от ума. Они так и остаются схемой, не перерастая во что-то большее. Филологические тексты наряду с идеологической литературой сейчас

и составляют основной массив художественных книг. Все они внешне добротны, но работают временно, на подзаводе, поэтому и необходима мощная пиар-волна, несущая своей движущей силой подобные тексты.

Случай Яхиной показал перспективность легенды об успешном дебютанте. Судя по всему, эту стратегию взял на вооружение издательский бизнес. Нам представляют своеобразный литературный лифт, создающий ажиотаж. Людям нравится подобная литературная мечта в стиле «проснуться знаменитым», и им ее любезно представляют. Есть в этом и элемент шоу. Но все это уже вопрос не творчества, а технологии. С этих же позиций следует оценивать и, например, роман Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него». Пока речь идет не о литературе, а о конструировании легенды. Читателю и предлагается жить этими легендами от одного премиального цикла до другого.

Валерий РУМЯНЦЕВ

Родился в 1951 году в Оренбургской области в семье судьи. Окончив филологический факультет Воронежского государственного педагогического института, работал учителем, завучем в одной из школ Чечено-Ингушской АССР.

По окончании Высших курсов КГБ СССР на протяжении тридцати лет служил в органах госбезопасности.

Живет в Сочи.

«...И ТАКИЕ ГОГОЛИ, ЧТОБЫ НАС НЕ ТРОГАЛИ»

Когда Н.А. Некрасов принёс рукопись «Бедных людей» В.Г. Белинскому, восклицая с порога: «Новый Гоголь явился!», великий критик скептически заметил: «У вас Гоголи-то как грибы растут», но и он, прочтя рукопись, был восхищён.

Были же времена! За каких-то несколько десятилетий явились и Пушкин, и Гоголь, и Толстой, и Достоевский, и Некрасов, и Салтыков-Щедрин, и Крылов, и ещё целый ряд знаковых писателей и поэтов, которые составили гордость русской литературы.

А что сегодня? Почему не «являются»? Кто поставил «шлагбаум»? И долго ли он будет стоять? Неужели оскудела земля российская на литературные таланты? Вопросов много. Что-то явно не так в нашем сатирическом «цехе» да и во всём сегодняшнем литературном «хозяйстве».

Сергей Морозов в своей статье «Как не попасть в литературу» со всей откровенностью пишет: «Спроса на шедевры в литературной общественности нет вообще. Шедевры – явление нежелательное… У нас и так мест не хватает. А чтобы быть принятым благосклонно в литературной среде, надо писать серо и благопристойно, как положено в приличном обществе, а не как Бог велит». И далее: «Одному не протиснуться. А тут писательское объединение. Дружина, союз, колхоз, бригада, если хотите. В единстве наша сила. От губернатора (министра, советника, председателя – нужное вписать) респект и уважуха как почётному носителю духовности. Тиснешь текстик для виду, а потом будешь ездить по школам и мероприятиям, получать гранты да пособия за хорошее поведение».

Мы чтим наших классиков и запомнили на всю жизнь их слова. Такое забыть невозможно. Как там писал М.Е. Салтыков-Щедрин?

«Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют».

Не потому ли наших классиков называют пророками?

«Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать».

А говорят, ничто не вечно под луной. Многое выглядит именно так, как почти двести лет назад.

«Это ещё ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду». Рубль продолжает «худеть». Неужели и в этом Михаил Евграфович окажется прав?

«Многие склонны путать два понятия: Отечество и Ваше превосходительство». Когда глянешь на кремлёвскую суету, понимаешь, что и это сегодня актуально.

«– Барышня спрашивают, для большого или малого декольте им шею мыть?» – А это уже характеристика, которая дана нашему поведению в быту.

А уж Иван Андреевич Крылов для нас вообще «родной»:

«У сильного всегда бессильный виноват».

«Ай, Моська! Знать, она сильна, коль лает на Слона».

«А Васька слушает да ест».

«А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь».

«А ларчик просто открывался».

«Да только воз и ныне там».

«Кукушка хвалит Петуха за то, что хвалит он Кукушку».

Написано давным-давно, а как эти фразы, ставшие крылатыми выражениями, актуальны и сегодня. Поэтому мы часто используем их в повседневной речи. И что удивительно?! Они не изнашиваются, не теряют своего качества и сегодня. Как и раньше, эти фразы блистают своим изяществом, пленяют мудростью и дают характеристику человеку XXI века.

Советские годы при всей цензурной жёсткости дали нам Михаила Булгакова, Михаила Зощенко, Сергея Михалкова, Евгения Шварца, Фазиля Искандера, Александра Иванова, Михаила Задорнова, Михаила Жванецкого, Аркадия Арканова и других сатириков в литературе. Это за 70 лет советской власти, а новая власть рулит в России уже почти 30 лет, – и на литературном горизонте пока не видно ни одного имени – одни фамилии. И ни одна из этих фамилий не может сравниться по таланту с перечисленными выше именами.

Михаил Задорнов покинул нас, но многие его фразы будут жить десятилетия. Ну как можно забыть такое: «Только русский, наступив второй раз на грабли, радуется, что их не украли».

Не отстал от него и Михаил Жванецкий: «Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один»; «Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно».

Немало авторов сегодня пишет фразы и называет их афоризмами. Но мало кто помнит, что крылатые слова имеют различную дальность полёта. Время, потраченное на пустяки, – серьёзный просчёт в любом замысле. Афоризм должен заставлять не только думать, но и чувствовать. Новые авторы допускают одни и те же ошибки: мысль тривиальна, форма выражения мысли неуклюжа и не представляет художественной ценности. Зачем повторять старые ошибки, когда вокруг столько новых?!

В советской сатире работали и такие поэты, стихи которых были «однодневками». Но кто-то из этих поэтов написал несколько по-настоящему талантливых строк, – и остался в нашей памяти надолго. Опубликованные в 1953 году строки Юрия Благова актуальны и сегодня:

Мы за смех, но нам нужны
Подобрее Щедрины.
И такие Гоголи,
Чтобы нас не трогали.

Сергей Морозов в одной из своих статей пишет: «…в литературе, как и во всякой другой сфере, с успехом освоили метод создания видимости успехов и достижений за счёт шума и гама. “Вперёд, Россия!” – вот что важно. Поэтому уже не удивляешься тому, что процесс выращивания Гоголей в последнее время решили поставить на поток… и делов-то, рот открыть: “настоящая литература”, “в России появился большой писатель…” – вот и вся хитрость, потому что таким ртам у нас верят вернее, чем Господу Богу. А кто не верит, тот либо оригинальничает для пиара, либо вообще ничего не понимает, “не профессионал”… главное – количество, а не качество. Гоголи должны прибывать с каждым днём, а куда они потом деваются, это уже не так важно».

Высказываниям наших членов жюри различных литературных премий удивляться не приходится: рождённые ползать обожают руководить школой пилотов. Многие с таким выводом не согласятся. Однако не следует забывать, что сеющий сорняки обречён на богатый урожай.

О современной сатирической прозе рассуждать не будем: нет серьёзного предмета для разговора. Поговорим о стихотворном жанре. Хотя некоторые литературные критики считают басню жанром в какой-то степени архаическим, их сегодня пишут и печатают. Называют имена различных авторов: Диметрий Богданов, Дмитрий Быков и других. Однако восторга их творения не вызывают. Нет в них острой и по-настоящему интересной сатирической мысли, нет художественного «открытия действительности». Их басни не удивляют нас меткостью образов, своей метафоричностью, яркостью.

Есть поэты, которые в последние годы писали и печатали пародии на стихи собратьев по перу. Это Евгений Минин, Павел Хмара, Алексей Пьянов, Феликс Ефимов, Владимир Скиф и другие. У них крайне редко попадается что-либо заслуживающее внимания. После Александра Иванова читать их тексты особого желания не возникает. Правда, недавно появились литературные пародии Светланы Супруновой (кстати, автора хорошей лирики), которая, на мой взгляд, успешно справилась с поставленной задачей. Удач ей в дальнейшем на этом поприще!

Каждый день появляется масса фактического материала, который может стать толчком для работы потенциальных Гоголей и Щедриных. Видимо, писатели с сатирическими задатками изучают новых Чичиковых, городничих и других персонажей. Но пока весомых результатов этой работы не видно...

Упомянутый выше Сергей Морозов иронизирует: «Никогда ещё российская литература не была так велика и богата! И пускай её рейтинг на мировой арене и в самом российском обществе примерно такой же, как у сборной России по футболу, главное, что есть свои “звёзды”, есть кого отрядить на ярмарки и конференции как лицо новой российской прозы».

И далее уже серьёзно: «Я думаю, в России много хороших писателей. Только о них никто не знает. И, скорее всего, не узнает никогда. Откуда? Книжки их не печатаются, а письмо в стол и на жёсткий диск не приведёт их к посмертной славе».

Неужели известный литературный критик Сергей Морозов прав?

Вехи памяти

Игорь ЗОЛОТУССКИЙ

Историк литературы, писатель, исследователь жизни и творчества Николая Гоголя. Родился в 1930 году в Москве. Отец был репрессирован в 1937 году, мать – в 1941-м. Воспитывался в детдоме. Окончил филологический факультет Казанского университета. Работал учителем в школе, корреспондентом газеты «Молодой дальневосточник», Хабаровского радио, «Литературной газеты», обозревателем журнала «Литературное обозрение», редактором «ЛГ» по разделу русской литературы.

Автор многочисленных книг и статей о классической и современной русской литературе, в том числе знаменитой книги о Гоголе (серия ЖЗЛ, издательство «Молодая гвардия»), которая переиздавалась девять раз и считается классикой биографического жанра. Автор многих телефильмов о наиболее ярких фигурах русской литературы. Лауреат Литературной премии Александра Солженицына (2005), Всероссийской Тютчевской премии (2009), Государственной премии Правительства РФ (2011).

Почетный председатель Общества любителей российской словесности. Живет в Москве.

РУССКИЙ МИР ИВАНА ТУРГЕНЕВА

К 200-летию со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева

Земля, где родился Тургенев, особенная. Это земля коренной России колыбели русского человека и русского несравненного языка.

Я начну с языка. Язык Тургенева – это язык самой срединной части России, куда стекались для охраны нашей границы от Орды лучшие, самые одарённые люди. Здесь пролегала граница между Московской Русью и Ордой, или Степью, как её называли тогда. И именно сюда устремлялись лучшие люди нашего государства, воины, работники, таланты. Они-то и встали стеной перед лицом жадного Ордынского войска.

И неслучайно, что здесь явилась миру плеяда замечательных русских писателей. Тургенев, Лесков, Тютчев, Фет, Писарев, а позднее – Бунин, Пришвин, Борис Зайцев, Леонид Андреев.

Учиться нам предопределено у них, у русской классической литературы, в свою очередь учившейся языку у русского народа, его истории и у русской природы.

Она ещё, к счастью, в некоторых местах сохранилась.

Бежин луг. Звуки, запахи, названия трав, цветов, птиц, шелест листвы в лесу – всё это язык Тургенева, как и восходы, закаты, ненарушимая тишина русских полей.

Иван Сергеевич Тургенев родился 28 октября 1818 года в Орле и вскоре был перевезён в имение матери Спасское.

Владелицей Спасского, как, впрочем, и 5 тысяч крепостных только в одной Орловской губернии, была мать Тургенева Варвара Петровна Лутовинова. Их брак с блестящим кавалергардом, героем Бородинской битвы, Николаем Сергеевичем Тургеневым не был счастливым. Отец будущего автора «Записок охотника» женился на его матери из расчёта, так как надо было поправить дела древнего, но обедневшего дворянского рода, к которому он принадлежал.

Взаимной любви не было, были даже обоюдные измены, и это сказалось на детях, прежде всего на особенно чувствительном Иване, жизнь которого на многие годы сделалась отражением этой семейной драмы.

Варвара Петровна была некрасива, Сергей Николаевич – красив. Лицо матери носило следы перенесённой оспы, только глаза выдавали и страстную натуру, и ум, и даже женскую привлекательность.

Её детство было надломленным, тяжким. Мать после смерти отца привела в дом отчима, и отчим стал охотиться за приёмной дочерью.

Она бежала из дома полуодетая, через окно, в сопровождении няни. Её приютил дядя Лутовинов. Вскоре его поразил удар, и будущая мать Тургенева стала одной из богатейших помещиц Орловской губернии.

Всё это исказило и ожесточило её душу, и старший брат Тургенева Николай, и сам Тургенев почувствовали на себе её тяжёлую властную руку и примешанную к материнскому чувству беспощадность обращения, выразившуюся в том, что она сама розгами порола сыновей и держала их, уже взрослых, на голодном пайке, не желая делиться своей собственностью, своими деньгами, своей землёй.

К тому же отец однажды написал Ивану: «Сын мой, бойся женской любви, этого счастья, этой отравы».

Отсюда робость Тургенева в отношениях с женщинами, нескладная судьба, ибо и он любил, и его любили многие, но подойти близко к женщине, стать её опорой, её мужем, наконец, он так и не смог.

Вот что писал об этой особенности Тургенева близко его знавший известный литератор Павел Васильевич Анненков: «Никто не замечал меланхолического оттенка в жизни Тургенева, а между тем он был несчастным человеком в собственных глазах; ему недоставало женской любви и привязанности, которых он искал с ранних пор… Сам он страдал сознанием, что не может победить женской души и управлять ею, он мог только измучить её. Для торжества при столкновении страсти ему не доставало наглости, безумства, ослепления».

Романтизм любовного чувства, его поэзия были подвергнуты пытке ещё в юности.

В 21 год Тургенев полюбил служившую у матери белошвейку Авдотью Иванову. У них родилась дочь, и Тургенев хотел жениться на этой женщине, но мать запретила ему, а Авдотью тут же отправила в Москву и вскоре нашла ей мужа.

Окружающее усадьбу пространство кажется беспредельно. Это русский мир, в который вступает сначала юный, а затем молодой Тургенев. Это и расположенные поблизости деревни и деревеньки, живущие в них крестьяне и крестьянские дети. Это исконный русский мир

с его страданиями, слезами, с его песнями, находчивым умом, его образно точным словом, с его терпением и верой в Бога, с близостью к природе, земле и постоянным трудом.

Весь этот мир войдёт впоследствии в его первую книгу «Записки охотника», написанную не наблюдательным барином, а человеком, чувствующим себя среди народа своим, не скрывающим ни сочувствия, ни любви к нему.

Позже в «Литературных и житейских воспоминаниях» Тургенев назовёт крепостное право врагом, которому он поклялся объявить войну. Вспоминается факт из его ещё юной жизни.

Варвара Петровна решила продать крепостную девушку Лушку, но сын восстал против этого её решения. Когда пришла полиция, чтоб забрать девушку и передать её новому хозяину, Тургенев вышел ей навстречу с ружьём и сказал, что будет стрелять, если она применит силу.

Лушку он отстоял. А «дело» по поводу его неповиновения властям было заведено, и разбор его тянулся несколько лет.

Джеймс Джойс, ирландский писатель, автор всемирно известного романа «Улисс», писал, что «Записки охотника» выше всех романов Тургенева. Заметим, что это сказал человек, который мог прочесть книгу Тургенева лишь в переводе.

Что бы он сказал, знай Джойс русский язык!

Один современник Тургенева сообщает в своих воспоминаниях: «Рассказывают, что, освободивши крепостных, Александр Второй просил передать Тургеневу: “Записки охотника” сыграли большую роль в моём решении».

Поразительно: русские цари читали русских писателей и даже внимали им. Чего не скажешь о нынешних. Хотя тогда и писатели были другие.

Я теряюсь в догадках, что назвать лучшим в этих «Записках». Всё близки и дорого и волнует сердце. Начиная от «Хоря и Калиныча», где выведены два русских типа – крепкого крестьянина, хозяина, твёрдо стоящего на земле, и романтика, почти поэта с его нежностью ко всему живому, будь то птицы, деревья или пчёлы. Или жалостливая песня «Доля ты моя! Доля!».

Или рассказ «Ермолай и мельничиха» (кстати, где крестьянина, изображенного в Ермолае, Тургенев выкупил из рабства), где нежность отдана уже женщине, как и смирение, красота и нелегкая судьба.

Особенно я люблю рассказы «Бежин луг» (никто так до Тургенева не писал о крестьянских детях), «Малиновая вода», «Уездный лекарь», «Касьян с Красивой мечи», «Свидание» (ещё одна дань крепостной женщине-крестьянке) и особенно «Живые мощи».

Это триумф Тургенева-знатока натуры и, вместе с тем, поэта, высоко поднявшего в глазах читателя по всем обстоятельствам несчастную женщину. Лукерья, героиня «Живых мощей», в молодости первая красавица на деревне, первая певунья и плясунья, разбита параличом, но полна прощающей радости и неизмеримой, переполненной через край любви ко всему живому.

Вот её последние слова, обращённые к посетившему её Тургеневу: «Ничего мне не нужно. Всем довольна, слава Богу… Дай Бог всем здоровья! А вот вам бы, барин, матушку вашу уговорить – крестьяне здешние бедные – хоть бы малость оброку с них она сбавила! Земли у них недостаточно, угодий нет… Они бы за вас Богу помолились… А мне ничего не нужно – всем довольна».

Как же не согласиться в эту минуту с Тютчевым: «Край родной долготерпенья, край ты русского народа!»

Именно этот стих взят Тургеневым эпиграфом к «Живым мощам».

«Записки охотника» Тургенев начал печатать в журнале «Современник». Редактировал этот журнал, основанный Пушкиным, Николай Алексеевич Некрасов. Его совладельцем был Панаев. Но главную роль в определении линии журнала, помимо Некрасова, играл Белинский, а позже Добролюбов и Чернышевский.

Первый рассказ из «Записок охотника» «Хорь и Калиныч» был напечатан здесь в 1847 году в номере 1-м в отделе «Смесь». Этот отдел считался не главным, почти подвёрсткой, но уже следующая публикация из «Записок» «Ермолай и мельничиха» явилась в том же 1847-м в номере 5, но уже в отделе первом, то есть основном. И «Бежин луг», и «Касьян с Красивой мечи», и «Бурмистр», и «Контора», «Бирюк», «Лебедянь», «Смерть», «Гамлет Щигровского уезда», «Чертопханов и Недопюскин», «Лес и степь» были напечатаны здесь.

А «Живые мощи» появились в «Складчине», литературном сборнике в пользу пострадавших от голода в Самарской губернии. Произошло это, когда Тургенев уже был автором романов.

Действие почти всех романов Тургенева происходит не в столицах, а в провинции – той самой провинции, которая так была близка ему с детства.

Что такое романы Тургенева? Это русская жизнь XIX века с начала 40-х годов до конца 70-х. Это целая эпоха нашей истории, начинающаяся с правления Николая Первого и кончающаяся убийством Царя-Освободителя в 1881 году.

Тургенев в своих романах как бы идёт вдоль современной ему русской истории в тесном соприкосновении с ней, не упуская из виду ни одного значительного изменения в обществе, в человеке своего поколения.

И здесь он переходит к людям, как он сам скажет, «образованного класса», то есть к той дворянской интеллигенции, к какой принадлежал сам, и духовные изменения внутри которой совпадали нередко с его собственным внутренним развитием.

Скажу два слова о романе «Отцы и дети».

Роман этот, между прочим, посвящённый памяти Белинского, совпадает со временем не только предшествующим реформам Александра Второго, но и меняющейся вслед за ними русской жизни.

Чуткий глаз Тургенева разглядел в студенте Базарове новые, стремительно растущие настроения молодёжи, явившиеся в эпоху перемен и во время угасания романтизма под влиянием распространившихся естественных наук и присущего им материализма.

Тургенев поставил друг против друга Базарова и старый дворянский быт с его воззрениями, привычками, нажитым за многие годы идеализмом.

Базаров, безусловно, полемический образ, отсюда его резкости, шокирующие дворянское сознание высказывания, некоторые из которых смотрятся как вызывающие афоризмы. Например, «порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта», «Рафаэль гроша медного не стоит». Одним словом, решительный отрицатель всего и вся, кроме положительного знания. А его он находит в естественной науке, в своих опытах над лягушками, в работе с микроскопом и в медицинской практике.

Но Базаров вовсе не краснобай, не выхолощенный отрицатель. Все его афоризмы – это бравада молодости. А вот когда надо спасти заболевшего сына Фенечки, перевязать рану раненому им на дуэли Павлу Кирсанову или помочь заболевшим крестьянам, он тут как тут.

В этом поколении не ценится фраза, внешняя образованность (Базаров, например, считал, что Пушкин служил в армии). Он ценит ***дело***, отрицая веру отцов, отрицает её бескорыстно, ничего не желая для себя, для своей выгоды.

Тургенев разглядел это бескорыстие в пионере нигилизма, столь далёкого от нигилизма поздних его приверженцев, которых отрицание привело к разрушительству и к «мокрым делам».

Действие романа, как указано в его первых строках, происходит в 1859 году, но печатался он в июле 1861 года (то есть после освобождения крестьян) в журнале «Русский вестник».

Как бы Базаров ни иронизировал над тем же мужиком, ни задавал ему глупых вопросов вроде этого: «Ты растолкуй, что такое есть ваш мир», по поводу которого он кажется в глазах мужика «шутом гороховым», но на самом деле Базаров стоит ближе к народу, чем все эти Кирсановы, Одинцовы и прочие. И крестьянские дети его любят и бегают за ним, и младенец Митя, сын Фенечки, идёт к нему на руки, не плача. И даже умирает Базаров, участвуя во вскрытии тифозного крестьянина, заразившись трупным ядом.

Не бережёт свои чистые ручки, не бережёт себя.

Какой пример нигилистам нашего времени, которые саму Россию отрицают как великое государство, её историю, а главное, подвиг её народа!

Простимся с Базаровым. Простим его неуёмной душе порывы к отрицанию и перейдём к другим романам Тургенева, последовавшим за «Отцами и детьми», и, если можно сказать, к самим «детям», далеко ушедшим от благородства и чистоты этого не похожего на других нигилистов «нигилиста».

Время появления в печати романа «Дым» в 1867 году в журнале «Русский вестник» отделяется от «Отцов и детей» не только короткой календарной паузой, но и целой эпохой в жизни России и в жизни самого Тургенева.

За год до этого было совершено первое покушение на Александра Второго. У решётки Летнего сада 4 апреля 1866 года студент Каракозов стрелял в царя, запасшись предварительно ядом на случай провала. Да, далеко шагнул нигилизм за эти годы!

«Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник», – говорил Базаров. А тут уже не работники, а террористы.

В 1867 году в Париже, где гостил тогда Александр Второй, поляк Березовский стрелял в него, но промахнулся. К этому времени Тургенев разошёлся с Некрасовым и его окружением, порвал с «Современником», где о его романе «Накануне» была напечатана «революционная» статья Добролюбова «Когда же придёт настоящий день?».

Оживилась и русская эмиграция в Европе, во главе которой стояли такие фигуры, как Герцен и Бакунин, – люди, близко знавшие Тургенева, с которыми он даже дружил. Почему же он безымянно участвовал в герценовском «Колоколе», чуть ли не звавшем Русь к топору, был близок к анархисту и сторонника крайних мер Бакунину?

Ведь ещё в октябре 1851 года, когда Михаил Щепкин привёл Тургенева к Гоголю на Никитский бульвар, автор «Выбранных мест из

переписки с друзьями», откуда, по словам тогдашнего Тургенева, «шёл затхлый и пресный дух», высказал негодование по поводу брошюры Герцена «О развитии революционных идей в России», где тот причислил сочинения Гоголя к работающим на эти идеи.

Тогда Тургенев был иным и считал тон «Выбранных мест» «прихлебательским». Но в 1852 году, когда Гоголя не стало, напечатал в «Московских ведомостях» некролог, где назвал творца «Выбранных мест» великим писателем. Тургенева тогда взяли под арест и отправили в двухгодовую ссылку в его родное Спасское-Лутовиново.

Тургенев менялся, но не забудем, как он начинал. В «Литературных и житейских воспоминаниях», оправдывая свой отъезд на учёбу в Берлин (скажу, что в 1836 году Тургенев закончил филологический факультет Петербургского университета), он писал: «Я был убеждён, что источник настоящего знания находится за границей… Я чувствовал, эта земля (я говорю не об отечестве, а о нравственном и умственном достоянии каждого) велика и обильна, а порядка в ней нет… Я бросился вниз головою в “немецкое море”, долженствующее очистить и возродить меня, и когда я, наконец, вынырнул из его волн – я всё-таки очутился “западником” и остался им навсегда».

Что касается последней фразы из этой исповеди, то я ещё вернусь к ней и посмотрю, насколько она сбылась.

К тому времени он уже разошёлся во взглядах с Герценом и, тем более, Бакуниным. Разрыв с Герценом и «заговорщиками», как называли Герцена и его единомышленников, произошёл ещё в 1863 году. Герцен напечатал в «Колоколе» цикл статей «Концы и начала», где спорил с Тургеневым. Герцен стоял за русский социализм на основе крестьянской общины, Тургенев не верил в него.

«Главное наше несогласие с Герценом, Огарёвым и Бакуниным, – писал он, – они презирают образованный класс и предполагают революционные или реформаторские начала в народе».

Этих начал в русском крестьянстве, которое он знал лучше своих оппонентов, Тургенев не видел. Никакой революции народ, по его мнению, не хотел и ещё долго, а может, и никогда не захочет.

В русском суде рассматривалось так называемой «дело 32-х» о сношениях с «лондонскими пропагандистами». И был сделан официальный запрос Тургеневу об участии в этом деле. Тургенев вынужден был написать письмо царю о своих расхождениях с Герценом и Бакуниным. Герцен в «Колоколе» ядовито осмеял его, назвав Тургенева «седовласой Магдалиной», которая кается перед царём в совершённых грехах.

Я так подробно останавливаюсь на этой истории из жизни автора «Дыма», поскольку это роман политический, с элементами памфлета и сатиры, где представлены почти все слои русского сообщества за границей. Здесь и славянофилы (Губарев и его компания), и западники (Потугин), и генералитет, или высшая знать. И каждая из этих групп по-своему судит о настоящем и будущем России.

Вот речь одного из героев романа Потугина (фамилия-то какая – поднатужиться надо!):

«У нас хватились, наконец, ума-разума и не намерены более под предлогом самостоятельности там, народности или оригинальности, к чистой и ясной европейской логике прицеплять доморощенный хвостик… Уж эти мне самородки! Да кто же не знает, что щеголяют ими

только там, где нет ни настоящей, в плоть и кровь перешедшей науки, ни настоящего искусства».

И это говорится о России Ломоносова, Лобачевского, Державина, Пушкина, Гоголя, Толстого и самого Тургенева!

И вновь Потугин: «…что мы не одним только знанием, искусством, правом обязаны цивилизации, но что самое даже чувство красоты и поэзии развивается и входит в силу под влиянием той же цивилизации и что так называемое, народное, наивное, бессознательное творчество есть нелепость и чепуха... Мешковатое ухарство – вот наш художественный идеал».

Славянофилам в «Дыме» достаётся не меньше, чем России и русскому народу, а высший свет – это чистый маскарад, игра масок, на каждой из которых изображён то чёрт, то бес, то сам дьявол.

Главный герой романа Литвинов выслушивает всех и возвращается в Россию. Возвращается к тому же разбитый любовью к жене генерала Ирине, предавшей его во второй раз (первый случай был в его юности) ради отвратного ей, но близкого «света».

Поезд покидает Германию. Старый паровоз тянет вагоны, и из трубы его стелется дым.

Идёт внутренний монолог Литвинова: «“Дым, дым”, – повторил он несколько раз; и все вдруг показалось ему дымом, все, собственная жизнь, русская жизнь – все людское, особенно все русское…

Дым, шептал он, дым; вспомнились горячие споры, толки и крики у Губарева, у других, высоко и низко поставленных… Дым, повторял он, дым и пар».

Можно сказать, глядя на этот роман из XXI века, что Тургенев поставил в нём на «русском образованном классе» крест, но вся ли это русская интеллигенция?

«Дым» встретил отрицательное отношение на родине.

Ф.И. Тютчев написал эпиграмму:

«И дым отечества нам сладок и приятен!» –
Так поэтически век прошлый говорит.
А в наш – и сам талант всё ищет в солнце пятен,
И смрадным дымом он отечество коптит!

Тютчев добавил к этой эпиграмме стихотворение «Дым», тоже посвященное Тургеневу. В нём говорится, что в начале поприща у Тургенева зеленел русский лес, «лучи сквозили, трепетали тени», а теперь дымятся пожарищем сожжённые деревья.

Однако кончает он надеждой:

Нет, это сон! Нет, ветерок повеет
И дымный призрак унесёт с собой…
И вот опять наш лес зазеленеет…
И всё тот же лес, волшебный и родной.

Ф. М. Достоевский был суровей. Встретившись в 1867 году с автором «Дыма» в Баден-Бадене, он сказал Тургеневу: «Эту книгу надо сжечь рукой палача…Вы ненавидите Россию, вы не верите в её будущее… Вам надо съездить в Париж и купить себе телескоп, чтобы смотреть на Россию».

Позже в романе «Бесы» Достоевский выведет Тургенева под именем писателя Кармазинова (читай, «красного»), который в главе «Кадриль литературы» станет потешать публику своими похожими на пародию сочинениями.

Тургенев уже не в Баден-Бадене, а в России. Снова провинция, снова за ним русская дворянская усадьба. Он садится за новый роман, последний из летописи России, начатой ещё в «Рудине». Он пишет его в Париже, а заканчивает летом 1876 года в Спасском.

В 1877 году роман выходит в свет в журнале «Вестник Европы»

Весьма показателен эпиграф к «Нови», как называет Тургенев свой роман: «поднимать следует новь не поверхностно скользящей сохой, но глубоко забирающим плугом». Под эпиграфом пояснение: «Из записок хозяина-агронома».

Мы помним, что Литвинов возвращается в Россию, в своё поместье, чтоб восстановить разрушенное до него хозяйство.

Но герои «Нови» – тот же образованный класс, лучшие из которого хотят прилечь силой на глубоко забирающий землю плуг.

Они жаждут «революции», взрыва, который должен разрушить, поднять на воздух установившийся народный уклад. Они идут в народ, переодетые в простых крестьян, раздают мужикам листовки и книги, собирают в деревнях митинги, призывая их обитателей к бунту, восстанию и всё той же, не понятной для них «революции».

Кстати, вот что писал на этот счёт проживший много лет на Западе Тютчев: «Революция… прежде всего – враг христианства…Человеческое *я*, желающее зависеть лишь от самого себя, не признающее и не принимающее другого закона, кроме собственного волеизъявления, одним словом человеческое *я*, заменяющее собой Бога… не является чем-то новым среди людей; новым становится самовластие человеческого *я*, возведённое в политическое и общественное право и стремящееся с его помощью овладеть обществом». «…Революция нигде не может надеяться на *правление*. И даже если она захватит Власть хотя бы на краткий миг, то породит лишь гражданскую войну».

Тургенев в своём романе, может быть, первый увидел, что народ и «образованный класс» далеко отстоят друг от друга, а «образованный класс», желающий опроститься, жить тою же жизнью, что и крестьянин, пустился в нежизненное для России и гибельное для себя предприятие.

Одного из героев «Нови», студента-идеалиста, он провидчески назвал Неждановым, имея в виду, что народ не ждал этих непрошеных гостей, агитаторов и возмутителей. И, поняв пустоту им затеянного, честный Нежданов кончает с собой.

Бессилие явления, получившего название «народничества», несмотря на личную порядочность его участников и искреннюю веру в избранный путь, вызывает боль у Тургенева и сердечное сочувствие к заблудившимся.

Критика писала о «Нови», что автор всё преувеличил, исказил и не понял «народничества». Но случившийся вскоре «процесс 50-ти», состоявшийся в феврале–марте 1877 года (т. е. после того, как роман был написан), подтвердил предсказания Тургенева.

1 ноября 1843 года 25-летний Тургенев знакомится с 20-летней французской певицей Полиной Виардо, приехавшей на гастроли в Петербург. С этого времени и до конца его жизни он, можно сказать, сорок лет состоит при ней. Любовь перемежается дружбой, дружба любовью,

и, наконец, он становится паладином этой женщины. Он не отходит от неё ни на шаг, изредка вознаграждаемый за эту верность, но чаще живущий, как он скажет потом, «на краешке чужого гнезда». Тургенев пребывает в её семье, где есть и муж, и дети. Как пишет в своих воспоминаниях хорошо знакомый с жизнью Тургенева Герман Лопатин: «Виардо? Добрый гений Тургенева? Она экспроприировала Тургенева у России».

Наезжая то и дело в Россию, Тургенев недолго оставался там и спешил туда, где пела Виардо: в Лондон, в Берлин и, конечно, в Париж. «Он жалок, – говорил Лев Толстой. – Я не верю, что так можно любить».

Однако это было.

«Вся моя жизнь пронизана женским началом, – признавался Тургенев на ужине у Флобера. – Ни книга, ни что-либо иное не может заменить мне женщину… Как это объяснить? Я полагаю, что только любовь вызывает такой расцвет всего существа, какого не может дать ничто другое».

Но любовь «на краешке чужого гнезда»?

К тому же это было не родное гнездо, как в детстве, а чужое. Это была уменьшенная в размерах территория, не похожая на ту Родину, что расстилалась перед глазами слушателей рассказа «Певцы» – простора от края и до края.

Почему Виардо приняла это тесное присутствие в её жизни Тургенева? У неё были отношения с другими поклонниками, хотя, замечу, она была некрасива. Тем не менее, никто из них не мог бы сравниться с этим знаменитым русским романистом (скажу от себя, к тому же красавцем), которого знали не только в России, но и высоко ставили во всей Европе.

Тургенев был украшением её салона, украшением её имени и её самой. Женское тщеславие решило исход этого романа, если его можно назвать романом.

В 1856 году Тургенев откровенно писал Фету: «Я подчинён воле этой женщины. Нет! Она заслонила от меня всё остальное, так мне и надо. Я только тогда блаженствую, когда женщина каблуком наступит мне на шею и вдавит мне лицо носом в грязь».

Этого не было, когда он сближался с другими женщинами, русскими женщинами, которые любили его и хотели долго любить.

Так было с Ольгой Тургеневой, его дальней родственницей, Юлией Вревской, Марией Николаевной Толстой, сестрой Толстого, актрисой Марией Савиной, сестрой Михаила Бакунина Татьяной Бакуниной. Всё это были женщины, которые напоминают героинь его романов, содержательных, идеальных, красивых и душой и телом, и к тому же устремляющихся к высокому и прекрасному.

Во всех этих случаях Тургенев, увлекшись и увлекая их, отступал, останавливаясь перед какой-то чертой.

Тургенев был певцом женской любви, но по большей части то была любовь несчастная, неудавшаяся и кончающаяся разрывом, бегством от любви и от той, кто мужчине это чувство внушил.

Вспомним «Асю», «Вешние воды», целую серию фантастических повестей Тургенева, таких, как «Фауст», «Странная история», «Клара Милич. Любовь после смерти», «Призраки», «Песнь торжествующей любви». И, конечно, повесть «Несчастная».

Все эти истории колдовские, почти сумасшедшие, как отношения Виардо и Тургенева. Может, она околдовала его? Как это сделала геро-

иня «Призраков», женщина с нерусским именем Эллис, подхватившая героя на крылья и облетевшая с ним полсвета.

Замечу, что всё это касалось женщин его круга и совершенно отступало от его пера, когда он писал – или реально любил – таких простых женщин, как мать его дочери Авдотья Иванова, женщин-крестьянок, стоящих внизу социальной лестницы.

«Послушайте-ка, – говорил он в гостях у того же Флобера, – в молодости у меня была любовница – мельничиха из окрестностей Санкт-Петербурга… Она была прехорошенькая – блондинка с лучистыми глазами… Она ничего не хотела от меня принимать. А однажды сказала: “Вы должны сделать мне подарок!” – “Чего ты хочешь?” – “Принесите мне мыло!” Я принёс её мыло. Она взяла его и исчезла. Вернулась раскрасневшаяся и сказала, протягивая мне свои благоухающие руки: “Поцелуйте мои руки так, как вы целуете их дамам в петербургских гостиных!” Я бросился перед ней на колени… Нет мгновения в моей жизни, которое могло бы сравниться с этим!»

Поэтому без мельничихи из «Ермолая и мельничихи», Акулины из рассказа «Свидание», больной девушки из «Уездного лекаря», Татьяны из «Нови» и Татьяны из «Дыма» нельзя нарисовать образ русского мира.

На Западе да и в России его называли «русский западник». Значительную часть жизни он прожил в Европе – во Франции и Германии. Его трагической и самой сильной привязанностью была иностранка, он был напрямую связан с русской радикальной эмиграцией, принимал участие в её изданиях, где царствовал критический пафос в отношении России, дружил с Герценом, Лавровым (даже помогал деньгам его революционному журналу «Вперёд!»), Лопатиным, Бакуниным, организовал Русскую библиотеку в Париже, которая существует до сих пор, переводил французских писателей на русский язык, печатался в Лондоне, Париже, Германии и даже в США. Но был ли он законченный «западник»?

Вот что он говорил некоему Н. М., оставившему свои воспоминания о нём: «В русском народе продолжаются психические процессы самоопределения и искания правды и идеала, тогда как во Франции замечается во всех классах какая-то культурная “окристаллизованность”, нравственная и идейная законченность, точно нация исчерпала весь запах своих духовных сил». Тургенев подчёркивает, что русский человек не может «замереть в той форме, в какой замерли, по-видимому, французы». У них «всё покрыто толстой корой сытомещанской культуры».

И наконец, в тех же воспоминаниях Н. М.: «Насильственно вламываться в народную жизнь… нет никакого резона; лучше предоставить народу полную свободу устраиваться самому… Будет вам шататься за границей… Поезжайте в Россию. Как ни тяжела… русская атмосфера, там всё-таки вы на родной почве, которая… даёт пищу и направление вашей мысли, поддерживает жизнь и энергию… Я лучше вас был приспособлен к жизни за границей, да и то, сущности, прозябаю и всё чего-то жду… и не дождусь уже теперь…»

Как говорил Тургенев в последние годы жизни, «под гору пошла дорога». На этой дороге родились и «Стихотворения в прозе» – завещание Тургенева и его печаль по случаю близкого ухода. Именно

в них блеснула новелла о русском языке, который должен был быть дан только великому народу.

А его желание быть похороненным в русской земле?

Тургенев умер в Буживале 22 августа 1883 года. А 27 сентября его похоронили на Волковом кладбище в Петербурге.

И не зря и в «Дыме», и в «Нови» Тургенев возвращается в родные места. И сколько в той же «Нови», где порицаются преждевременная революционность, а заодно и будущие катастрофы, которые она породит, наряду с несогласием с народничеством, с его искусственным «опрощением», переодеванием в крестьянский «армяк» (эта идеализация «армяка» стала причиной его расхождения со славянофилами), с его хождением в народ, с речами о неповиновении, восстании, бунте – сочувствия и сожаления по поводу заблуждения честных, искренних и бескорыстных молодых людей, энтузиастов, по существу, неправого дела.

Нет, народ свой Тургенев не разлюбил, от его участи не отрёкся, а лишь сердцем своим приблизился к нему.

Драма? Да. Трагедия? Да. Но драма и трагедия любви.

Валерия БЕЛОНОГОВА

Родилась в Дрездене, ГДР, в семье военнослужащего. Окончила Ленинградский университет, работала в редакциях нижегородских и московских газет, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Болдино», преподавала в Нижегородском госуниверситете им. Н.И. Лобачевского. Кандидат филологических наук, критик, музеолог.

Автор книг «Выбранные места из мифов о Пушкине» (2003), «Болдинский ключ» (2009), «Что вам нужно в этом Нижнем? Город в зеркале литературы» (2011), «Забытая мелодия. Жизнь и труды Александра Улыбышева» (2016), «Открытый остров. Болдинские реалии и образы Пушкина» (2017), статей и очерков по истории литературы и музейному делу. Составитель и редактор нескольких сборников и монографий. Дважды лауреат литературной премии «Болдинская осень» (2010, 2018).

Член Союза писателей России. Живет в Нижнем Новгороде.

ПУШКИН ИДЁТ ПО ПОКРОВКЕ*

К 185-летию посещения Нижнего Новгорода великим поэтом

Из всех сохранившихся свидетельств о двухдневном пребывании Пушкина в Нижнем Новгороде (разумеется, кроме писем самого поэта жене) воспоминания о званом обеде в доме губернатора М.П. Бутурлина в воскресенье 3 сентября 1833 года наиболее ценны. И в смысле фактов, и в смысле восприятия их современниками. Хотя в абсолютной достоверности этих свидетельств уверенным быть нельзя, как и всегда бывает, когда речь идет об устных воспоминаниях, записанных спустя много лет после описываемых событий.

«Губернатор принял меня очень мило и ласково…»

Итак, нанеся в день приезда 2 сентября визит вежливости нижегородскому губернатору, Пушкин получил приглашение на другой день отобедать у него дома. Когда обедали в дворянских домах? Поразному. Если в столицах в начале XIX века, вослед европейской моде, обед сместился почти к вечеру, то в домах знати и образованных дворян губернских городов он проходил обычно в три-четыре часа пополудни. Пушкинский знакомец, задававший тон в Нижнем

* Фрагменты из готовящейся в издательстве ДЕКОМ книги «Когда порой воспоминанье...» Пушкин и Нижний Новгород.

Новгороде 1840-х годов «европеец» Александр Дмитриевич Улыбышев, например, устраивал обеды с многочисленными гостями и обильным угощением в четыре часа. Можно предположить, что примерно в это же время обедали и у Бутурлиных. А это значит, что отправившийся в путь сразу после обеда Пушкин покидал город вечером, и впереди его ждала ночная дорога. Но день явно удался, он уезжал в хорошем настроении.

Где находился гостеприимный губернаторский дом? На Большой Покровской. На литографированном рисунке Дмитрия Быстрицкого середины XIX века, изображающем здание Благородного дворянского собрания и перспективу главной улицы города, он виден наискосок налево, «в профиль». Над центральным входом – балкон на четырех дорических колоннах, выступавших на тротуар (не так, как у ныне стоящего здесь здания областного суда, отодвинутого вглубь двора). Приобретенный весной 1811 года семьей вице-губернатора Александра Семеновича Крюкова в частное владение на имя жены Елизаветы Ивановны, дом был ими за счет присоединения флигеля расширен, надстроен, позднее и «облагорожен» роскошным подъездом с аттиком и колоннами, большим полуциркульным чердачным окном и балконом. Через три года купленный за восемь тысяч дом был продан в казну уже за тридцать тысяч. Хотя Крюков с семьей по-прежнему жил здесь вплоть до 1826 года, с 1818-го уже как губернатор. Дом и потом, вплоть до постройки кремлевской резиденции начальников губернии в 1841 году, оставался губернаторским. Позже отводился под жилье высшим губернским чиновникам, которые жили здесь вплоть до 1870-х годов, когда в связи с судебной реформой было принято решение о сносе дома и строительстве на его месте здания Окружного суда*.

Как много видел этот старый губернаторский дом! В 1812-м здесь собирались на балы и маскарады знатные дворяне из московских беженцев, среди которых был дядюшка поэта Василий Львович Пушкин и многие другие его московские знакомые и родственники. В начале 1820-х здесь жил одно время генерал-лейтенант Август Бетанкур, командированный Александром I для возведения архитектурного ансамбля Нижегородской ярмарки. А в 1834 году в гостях уже у губернатора М.П. Бутурлина был император Николай I, посетивший Нижний Новгород, где по его указу начались вскоре грандиозные преобразования, направленные на благоустройство города.

Пушкин посетил этот дом годом раньше. 3 сентября 1833 года здесь в губернаторской столовой раздавался его голос. Кого только не «усаживали» рядом с Пушкиным за этим обеденным столом писавшие о знаменательном событии литераторы. И губернского архитектора И.Е. Ефимова, и вице-губернатора Б.Е. Прутченко, и действительного статского советника А.Д. Улыбышева, музыканта, театрала и мецената. Что касается Улыбышева, его присутствие в этом доме исключается полностью. Его оппозиция к губернатору Бутурлину в 1830-е годы, как и к сменившему его на этом посту М.А. Урусову, хорошо известна. Достоверных свидетельств пребывания на обеде других возможных гостей попросту нет. Кроме хозяев дома, губернатора и его супруги Анны Петровны, не вызывает сомнений только присутствие дальней родственни-

* Волохов С.А. «Сегодня был я у губернатора…» // Пушкин на Нижегородской земле. Сост. В.Ю. Белоногова. Н. Новгород, 1999. С. 51–58.

цы Бутурлиных молоденькой и незамужней еще тогда Лидии Петровны Стремоуховой. Спустя много лет, уже почтенной дамой и вдовой А.М. Никольского, надворного советника, учителя, а потом театрального антрепренера, она вспоминала о встрече в губернаторском доме с Пушкиным. Журналист Николай Граве эти ее воспоминания записал. Они великолепны!

«Я редкий день не бывала у Бутурлиных – Анна Петровна меня очень любила. Третьего сентября она прислала за мной коляску <…>. В этот день у Бутурлиных обедал молодой человек <…>. Я запомнила наружность этого гостя: по виду ему было более 30 лет. Он носил баки. Немного смуглое лицо его было оригинально, но не красиво: большой открытый лоб, длинный нос, полныя губы – вообще неправильные черты; но что было у него великолепного – это темно-серые с синеватым отливом глаза, большие, ясные! Нельзя передать выражения этих глаз: какое-то жгучее и притом ласкающее, приятное. Я никогда не видела лица более выразительного: умное, доброе, энергичное. Когда он смеялся, блестели его белые зубы. Манеры у него были светские, но слишком подвижныя. Он хорошо говорил; ах, сколько было ума и жизни в его неискусственной речи! А какой он веселый, любезный – прелесть! Этот дурняшка мог нравиться. Обед кончился. Все перешли в гостиную. Прошло не более часа – гость откланялся и уехал; он торопился в Казань»*.

В семейном предании за Лидией Петровной сохранилось определение «мимолетное увлечение Пушкина», возможно, с ее собственных слов. Но ценность ее воспоминаний не только в данном ею выразительном портрете поэта. Едва ли не больше рассказ ее говорит о ней самой. Вернее, о том пушкинском обаянии, неотразимом, когда он был весел, под которое попадали десятки современников и современниц, в том числе провинциальных барышень и дам.

Это и мечтательная Лидия Петровна с ее олитературенным рассказом о Пушкине, которого с ней якобы не познакомили, и о том, что это тот самый знаменитый поэт, она узнала, только когда он уехал: «Разве это был Пуш…?!» В самом деле, что за прелесть наши провинциальные барышни! «Воспитанные на чистом воздухе в тени своих садовых яблонь, – читаем у Пушкина, – они знания света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам»…

Это и случайная дорожная попутчица молодая горбатовская городничиха Амалия Потаповна Сидамова. О ней поэт писал жене: «На второй станции, где не давали мне лошадей, встретил я некую городничиху, едущую с теткой из Москвы к мужу и обижаемую на всех станциях. Она приняла меня весьма дурно и нараспев начала меня усовещивать и уговаривать: как вам не стыдно? на что это похоже? две тройки стоят на конюшне, а вы мне ни одной со вчерашнего дня не даете. – Право? – сказал я и пошел взять эти тройки для себя. Городничиха, видя, что я не смотритель, очень смутилась, начала извиняться и так меня тронула, что я уступил ей одну тройку, на которую имела она всевозможные права, а сам нанял себе другую <…>. Городничиха и ее тетка так были восхищены моим

* Граве Н. Памяти Александра Сергеевича Пушкина//Нижегородский биржевой листок. 1887. 30 января. С. 3.

рыцарским поступком, что решились от меня не отставать и путешествовать под моим покровительством, на что я великодушно и согласился. Таким образом и доехали мы почти до самого Нижнего – они отстали за три или четыре станции – и я теперь свободен и одинок. Ты спросишь: хороша ли городничиха? Вот то-то, что не хороша, ангел мой Таша».

Еще одно воспоминание о нижегородском обеде Пушкина сохранилось, со слов губернаторши Анны Петровны, в семье нижегородцев Григорьевых и воспроизведено было в «Воспоминаниях» их родственника писателя Петра Боборыкина уже в начале XX века.

«Дядя любил передавать мне разговор Пушкина с тогдашней губернаторшей Бутурлиной, мужем которой, Михаилом Петровичем, меня всегда дразнили и пугали, когда он приезжал к нам с визитом. А дразнили тем, что я был ребенком такой же “курносый”, как и он. Не могу подтвердить точность пересказа одной из шуточных тирад Пушкина; но разговор его с губернаторшей, в редакции дяди, остался у меня в памяти очень отчетливо <…>.

– Что же вы делали в деревне (в Болдине. – *В. Б.*), Александр Сергеевич, <…> скучали?

– Некогда было, Анна Петровна. Я даже говорил перед мужиками проповеди. <…> Да, в церкви, с амвона. По случаю холеры. Увещевал их. “И холера послана вам, братцы, оттого, что вы оброка не платите, пьянствуете. А если вы будете продолжать так же, то вас будут сечь. Аминь!”».

Нет, определенно, Пушкин был в тот вечер в ударе. Через несколько дней такие же яркие впечатления он оставит у гостей на обеде в доме Языковых в Симбирске. Там в семье симбирских дворян Юрловых останутся воспоминания о том, что Пушкин был в тот вечер «в ударе» и «поражал всех своим остроумием».

Но пора уже обратиться, наконец, к хозяину дома на Большой Покровской, к самому губернатору Михаилу Петровичу Бутурлину. Тем более что именно с ним и его знаменитым гостем связана известная литературная легенда, до сих пор воспринимаемая многими буквально. О пушкинской подсказке сюжета «Ревизора» Н.В. Гоголю.

Что известно о Бутурлине? Происходил из старинного дворянского рода, в 1807 году поступил в кавалергарды юнкером и дослужился до генерал-майора. Во время Отечественной войны 1812 года участвовал в сражениях под Витебском, Смоленском, Тарутином и Малоярославцем. За участие в Бородинской битве, где был ранен в плечо, награжден орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом. Сражался в ходе европейской кампании – под Дрезденом и Лейпцигом. Брал Париж. Имел немало боевых наград. Став в 1831 году нижегородским губернатором по личному настоянию императора, Бутурлин отличался рвением на службе, немало сделав на поприще благоустройства вверенного ему города и губернии. «За отличный во всех частях порядок и устройство» удостоился в 1834 году личного благоволения от государя. Биографы свидетельствуют о его «непоколебимой честности, строгой законности, недоступности посторонним влияниям» и о пунктуальном следовании им «Высочайшим установлениям начальства»*. Однако, несмотря на его любовь к порядку, чистоте и дисциплине, а может быть, отчасти

* Панчулидзев С. Словарь биографий кавалергардов. В 4-х томах. М., 1902–1904. Т. 3. С. 202–206.

именно поэтому, он не ладил с нижегородскими дворянами. Как вспоминал в своем дневнике А.Д. Улыбышев, когда надоевший «вечный» Бутурлин был в 1843 году, наконец, отставлен, радость была такова, что «чуть не иллюминовали город».

Французский путешественник маркиз Астольф де Кюстин, разъезжавший в 1830-е годы по России, человек наблюдательный и ироничный, сразу обнаружил в «чрезвычайно кротком и милейшем нижегородском губернаторе» недостаток сообразительности и тонко высмеял его. В своей книге «Россия в 1839 году» он рассказал, как ознакомился в Нижнем с интересным русским типом в лице местного правителя Бутурлина. «Этот субъект, – писал де Кюстин, – оказавшийся чрезвычайно словоохотливым собеседником, задался, очевидно, целью внушить квалифицированному иностранцу самое выгодное представление о русских порядках и выполнил эту задачу с наивной развязностью апологета русской государственности, не подозревающего, что азиатская точка зрения не для всех обязательна». Кюстин называет его «патриотом казенного образца» и приводит некоторые его сентенции. Например, такую: «Законы в России так суровы, что их следует применять осмотрительно и в редких случаях, – иначе пострадает престиж власти»*.

Осматривая в сопровождении губернатора Нижегородский кремль, маркиз поклонился гробнице Кузьмы Минина в кафедральном Спасо-Преображенском соборе и восхитился очевидной древностью собора, которому должно быть никак не меньше двухсот лет. Но Бутурлин, по словам француза, с гордостью сообщил ему о том, что это он построил этот храм, не отреставрировал, а именно построил заново. «Старый храм совсем обветшал; Государь счел за лучшее не чинить его, а отстроить целиком заново; еще менее двух лет назад он стоял на пятьдесят шагов дальше и выступал из ряда прочих зданий, так что портил план нашего кремля». «А как же кости Минина?!» – «Их выкопали из земли вместе с останками великих князей, похороненных прежде; теперь все они в новой усыпальнице – вот под этим камнем». Из этого ироничный француз сделал вывод о том, как русские берегут свои святыни.

Возможно, Кюстин отчасти и преувеличивал «простоту» Михаила Петровича. Ведь даже Улыбышев, который называл его «идеалом дурного правителя», в конце концов с ним помирился. Когда Бутурлин вернулся в Нижний в 1843 году «уже не губернатором, чтобы сдать дела и расплатиться с кредиторами»**, Улыбышев даже подарил ему свою книгу о Моцарте с автографом «в знак дружбы и уважения». Этот том вместе с другими книгами из библиотеки Бутурлина со временем попал через потомков нижегородского губернатора в Государственный музей А.С. Пушкина в Москве, где и хранится ныне.

И все-таки именно такой ревностный чинуша и мог, наверное, принять остановившегося в Нижнем проездом из Петербурга поэта Пушкина за тайного ревизора. Когда гость уехал, Бутурлин отправил с курьером письмо своему оренбургскому коллеге-губернатору графу Василию Алексеевичу Перовскому. «У нас недавно проезжал Пушкин, – писал он, – Я, зная, кто он, обласкал его, но должен признаться, никак не верю, чтобы он разъезжал за документами

* Записки о России маркиза де Кюстина. М.: СП Интерпринт, 1990. С. 110–112.

** Улыбышев А.Д. Записки // Звезда, 1935. № 3. С. 174–197.

о Пугачевском бунте; должно быть, ему дано тайное поручение собирать сведения о неисправностях. Вы знаете мое к вам расположение; я почел долгом вам посоветовать, чтобы вы были осторожнее»*. Михаил Петрович не знал, что Пушкин и Перовский – давние приятели по Петербургу. И дружный хохот их за чтением вслух этого письма, огласил губернаторскую дачу под Оренбургом 20 сентября 1833 года. Случилось так, что в этот же день в канцелярию нижегородского губернатора было отправлено из Петербурга секретное уведомление об установлении надзора за титулярным советником Александром Пушкиным. Получив его, Бутурлин понял, как ошибался он в своих предположениях.

Пушкин, как и его добрый знакомый Василий Перовский, не стал делать из этого тайны. Хотя какая тут тайна? Анекдотическая ситуация с мнимым ревизором и без того витала в российском воздухе и даже описана уже была в литературе. Да, спустя два года Пушкин рассказал этот нижегородский случай Гоголю в ответ на его просьбу: «Дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но русский чисто анекдот». Только смысл «подсказки» был в другом. По точному выражению профессора Ю.В. Манна, Пушкин только указал своему младшему собрату по перу на творческую продуктивность сюжета, хорошо тому известного. Кстати, еще до обращенной к Пушкину просьбы Гоголь со своими однокашниками по Нежинской гимназии А.С. Данилевским и И.Г. Пащенко по дороге из Киева даже разыгрывали целый «спектакль» об «инкогнито из Петербурга» перед смотрителями на почтовых станциях. Один из друзей прибывал на станцию и рассказывал, что следом за ним инкогнито (!) едет ревизор. И двух других встречали там чуть ли не хлебом-солью…

Легенда о нижегородском «ревизоре», рассказанная Гоголю Пушкиным, оказалась удивительно живучей**. Однако замыслу гоголевской комедии предшествовал ведь не реализованный творческий замысел самого Пушкина. Вскоре после возвращения из поездки по пугачевским местам в его бумагах появляется запись: «Криспин приезжает в губернию NB на ярмонку – его принимают за <неразб.>… Губернатор честной дурак – Губернаторша с ним кокетничает – Криспин сватается за дочь». Толчком к этому пушкинскому замыслу, по-видимому, тоже послужило именно нижегородское происшествие. А насколько его несостоявшиеся персонажи соответствуют реальным нижегородским персоналиям?

Губернаторша Анна Петровна вполне могла с Пушкиным слегка пококетничать за разговором о его «проповеди» перед болдинскими мужиками. «Роль» губернаторской дочки, к которой сватается Криспин, вполне могла «сыграть» присутствовавшая на обеде родственница Лидия Петровна Стремоухова, девушка на выданье (реальные губернаторские дети Сергей и Варвара были тогда малолетними). С губернатором мы тоже уже познакомились. Похож ли пушкинский «губернатор – честной дурак» на Михаила Петровича Бутурлина? Очень. А вот на Антона Антоновича Сквозник-Дмухановского совсем не похож. Гоголевского городничего «честным дураком» никак не

* Из воспоминаний графа В.А. Соллогуба // Русский архив. 1865. № 6. С. 744–745.

** К возникновению этой легенды через десять лет после смерти Пушкина приложил руку сам Гоголь.

назовешь. У Гоголя этот ключевой персонаж – по сути своей, совсем другой тип правителя.

Да и «ревизор» был бы у Пушкина совсем другой. Ведь он назван у него «Криспин», а Криспин или Криспен – это устойчивое театральное амплуа слуги-плута и лгуна. По-видимому, Пушкин и тут бы обратился к традиции «бродячего» европейского сюжета, как не раз делал это, создавая свой вариант истории Дон Жуана или Фауста, вступая в диалог со своими литературными предшественниками. А Гоголю всегда важно было создать нечто совершенно небывалое. Его Хлестаков не заведомый мошенник, а едва ли не «жертва» обстоятельств, он даже и не понимает ничего поначалу, даже робеет. И только подчиняясь ситуации, начинает старательно лепить образ важной персоны, как он сам его себе представляет.

Увы, прочесть пушкинский вариант «Ревизора» мы никогда не сможем. Как и тексты многих других его невоплощенных замыслов. Жаль. Нижний Новгород был бы местом действия этой комедии. Пушкин покинул город вечером 3 сентября. А в Нижнем месяц спустя развернулась совсем другая «комедия», а может быть, «трагикомедия». Бюрократическая.

Петербургские чиновники хватились, что Пушкина нет в Петербурге, когда он подъезжал уже к оренбургским пределам. И полетели письма-уведомления под грифом «Секретно». Сначала нижегородскому губернатору Бутурлину (ведь в Нижегородской губернии пушкинское имение Болдино). Потом после переписки нижегородских ведомств – дальше.

Бутурлин сделал вид, что он вообще Пушкина не видел и ничего о нем не знает! Где титулярный советник Пушкин? Через два дня нижегородский полицмейстер докладывает: «Служащий в Иностранной коллегии статский (!) советник Пушкин прибыл в Нижний Новгород из Санкт-Петербурга 2-го, а 3-го числа сентября выехал в Казань, а титулярного советника Пушкина в проезде не имелось». Кто добавлял рангов к чину своего барина при записи в книгу прибытия на почтовых станциях, мы знаем. Это камердинер «человек мой Гаврила» (кстати, родной брат Ольги Калашниковой, михайловского увлечения Пушкина), на которого он не раз «жаловался» родным: «Глуп, говорлив, через день пьян, ест мои холодные дорожные рябчики, пьет мою мадеру, портит мои книги и по станциям называет меня то графом, то генералом. Бесит меня, да и только».

Что же касается нижегородской ситуации, комизм состоял в другом. Поэт к тому времени, проехав почти две тысячи верст по пугачевским местам, был уже неделю с лишним в своем нижегородском Болдине, когда из Нижнего 9 октября были отправлены официальные уведомления об установлении надзора за Пушкиным в Казань и Оренбург.

Из Казани 30 октября сообщили, что Пушкин приехал в город 6-го, а выбыл 8 сентября. Оренбургский губернатор Перовский 24 октября написал, что поездка Пушкина «не имела другого предмета, кроме нужных ему исторических изысканий». 13 ноября, когда прислал свой ответ сергачский земский исправник С.П. Званцов, получивший предписание о секретном надзоре за поэтом в Болдине, поэт уже уехал домой в Петербург и пятый день был в пути*.

---

* Куприянова Н.И. Пушкин под надзором и без оного // Куприянова Н.И. К сему: Александр Пушкин. Горький, 1988. С. 216–220.

Выезжая вечером 3 сентября из Нижнего, поэт был свободен и весел. Его ждала любимая работа. «Ты не можешь вообразить, – писал он жене с дороги, – как живо работает воображение, когда <…> никто не мешает думать, – думать до того, что голова закружится…»

«Улицы широкие и хорошо мощеные»

На Большой Покровской улице Пушкин бывал, по-видимому, не один раз, и она запомнилась поэту-путешественнику. По ней он въезжал в город. И, конечно, о ней писал в коротеньком письмеце Наталье Николаевне, едва расположившись в гостинице: Les rues sont larges et bien pavees, les maisons sont bien baties. Письмо написано по-русски, но несколько фраз, как эта, – на привычном для образованных людей того времени французском. В переводе это значит: «Улицы широкие и хорошо мощеные, дома построены основательно». Оценка довольно сдержанная, чтобы не сказать формально-вежливая. Но не стоит забывать, что ведь именно здесь, на Большой Покровской селились и строились архитекторы, которых привез из столицы для возведения ансамбля Нижегородской ярмарки А.А. Бетанкур (Ф. Дмитриев, Р. Бауса, А. Леер). Улица вообще была преимущественно дворянской, застроенной домами хотя и окруженными непременным садом, но в стиле классицизма, с колоннами и портиками. Правда, строения были в основном деревянные, отделанные «под кирпич», а лепнина фризов и маскаронов если и была, то не каменная, а недолговечно-алебастровая, отчего в облике улицы преобладал дух провинциальности. Только от площади Дворянского собрания и дальше к Верхнепосадской-Благовещенской начиналась сплошная булыжная мостовая, и дома там уже были по большей части каменные.

И все-таки, скорее всего, Большая Покровская (или Покровка, как чаще ее называли) произвела на поэта хорошее впечатление. По ней, возможно, прогулялся он пешком, отправляясь в гости к Бутурлиным или возвращаясь в гостиницу перед отъездом.

Велика вероятность, что Пушкин заходил в Дворянское собрание, которое располагалось напротив губернаторского дома через улицу. Это одно из самых красивых и сохранившихся в строго классицистическом виде каменных сооружений-свидетелей Пушкинской эпохи. Оно и сейчас в целости (это Дом культуры им. Я.М. Свердлова). Пушкина могли привлечь туда заботы по болдинской усадьбе. Дело в том, что в здании Дворянского, или, как чаще говорили, Благородного собрания, размещалось Присутствие по делам управления и опекунства над помещичьими имениями Нижегородской губернии*.

После смерти Василия Львовича Пушкина в августе 1830 года его половина Болдинского имения находилась в ведении Опекунского совета. Дела по управлению шли плохо. Частные долги и казенные денежные претензии угрожали продажей этой половины пушкинской вотчины с молотка. Скоро, в 1835 году она-таки и будет продана. Но тогда, в 1833-м Пушкины еще надеялись сохранить Болдино в семейном владении. Несмотря на то что долги по другой части болдинских земель, принадлежавшей отцу поэта Сергею Львовичу, были тоже не-

* Филатов Н.Ф. Нижний Новгород пушкинской поры. 1833. – Горький, ВВКИ, 1983. С. 39.

малые. Кстати, половину Василия Львовича купил полковник Сергей Васильевич Зыбин, дом которого стоял неподалеку от Дворянского собрания вверх по Большой Покровской.

Случилось так, что именно с этой улицей связаны были в прошлом знакомые Пушкину по Москве и Петербургу нижегородцы, урожденные или временно в этом городе пребывавшие. Находясь в губернаторском доме, поэт мог вспомнить Николая Ивановича Кривцова. Это имя из ближнего круга Пушкина. Их связывали общие воспоминания времен молодости, нечастые встречи и живая переписка. За шесть лет до приезда в Нижний Пушкина Кривцов с женой Екатериной Федоровной, урожденной Вадковской, жил в этом доме, будучи нижегородским губернатором. Это было недолгое по времени, но запомнившееся многим губернаторство.

14 июня 1827 года на вечере в петербургском доме Карамзиных Пушкин после девятилетней разлуки встретился с давним своим приятелем Николаем Кривцовым. Тот только что покинул пост начальника Нижегородской губернии. Как нередко у него бывало, покинул с шумом. Подав в отставку, он поселился с семейством в своей тамбовской деревне Любичи, время от времени выезжая в столицы. И его встречи с поэтом возобновились.

Герой Отечественной войны 1812 года, участник многих знаменитых сражений. В 1813 году в битве под Кульмом Кривцову оторвало ядром ногу, он носил пробковый протез, сделанный ему в Европе. После войны он перешел на статскую службу – в Коллегию иностранных дел, с 1818 по 1823 год служил в российском посольстве в Лондоне. Поговаривали, что Кривцов вернулся в Россию не просто либералом, как многие его товарищи по заграничным походам, а отъявленным республиканцем. Его московский знакомый Кристин пришел в ужас от его политического вольнодумства и демонстративного атеизма. О том, какое сильное влияние имел он на молодого Пушкина, есть свидетельства Тургеневых, в доме которых они и познакомились в 1817 году. В их дружбе Кривцов главенствовал. Он был на восемь лет старше. А кроме того, вообще обладал очень сильным и властным характером. «Неимоверно влияние, которое Николай мог производить», – писал его брат Сергей*. Наверное, только такой человек и мог остановить разъяренную толпу, ворвавшуюся во французский госпиталь в оставленной Наполеоном Москве, и предотвратить погром. Попавший в плен под Бородином Кривцов лечил там раненую руку. Потом в Париже ему за это будет вручен Людовиком XVIII орден Почетного легиона.

В годы гражданской службы в России Николай Кривцов был известен как очень жесткий правитель сначала Тульской, потом Воронежской и, наконец, Нижегородской губернии. Его назначали «поправлять» запущенные губернии, и он, по свидетельству современников, «заводил порядок и правильность» в городском и губернском хозяйстве, мостил улицы, устраивал колодцы и дамбы, боролся с мздоимством. Но его прямота и принципиальность приводила, как правило, к конфликтам с местным дворянством и к многочисленным доносам и жалобам. Самым коротким было его правление в Нижнем Новгороде. Всего восемь месяцев – с сентября 1826 до мая 1827 года.

---

* Гершензон М. Декабрист Кривцов и его братья. М., 1914; Сабуров Я.И.. Н.И. Кривцов // Русская старина, 1888, декабрь.

Останься век, каков ты ныне,
Лети во мрачный Альбион!
Да сохранят тебя в чужбине
Христос и верный Купидон!

Пушкин искренне любил своего гордого и деятельного друга и посвящал ему стихи. А Кривцов и остался до конца своих дней таким же несгибаемым скептиком и таким же, каким был всегда, атеистом-безбожником. На мраморной плите собственного склепа в тамбовском имении, где он и будет погребен в 1843 году, он начертал «Не верю и не боюсь».

Образ Николая Кривцова вполне мог быть связан с «демоническими» стихами Пушкина. В пору создания «Демона» (1823), «Сцены из Фауста» (1825) и других творений, в которых звучал живущий в каждом человеке тайный «дух отрицания и сомнения», поэт мог мысленно обращаться к другу своей вольной молодости. Они часто говорили об этом. Эта тема отчетливо звучит и в письме Пушкина к Николаю Кривцову накануне женитьбы – от 10 февраля 1831 года. «Все, что бы ты мог сказать мне в пользу холостой жизни и противу женитьбы, все уже мною передумано. Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния, мною избираемого. <…>Женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входят в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью». Часто в этих строках видят предчувствие Пушкиным своей погибели. Но здесь и тот самый вселенский скепсис, в какой-то степени, даже и скепсис по отношению к любви. И неслучайно именно к Кривцову обращены эти строки, в которых в основу семейного счастья положено не любовное упоенье, а «домашние расчеты». Николай Кривцов жил тогда в своих Любичах, в трехстах верстах от Болдина, где Пушкин находился осенью 1830-го. Поэтому в письме к нему, писанном перед женитьбой, он и скажет: «Нынешней осенью был я недалеко от тебя. Мне брюхом хотелось с тобой увидеться и поболтать о старине – карантины мне помешали»…

Но вернемся на Покровку. Изящная маленькая площадь возле Дворянского собрания, определенно, в каком-то смысле, самое «пушкинское» место в Нижнем. По диагонали от губернаторского дома через перекресток Большой Покровской с Дворянской улицей, нынешней Октябрьской, стоял дом, в котором родился и прожил до семнадцати лет еще один пушкинский знакомец, князь Сергей Петрович Трубецкой. Тот самый, член Союза спасения и Союза благоденствия, один из руководителей Северного общества, один из авторов «Манифеста к русскому народу». Избранный в диктаторы восстания, но на Сенатскую площадь не вышедший. Кадровый военный, храбрый человек, который в сражении при Кульме, командуя батальоном, без единой пули, на одних штыках обезоружил со своими солдатами отряд французов. Быть может, полковник Трубецкой, не вышедший на площадь, – одна из самых трагических фигур восстания. Он не только понимал лучше других степень неподготовленности выступления и его обреченности. Особенно после того, как Якубович в последний момент отказался вести на Зимний матросов Гвардейского экипажа и Измайловский полк, и после других отступлений от первоначального плана. Не только потому, что Трубецкой осознавал, что без большого пролития крови соотe-

чественников не обойтись. Быть может, именно в его сознании более, чем у кого-либо другого из декабристов, выразилось коренное противоречие дворянского выступления 1825 года. Страстное стремление к гражданским свободам, с одной стороны, и «генетическая», с молоком матери впитанная внутренняя невозможность нарушить законы дворянской чести и изменить присяге, с другой…

Пушкин не был с Трубецким в близких дружеских или приятельских отношениях. Но они общались в литературном кружке «Зеленая лампа», членами которого были оба; они встречались в столичных аристократических гостиных. Характерный удлиненный профиль Трубецкого часто появлялся после расправы 1826 года в рисунках Пушкина на полях рукописей. А в планах неосуществленного замысла романа «Русский Пелам» у него есть запись: «Общество умных. Илья Долг <руков>, С<ергей> Труб<ецкой>, Ник<ита> Мур<авьев>». Сохранились свидетельства о том, что художественное осмысление событий 1820-х годов в Петербурге, в том числе и декабрьского выступления, было в его планах.

В последний раз Трубецкой посетил родительский дом в Нижнем Новгороде в 1817 году, когда умер его отец князь Петр Сергеевич. Вскоре дом был продан. Екатерина Ивановна Трубецкая, жена декабриста, следуя в 1826 году к осужденному на двадцать лет каторги мужу в Сибирь, на правах родственницы останавливалась в одном из домов князя Г.А. Грузинского выше по Большой Покровской*. С.П. Трубецкой по матери приходился ему племянником. Дом же Трубецких в 1833 году принадлежал генеральше Н. Ляпуновой. Сейчас на его месте скверик против главного входа в бывшее Дворянское собрание.

А чуть дальше по Покровке, на месте нынешнего Нижегородского драматического театра стояла усадьба XVIII века князей Волконских. Направляясь на обед к губернатору, Пушкин проходил мимо решетки ее парадных ворот, старый дом был в глубине двора. Благодаря изысканиям Н.Ф. Филатова, мы знаем, что хозяйкой усадьбы числилась княгиня Александра Николаевна Волконская, урожденная Репнина, мать декабриста генерала С.Г. Волконского. Хотя вряд ли статс-дама, обер-гофмейстерина Высочайшего двора и подруга императрицы Марии Федоровны жила и вообще бывала в своем нижегородском доме. Ее младший сын Сергей Григорьевич Волконский в этом доме бывал. Останавливался проездом по дороге к отцу, губернатору Оренбургского края. Будущий декабрист был владельцем богатого заволжского села Николо-Погост в Нижегородской губернии. Оно досталось ему по наследству от деда по линии матери – известного дипломата и военачальника екатерининских времен Н.В. Репнина**. А он, в свою очередь, попав под суд после восстания, передал это имение по духовному завещанию малолетнему сыну Николаю под опекунством жены Марии Николаевны Волконской и ее отца.

С декабристом Сергеем Григорьевичем Волконским, осужденным Следственным комитетом по первому разряду к двадцати годам каторги, Пушкин познакомился в мае 1820 года в Киеве, потом их знакомство возобновилось в Одессе. «Пушкин пишет “Онегина” и занимает собою и стихами всех своих приятелей», – писал Волконский

---

* В. Зеленцов. О доме, где жил Трубецкой // За учительские кадры. 1977. № 31. 28 ноября.

** Филатов Н.Ф. Нижний Новгород пушкинской поры. – Горький, 1983. С. 46.

П.А. Вяземскому в июне 1824 года. По утверждению сына Волконского именно ему было якобы поручено принятие Пушкина (так и не состоявшееся) в Южное общество декабристов. С его женой Марией Николаевной Волконской, в девичестве Раевской, поэт тоже был знаком и дружен. Он сблизился с семьей Раевских во время путешествия на Кавказские минеральные воды и по Крыму летом 1820 года. Последняя их встреча произошла 26 декабря 1826 года в Москве на вечере у Зинаиды Волконской накануне отъезда Марии Николаевны к сосланному в Сибирь мужу.

Пушкин написал Волконским эпитафию на смерть их маленького сына Николая. Мария Николаевна в письмах к отцу передавала Пушкину благодарность за сочувствие. Некоторые исследователи видели в ней предмет «утаенной любви» Пушкина и связывали с ней некоторые его стихи: «Редеет облаков летучая гряда» (1820), «Таврида» (1822), «Не пой, красавица, при мне» (1828), «На холмах Грузии» (1829), вступление к поэме «Полтава», некоторые строки «Онегина». Логично предположить, вслед за Н.Ф. Филатовым, что, отправляясь к мужу в Сибирь (а на Сибирский тракт дорога шла через Нижний), Мария Николаевна останавливалась отдохнуть здесь, в доме мужниной родни на Большой Покровской. Спустя много лет она в своих «Записках» вспоминала о разговоре с Пушкиным накануне своего отъезда в Сибирь. «Пушкин мне говорил: “Я намерен писать книгу о Пугачеве. Я поеду на место, перееду через Урал, поеду дальше и явлюсь к вам просить пристанища в Нерчинских рудниках”. Он написал свое великолепное сочинение, всеми восхваляемое, но до нас не доехал»*.

Спустя много лет – после амнистии 1856 года – в Нижний приедет еще один друг Пушкина из числа декабристов, осужденных на вечную каторгу в Сибирь. Это был лицейский товарищ поэта Иван Пущин, «большой Жанно», доставивший Пушкину незабываемую радость, посетив его в михайловской ссылке. Приезд Ивана Пущина в Нижний связан с судьбой его незаконнорожденной дочери, появившейся на свет в сибирском Ялуторовске в результате союза его и местной женщины «из простых». Девочку удочерила Мария Александровна Дорохова, бывшая директриса Иркутского института благородных девиц, переехавшая потом в Нижний Новгород, чтобы возглавить Нижегородский институт для юных дворянок**. Пушкин хорошо знал Руфина Дорохова, мужа Марии Александровны, задиру, бретера и храбреца, не раз «за неукротимый нрав и буйные выходки» разжалованного в рядовые, но каждый раз благодаря личной храбрости возвращавшего себе офицерские погоны***. Поэт находил «тьму грации в Дорохове и много прелести в его товариществе», упоминал о встречах с ним в «Путешествии в Арзрум». Иван Пущин был дружен с Дороховым и его женой и поддерживал отношения с обоими даже после их развода. В Нижний Новгород он приезжал к Марии Александровне, чтобы навестить свою дочь.

Мы не знаем, бывал ли Пущин на главной улице города, скорее всего, бывал. Но из его собственных «Записок о Пушкине» известно, что

---

* Записки княгини М.Н. Волконской // Своей судьбой гордимся мы. Иркутск, 1977. С. 319.

** Коновалова А.Н. Мария Александровна Дорохова // Записки краеведов. Горький, ВВКИ, 1975. С. 63-66.

*** Считается, что именно Р.И. Дорохов вдохновлял Л.Н. Толстого при создании образа Долохова в романе «Война и мир».

он бывал у тогдашнего начальника Удельной конторы в Нижнем – у Владимира Ивановича Даля на Большой Печерской. И они, конечно, вспоминали Пушкина. Тем более что в нижегородской квартире Даля хранились тогда две бесценные реликвии: простреленный на дуэли сюртук и перстень поэта, подаренные Далю вдовой Пушкина.

Что же касается Большой Покровской, то здесь жили и менее близкие, хотя и знакомые Пушкину люди. Например, дворяне Ульянины. Владимир Васильевич Ульянин, предводитель лукояновского уездного дворянства был тем самым ревностным чиновником, который никак не хотел выдать поэту разрешение на проезд через холерные карантины в 1830 году. Пушкина в Лукоянове дважды заворачивали обратно в Болдино, когда, испугавшись за здоровье близких, поэт рвался в холерную Москву. Спустя несколько лет, встретив В.В. Ульянина в Петербурге в Английском клубе, Пушкин подошел к нему: «Кажется, это Вы меня притесняли во времена холеры?..» И пожал-таки ему руку.

Прощаясь с Покровкой, мы еще раз вернемся к уже упоминаемому нами пушкинскому знакомому нижегородцу Александру Дмитриевичу Улыбышеву. С этой улицей была связана вся его нижегородская жизнь. В 1830-е годы он жил в своем Лукине и работал над книгой о Моцарте. Наезжая в Нижний в дни ярмарки, снимал в центре города временное жилье. Летом 1833 года это был дом капитанши Е.М. Щепановой, находившийся примерно на месте нынешнего Кукольного театра на Покровке. В 1841 году Улыбышев решил перебраться с семьей в губернский город на постоянное жительство. И арендовал у священника А.И. Добролюбова, отца будущего знаменитого критика, великолепный двухэтажный с антресолями каменный дом, настоящий шедевр архитектора Георга Кизеветтера над Лыковой дамбой. Буквально в двух шагах от Большой Покровской, неподалеку от Дворянского собрания. А в 1848 году он переехал уже в собственный каменный дом у пересечения Большой Покровской с Малой Покровской улицей, где принимал на своих вечерах с музыкой и домашними спектаклями полгорода. Со временем на приобретенном там земельном участке он выстроил еще один дом для семьи дочери.

О том, что связывало Улыбышева с Пушкиным, хорошо известно. В молодости они в одно время служили в Петербурге в Коллегии иностранных дел, вместе посещали заседания литературно-театрального кружка «Зеленая лампа». У них была масса общих знакомых и, возможно, в чем-то схожие литературные и музыкальные пристрастия. Оба были нижегородскими помещиками. Но все это вряд ли дает основания предполагать, что их связывала близкая дружба, как считают некоторые исследователи. Увы, свидетельств их личного знакомства или общения попросту нет, кроме одного устного упоминания А.О. Смирновой-Россет об их беседе о Моцарте в гостиной Карамзиных. Да еще, может быть, одного пушкинского рисунка, сделанного на заседании «Зеленой лампы» в доме Всеволожских 17 апреля 1819 года, где изображен председательствовавший Улыбышев*. Ни тот ни другой не оставили ни одного упоминания друг о друге. И это притом что Улыбышев в пору своих активных критических выступлений 1820-х годов в петербургских газетах довольно много писал не только о музыке, но и о литературе. И, удивительное дело, Улыбышев

* Подробнее: Белоногова В.Ю. Забытая мелодия. Жизнь и труды Александра Улыбышева. – Нижний Новгород: Кварц, 2016. С. 80–84.

ни разу не пишет о своем сотоварище по «Зеленой лампе». А ведь Пушкин именно в это время переживал пик своей прижизненной славы у современников. Больше того, зимой 1827 года, как писал поэт Дмитрий Веневитинов в письме своему брату, Улыбышев «собирался бранить в “Journal de St.-Petersbourg”» опубликованную в «Московском вестнике» сцену «Ночь. Келья в Чудовом монастыре» из пушкинской трагедии «Борис Годунов» (статья по каким-то причинам не была опубликована).

Нет, Улыбышев не был другом Пушкина. Хотя и был человеком пушкинского времени – Золотого века русской культуры. И, живя в Нижнем Новгороде, он насаждал дух этой культуры – музыкальной, театральной, литературной. Дух легкой игры, умной шутки и оппозиционности. Впрочем, это будет позже. 3 сентября 1833 года они не увиделись в доме губернатора. Улыбышев писал свою книгу в Лукине. А Пушкин шел Большой Покровской улицей по направлению к гостинице, возле которой его уже ждала запряженная почтовая тройка. Он покидал Нижний Новгород, чтобы продолжить свое путешествие «к Пугачеву», главной цели его поездки.

София ИВАНОВА

Родилась в деревне Черемисское Кстовского района Горьковской области. Окончила Горьковский институт иностранных языков и факультет по подготовке практических психологов Волго-Вятской академии госслужбы.

Работала учителем иностранного языка, гидом-переводчиком, школьным психологом. Печаталась в альманахах «Земляки», «Русский смех», «Арина», журнале «Нижегородская провинция».

Лауреат конкурса «Душа поет» на Нижегородском областном радио. В 2010 году в издательстве «Книги» (Нижний Новгород) вышла книга ее стихов «Забытые слова». Живет в Кстове.

АРОМАТ ВИШНЕВОГО САДА

К 150-летию со дня рождения О. Л. Книппер-Чеховой

Память зачем-то хранит разрозненные картины, ни с чем вроде не связанные. Но наступает момент, когда ты понимаешь, что эта далекая картинка была неслучайна, она ждала своего часа, как ждут его почки весной. Десятый класс. «Проходим» Чехова. На уроке читаем по ролям «Вишневый сад». Мне досталась роль Раневской, вовсе не потому, что я читала особенно выразительно, – просто я была лучшей ученицей по русскому языку и литературе. Учитель иногда зачитывал отрывки из моих сочинений, а то еще и меня заставлял это делать. Но не помню, чтобы меня за это не любили или дразнили. Каждому свое – зато в математике я была полный нуль. Почему-то запомнилась реплика Раневской: «Ну, посыпались...» когда она роняет кошелек. Наверно, тоже неслучайно – деньги легко уходили из моих рук. Так же легко они уходили и из рук Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой, первой исполнительницы роли Раневской, потому что речь вовсе не обо мне, а о ней. Разве я знала тогда, что так заинтересуюсь личностью этой замечательной женщины, что захочу о ней написать?

Было время, когда я не знала об Ольге Леонардовне ничего, кроме того, что она была актрисой и женой Чехова. И этот брак мне, как и многим, казался странным. Потом мне попала в руки книга Лидии Авиловой «Чехов в моей жизни». Из нее следует, что Чехов и Авилова любили друг друга, но поскольку Лидия Алексеевна была на момент их встречи замужней женщиной и имела ребенка, никаких реальных отношений между ними не было, хотя оба понимали, что между ними происходит. Я склонна ей верить, хотя некоторые считают,

что она все выдумала. Тогда я решила, что это и была единственная подлинная любовь Чехова. И вот наконец я читаю переписку Чехова с женой, и мне открывается удивительный мир, мир двоих очень близких друг другу психологически, духовно, интеллектуально людей, мир любви счастливой и в то же время трагической, оборвавшейся на взлете. Они писали друг другу каждый день, всего каждым из них написано более 400 писем. В это трудно поверить в наше бесписьменное время – это ведь вам не на клавиатуре компьютера нащелкать. Для этого надо было взять в руки ручку со стальным пером и писать ею, обмакивая перо в чернила, запечатать письмо в конверт, наклеить марку, опустить письмо в почтовый ящик.

Кто же была эта женщина, ради которой серьезно больной писатель расстался с холостой жизнью? Ольга Книппер происходила из обрусевшей немецкой семьи. Родилась в Глазове Вятской губернии в 1868 году. Через два года семья переехала в Москву. Отец был инженером, а инженеры в то время были состоятельными людьми, так что семья жила безбедно. Мать обладала прекрасным голосом, хотела стать оперной певицей, но муж был против этого, и она полностью посвятила себя семье. Потом, когда мужа не стало и надо было зарабатывать на жизнь, Анна Ивановна Книппер стала преподавать пение в Филармоническом училище, а Ольга давала уроки музыки. Артистическая одаренность Анны Ивановны передалась детям и внукам: кроме дочери-актрисы был еще сын Владимир, оперный певец (сценический псевдоним – Нардов), внук Лев Книппер, композитор, люди старшего поколения помнят его песни – «Полюшко-поле» и «Почему медведь зимой спит», а также внучка – еще одна Ольга Книппер, актриса. Судьба сделала зигзаг, и эта Ольга тоже стала Чеховой, выйдя замуж за Михаила Чехова, актера и режиссера, племянника Антона Павловича. Но брак был недолгим, она вскоре уехала в Германию, стала известной киноактрисой.

А Ольга Книппер жила обычной жизнью барышни из «хорошей семьи» – училась в гимназии, изучала языки, рисовала, училась музыке и пению. Она была лингвистически одаренной, ей легко давались языки, в юности даже занималась переводами. В письмах Чехову впоследствии она иногда сетовала на то, что нет у нее дара слова. А дар слова у нее был – читаешь очень лиричные описания природы и удивляешься, как эта женщина сама ничего не писала. Вот фрагмент письма к Чехову, где Ольга Леонардовна описывает свое посещение Любимовки, где они с Антоном Павловичем жили летом 1902 года в имении матери К.С. Станиславского: «Я только что вернулась из Любимовки. Весь день было много впечатлений. Осенняя природа, бледное солнце, сквозной лес. Все грустно, все сжимается, угасает... Переживала свой первый приезд в Любимовку. Все свои ощущения, весь блаженный месяц... Как было все полно летом! Сочная зелень, запах сена, липового цвета, церковное пенье, колокольный звон... Как все было гармонично и как у меня на душе было тихо и полно! Повторится ли это?!» После смерти Антона Павловича она еще некоторое время продолжала писать своеобразные письма-дневники, так было легче справиться с обрушившимся на нее горем, а потом все заполнил собой театр, Московский Художественный театр, в котором она играла с самого его первого дня и до конца своей сценической жизни, которая была очень долгой.

Ее дебютом была роль царицы Ирины в спектакле «Царь Федор Иоаннович» по пьесе А. К. Толстого. Этим спектаклем открылся Москов-

ский Художественный общедоступный театр. На репетиции этой пьесы на Книппер впервые обратил внимание Чехов, зашедший в театр, там ставилась и его «Чайка», оглушительно провалившаяся в 1896 году в Петербурге. Из письма Чехова Суворину: «Ирина, по-моему, великолепна. Голос, благородство, задушевность – так хорошо, что даже в горле чешется... лучше всех Ирина. Если бы я остался в Москве, то влюбился бы в эту Ирину». Встреча эта произошла в сентябре 1898 года, писателю было 38 лет, актрисе – 30. Перед этим она с высшей наградой окончила Музыкально-драматическое училище, была ученицей Вл. И. Немировича-Данченко. Пока был жив отец, об этом нечего было и думать, если только из дома сбежать, да и мать была против, но после смерти отца все изменилось, и Ольга стала актрисой.

Дальнейшее общеизвестно: встречи в Ялте и в Москве, переписка, влюбленность, незаметно перешедшая в любовь, венчание 25 мая 1901 года в Москве при немногочисленных свидетелях, и сразу же – поездка в Аксеново, в Самарскую губернию, куда врачи отправили Чехова в кумысолечебницу. Уже тогда по поводу этого брака ходили разные толки. Говорили, например, что Книппер вышла за Чехова по расчету. Но какой мог быть расчет? У Чехова – ни богатства, ни знатного происхождения. Вышла за него, чтобы играть главные роли в его пьесах? Но она и без этого уже их играла, ведь она в то время была первой актрисой МХТ. Лучше нее никто и никогда не играл чеховских женщин, и это объяснимо – кроме таланта тут нужно было и еще кое-что, и любовь к автору играла не последнюю роль. Сама великая Ермолова плакала во время сцены прощания Маши с Вершининым, когда смотрела «Три сестры» в МХТ. Как любят у нас прицепиться к какой-нибудь фразе, вырванной из контекста, и повторять ее с завидным постоянством, да еще понимая ее буквально как, например, знаменитую фразу Чехова о такой жене, которая бы, как луна, лишь изредка появлялась на его небосклоне. Но это было сказано до знакомства с Книппер, это во-первых, и во-вторых, не надо забывать, как любил Чехов шутить. Тогда уж надо заодно верить и тому, что он жену свою бил! Вот напишет он в письме несколько предложений, полных любви и нежности, и вдруг, как бы испугавшись, что слишком увлекся, скажет – «могу тебя и побить». Слава богу, Ольга Леонардовна была умной женщиной, да к тому же еще и остроумной, и все понимала как надо, в отличие от отдельных толкователей их с Чеховым жизни.

Ведь под любовью у нас часто подразумевают страсть, для которой главное – обладание предметом страсти. От страсти и стреляются и на преступление идут – «Так не доставайся же ты никому!» Для любви же главное, чтобы любимому человеку было хорошо, желательно, конечно, с тем, кто любит, но если нет, то все равно тот, кто любит, иногда бывает счастлив только тем, что любимый человек просто живет на свете. Эрих Фромм, выдающийся социопсихолог и философ XX века, так определяет любовь: «Забота, ответственность, уважение и знание». Все это было в недолгой супружеской жизни Чехова и Книппер, причем чем дальше, тем больше. Это можно легко доказать цитатами из писем, но пусть тот, кто не верит, просто внимательно прочитает хотя бы часть этой обширной переписки.

Главный упрек, который предъявляли жене Чехова и предъявляют до сих пор – почему она не была с ним в Ялте. Но сам Чехов не хотел, чтобы она оставила сцену, ведь она была большой актрисой, и он

это понимал. Может быть, сначала он не представлял себе, насколько это будет тяжело для обоих, ведь они все больше и больше привязывались друг к другу – иначе разве были бы эти каждодневные письма? Я думаю, если бы перед Ольгой Леонардовной был поставлен выбор – Чехов или театр, она бы, без сомнения, выбрала семейную жизнь. Уже после смерти Антона Павловича она в своих письмах-дневниках писала, с какими надеждами ехала из Аксенова, где они были сразу после венчания, в Ялту, как представляла эту жизнь в Ялте без театра, искала и находила себе занятия. Но в Ялте все было не так-то просто: там были мать и сестра Чехова, для которых его женитьба была как гром среди ясного неба. Мария Павловна почему-то решила, что невестка хочет все захватить в свои руки, она сама потом в этом призналась, – боялась, что Ольга Леонардовна будет такой же, как Наташа из «Трех сестер». А ведь они с Ольгой Леонардовной уже были подругами, и вдруг такая подозрительность! Конечно, это была и ревность, ведь Мария Павловна отказалась от своей собственной семьи, делали же ей предложения. Видимо, делали не те, кто был нужен, иначе никто бы ей не помешал. Словом, жизнь в Ялте не заладилась с самого начала.

И еще я думаю, что Чехов до конца не верил, что кто-то может его настолько любить, чтобы бросить из-за него театр и Москву. Вот одно его признание: «Меня маленького так мало ласкали, что я теперь... принимаю ласки как нечто непривычное, еще мало пережитое. Потому и сам хотел бы быть ласков с другими...» Не очень-то было принято ласкать детей в мещанской среде, вот розгами наказывать – это было обычным делом. И Ольга Леонардовна тоже, видимо, не верила, что он хочет, чтобы она всегда была рядом. Каждый из них ждал, что решение примет другой. Люди так часто боятся говорить о самом для них важном, боятся открыться. И так ли уж необходимо было Чехову непременно быть в Ялте? Ведь все равно он там прожил так мало. В Ялте он тосковал не только о жене. Ему нужна была вся полнота жизни, к которой он привык в Москве. Там шли его пьесы, а он не видел их. Там была русская природа, которую он так любил, там были друзья. Вдобавок в ялтинском доме зимой почему-то было холодно, иногда всего 11-12 градусов, это разве подходящие условия для больного человека? И общеизвестно, что моральное состояние больного играет очень большую роль в течении болезни. Непонятно, как врачи всего этого не учитывали. Так что стремление сестер Прозоровых в Москву было стремлением и самого автора.

Недоброжелателям О.Л. Книппер-Чеховой нелишне было бы знать вот о таком эпизоде. Из воспоминаний М. А. Андреевой-Ольчевой: «Мне рассказывала М. П. Чехова, как Бунин приехал к ней (к О. Л. Книппер-Чеховой. – *С. И.*) читать свои воспоминания об А.П. Чехове. Она сидела на своем диване. Он перед ней на стуле. Вначале Ольга Леонардовна реагировала вслух на его чтение, потом все реже, тише и, наконец, смолкла совсем. Озадаченный Бунин приподнялся, взглянул пристально на нее – она была без сознания». Понял ли хоть что-нибудь Бунин? Он ведь тоже был среди тех, кто осуждал Ольгу Леонардовну.

Жаль, что она сама так мало написала и о Чехове, и о своей жизни на сцене. Но сколько писем написала за свою жизнь Ольга Леонардовна! И какие это замечательные письма! Она была человеком очень искренним, естественным, не терпящим фальши. Была доброжелательна, уступчива, миролюбива, но становилась непреклонной, когда речь шла

о вещах принципиальных. У нее был счастливый характер – она умела радоваться всему, что дарила ей жизнь. «Что делаю? Ничего. Здесь нирвана. Лежу на шезлонге с дремотной книгой, между двумя цветущими большими олеандрами, сквозь ажурную листву инжира волнует искрящаяся синева моря, и я улыбаюсь и думаю, что я счастлива». Это фрагмент из письма, написанного в Гурзуфе в августе 1946 года. В последние годы в театре она играла очень мало – и здоровье не позволяло, и мало было ролей для нее. Главной ее любовью после театра было чтение, но под конец жизни Ольга Леонардовна очень плохо видела и не могла читать, это было для нее настоящей трагедией. Но с ней в последние годы жила Софья Ивановна Бакланова, которая заботилась о ее быте, писала под ее диктовку письма, читала ей вслух, так что заброшенной и покинутой Ольга Леонардовна никогда не была. Воспоминания о ней людей, хорошо ее знавших, проникнуты искренней любовью и восхищением

Нежная дружба связывала Ольгу Леонардовну с Марией Павловной Чеховой. Забыты были огорчения и обиды прежних лет, и когда эти женщины встречались, в их разговорах незримо присутствовал Чехов, даже если они о нем не говорили напрямую. «Машенька», «Олечка» – обращались они друг к другу в письмах. Ольга Леонардовна пережила Марию Павловну на два года, но она была моложе ее на пять лет. К тому же ведь и родственники были у Ольги Леонардовны – племянники и внучатые племянники. С Ольгой и Адой, дочерьми старшего брата, жившими за границей – первая в ФРГ, вторая в ГДР – Ольга Леонардовна поддерживала отношения. Ада переводила их с Чеховым переписку на немецкий язык. А в Москве были племянники Лев и Владимир Книпперы, двоюродные братья. Последнему Ольга Леонардовна в какой-то степени заменяла мать, умершую, когда мальчику было тринадцать лет. А племянник, по его собственному признанию, был трудным подростком. Когда он уходил на фронт, Ольга Леонардовна дала ему портсигар, который спас Владимиру жизнь. Пуля угодила как раз в портсигар, на нем осталась вмятина от этой пули. В конце жизни Владимир Книппер написал книгу «Пора галлюцинаций», в которой рассказывается о его семье. Книга вышла в 1995 году, а в следующем году Владимир Книппер умер.

Мне вдруг захотелось почитать «Трех сестер» и «Вишневый сад», тем более что «Трех сестер» я вряд ли читала. Смотреть – смотрела, но не читала. Прочитав, я вдруг осознала, что Ольга Леонардовна очень похожа на Машу из «Трех сестер», слишком много совпадений, чтобы с этим не считаться. Пьеса писалась в 1900 году. Летом этого года в письмахЧехова и Книппер появляется «ты» вместо «вы». «Мне все кажется, что отворится сейчас дверь и войдешь ты. Но ты не войдешь, ты теперь на репетициях или в Мерзляковском переулке, далеко от Ялты и от меня. Прощай, да хранят тебя силы небесные, ангелы-хранители. Прощай, девочка хорошая», – пишет Чехов в августе 1900 года. Пьеса была написана вскоре после отъезда Ольги Леонардовны из Ялты. Когда душа человека полна любовью, особенно в самом начале этой любви, то все существо любящего буквально пронизано образом любимого или любимой и накладывает отпечаток буквально на все – общими становятся какие-то выражения, слова, жесты. И поэтому неудивительно, что Маша получилась такой похожей на Книппер. И вряд ли случайно старшую сестру зовут Ольгой, которая весьма напоминает чеховскую

сестру – преподает в гимназии (и Мария Павловна в Москве работала в гимназии), не замужем, хоть уже под тридцать. Получился этакий перевертыш. Да и младшую сестру, возможно, неслучайно зовут Ириной – ведь первой ролью Книппер в МХТ была царица Ирина, а первой чеховской ролью – Аркадина, которую звали Ириной Николаевной. Но, может, я уж слишком расфантазировалась.

В Маше и Ольге Леонардовне и сходство психологическое – обе искренние, порывистые, страстные. Похожи они и своеобразием речи, и любовью к чтению – Маша в пьесе с книгой, и Ольга Леонардовна не мыслила себя без чтения. Маша музыкантша, и Ольга Леонардовна играла не только на рояле, но и на фисгармонии. Маша владеет тремя языками, как и ее сестры, и Ольга Леонардовна знала три языка, а главное – обе способны безоглядно отдаться стихии любви, а там будь что будет. Недаром Маша была не только самой любимой ролью актрисы, но и лучшей ее ролью. Вот очень характерный эпизод, показывающий, как дорога была Ольге Леонардовне роль Маши. МХТ был на гастролях в Софии. В «Трех сестрах», как известно, в конце пьесы играет военный оркестр, когда полк покидает город. И вот репетиция с оркестром, и этот оркестр играет какой-то бравурный прусский марш, совершенно не подходящий к атмосфере пьесы. Ольга Леонардовна пронеслась по сцене, «как раненая черная птица», подбежала к музыкантам, что-то горячо им говорила, потом убежала в свою гримуборную. Там ее нашли плачущей. «Ну как же можно так, ну что же это, какой ужас, ведь так умереть можно... – говорила она всхлипывая». Это был вовсе не каприз первой актрисы – ей невыносимо больно было слышать фальшивую ноту в тонкой ткани чеховской пьесы. В. И. Качалов насвистал оркестрантам марш из «Трех сестер», они его быстро разучили, и все наладилось.

А любовь Ольги Леонардовны к чтению становится явной сразу же, как только начинаешь читать ее письма. Она читала на трех иностранных языках: французском, немецком и английском. Ну и говорила на них, разумеется. В 1922–1924 годах МХТ был на гастролях в Америке, причем оба раза очень подолгу. В это время Ольга Леонардовна заговорила по-английски, и не только заговорила, но и стала читать со сцены Чехова по-английски. В одном из писем она сообщает, как во время чтения спросила после абзаца: «Do you understand me?» – в ответ раздались аплодисменты. Значит, произношение было хорошим. Еще бы оно не было хорошим, ведь она была очень музыкальна, а хороший музыкальный слух очень важен при овладении иностранным языком. Все, что могла, она читала на языке автора. Как я ее понимаю! Я сама по-настоящему полюбила Мопассана только после того, как смогла читать его по-французски.

Из воспоминаний В. В. Шверубовича, сына В. И. Качалова, который приводит эпизод из гастролей МХТ в Новороссийске: «Февраль 1920 года, свирепо завывает норд-ост, настроение у обитателей вагона мрачное... И в резком, поражающем контрасте со всеми – она, наша дорогая “герцогиня”: она сидит в центре теплушки, она не ищет угла, не жмется к стенке, как другие... Сидит прямо, ни к чему не прислоняясь (она так сидела и на 91-м году жизни), на своем чемодане, а на поставленном рядом “на попа” другом чемодане расстелена белоснежная салфетка, на ней свечка в фарфоровом подсвечнике и книга в сафьяновом золоченом футляре-суперобложке, в книге заложен разрезной нож слоновой

кости. Колени Ольги Леонардовны прикрыты одеялом из лисьих шкур, на плечах белый пушистый оренбургский платок».

Но настало время, когда Ольга Леонардовна не могла уже играть Машу в силу возраста.

Вспоминает М. О. Кнебель, актриса и режиссер: «Это было в день премьеры “Трех сестер”. Машу играла А. К. Тарасова. Я пришла в театр, чтобы поздравить товарищей. Приближался конец спектакля. В пустом темном коридоре я увидела Ольгу Леонардовну. Она стояла, прижавшись лбом к стене. Она плакала. Я уже подошла слишком близко, и уходить незамеченной было поздно. Она меня увидела. “Все прошло, все прошло”, – сказала она, утирая слезы и улыбаясь. Вот она, чудная чеховская женщина, подумала я. А за кулисами Ольга Леонардовна заходила к актерам и ласково поздравляла всех». Это была новая постановка «Трех сестер», сделанная Вл. И. Немировичем-Данченко в 1940 году.

«Вишневый сад» меня очаровал не меньше «Трех сестер». Писался он Чеховым очень трудно – ведь жить ему оставалось совсем немного. Когда читаешь в письмах, как Ольга Леонардовна уговаривает его писать, думаешь: да что же она, не понимает, что ему уже не до этого? Но не надо обвинять ее в бездушии: она не знала о действительном положении дел со здоровьем Чехова, да и никто не знал, кроме врачей. Вот его отношение к болезни своей для меня является загадкой, да и не только для меня, наверное. Что это было? Боязнь взглянуть правде в лицо, надежда на то, что все как-нибудь образуется, легкомыслие и самонадеянность молодости? Не знаю, излечивался ли тогда туберкулез, если лечение начиналось на ранней стадии болезни. Но даже если не излечивался, то хотя бы жизнь продлевалась. Я думаю, что одной из причин была ответственность Чехова за семью. Он как взвалил на себя эту ношу, так и нес ее до конца жизни. А чтобы лечиться, нужны были деньги, а денег было мало, и главным их добытчиком был он, а не отец или старшие братья. Читаешь письма Чехова к брату Александру, который был старше его на пять лет, и возникает ощущение, что не младший брат пишет старшему, а наоборот. Александр был человеком талантливым, но слабовольным, у него случались запои. В одном из писем Антон Павлович строго отчитывает брата за его недостойное поведение в своей семье – видимо, насмотрелся, пока гостил у него в Петербурге. «Как бы ничтожна и виновата ни была женщина, как бы близко она ни стояла к тебе, ты не имеешь права сидеть в ее присутствии без штанов, быть в ее присутствии пьяным, говорить словеса, которых не говорят даже фабричные, когда видят около себя женщин. Приличие и воспитанность ты почитаешь предрассудками, но надо ведь щадить хоть что-нибудь, хоть женскую слабость и детей – щадить хоть поэзию жизни, если с прозой уже покончено». В этом же письме есть слова, которые меня поразили: «Лучше быть жертвой, чем палачом». Не принес ли Чехов себя в жертву семье? Хотя он сам ответил бы на этот вопрос отрицательно. Что теперь гадать задним числом, как все могло бы быть, но ведь не зря сказано: характер – это судьба.

Раневскую в «Вишневом саде» Ольга Леонардовна играла очень долго, более 35 лет. Изначально Раневская задумывалась Чеховым как пожилая женщина, и Ольге Леонардовне эта роль не предназначалась. Но потом она все молодела и молодела, и в пьесе ей, надо полагать,

не более сорока лет или чуть больше, если у нее дочь Аня, семнадцатилетняя девушка. Тогда было другое отношение к возрасту: женщина за сорок считалась чуть ли не пожилой. Когда Ольга Леонардовна впервые вышла на сцену в роли Раневской, она была моложе своей героини – ей было тридцать пять лет. Есть радиозапись фрагмента этого спектакля из аудиокниги «Ольга Книппер-Чехова», из серии «Великие исполнители». Запись сделана в 1949 году, то есть актрисе там уже 80 лет. В театре Раневскую она уже не играла. Это сцена Раневской с Петей Трофимовым, томительное ожидание известия о судьбе усадьбы и вишневого сада. Ни за что не подумаешь, что слышишь голос очень пожилой женщины. Думаешь – вот именно так говорили в Москве образованные люди в конце XIX – начале XX века. Веет непередаваемым ароматом давно ушедшей жизни... Если этот голос очаровывает, когда обладательнице его 80 лет, то как же волшебно он звучал, когда Ольга Леонардовна была молодой...

Эти заметки я начала писать задолго до планируемой поездки в Ялту. Так получилось, что я, прожив некоторое время в Ялте, всего один раз побывала в доме Чехова. Когда еще работала в «Интуристе», музей был закрыт на ремонт. Потом в один из приездов я побывала там, но это было так давно! И вот наконец я иду по крутой ялтинской улочке к дому Чехова. Сначала смотрю фотоэкспозицию, расположившуюся в специальном здании, а не в самом доме. Многие фотографии давно знакомы по книгам о Чехове, многие видела в Интернете. Среди них одна, которая поразила меня: на ней Ольга Леонардовна в черном платье сидит в кресле с выражением глубокой печали в глазах. Я видела это фото и раньше, на нем дата – 1904 год, то есть год смерти Чехова, но фото сделано до 15 июля или после? Оказалось – после, под фото подпись – «О.Л. Книппер-Чехова в траурном платье». Но раньше я не знала этого, лишь догадывалась, а теперь убедилась, что была права. Мне хотелось подарить музею свою книжку, в которой есть стихотворение «Чеховский мотив», а также еше два «чеховских» стихотворения, написанных уже после выхода книги. Я встретилась с Натальей Григорьевной Ничипорук, старшим научным сотрудником музея. Она встретила меня очень доброжелательно и приветливо, мы немного поговорили с ней. Меня провели по музею, но очень быстро, я ничего не успела почувствовать. Потом я сидела в саду, где до сих пор живы посаженные Чеховым кедры, бамбуковая рощица, кипарисы и где журчит ручеек, который так же журчал более ста лет назад, когда только еще появился этот белый дом, такой необычный, не похожий ни на один ялтинский дом, красиво-асимметричный и изящный.

На следующий день я поехала в Гурзуф, чтобы увидеть еще один музей Чехова, его дачу, купленную в 1900 году, а в 1901-м завещанную им Ольге Леонардовне, когда та была уже его женой. Этот небольшой домик принадлежал Ольге Леонардовне до 1958 года. В 1958 году она продала его художнику Мешкову, а впоследствии он стал принадлежать Союзу художников. В последний раз Ольга Леонардовна была в Крыму в 1954 году, наверное, и в своем любимом Гурзуфе побывала. Накануне в доме Чехова я узнала, что гурзуфский музей недоступен из-за каких-то киносъемок, но все же решила поехать хоть издали на него посмотреть. Но музей был открыт, никаких съемок там не было.

Маленький домик приютился на кромке высокого обрывистого берега. Перед домом – небольшая площадка с парапетом из дикого камня, калитка, у которой стояла по вечерам Ольга Леонардовна. За калиткой – крутой спуск к морю, уютная бухточка, камни, прозрачная вода. Видны Адалары – две скалы в море, одна из достопримечательностей Гурзуфа. В домике всего четыре комнаты – в трех из них разместилась фотоэкспозиция, и только одна является собственно музейным помещением, это спальня Ольги Леонардовны. В эту комнатку можно только заглянуть через небольшое окошко. Кого только не видели эти старые стены! Тут гостили родственники Ольги Леонардовны, артисты, писатели, музыканты. А сколько там уникальных фотографий! Издать бы альбом хоть с небольшой частью их, цены бы ему не было. А мне больше других понравилась та фотография, на которой Ольга Леонардовна с внучатым племянником Андреем Книппером, которого она очень любила. На фотографии очень пожилая женщина, ей тогда было уже около 80 лет, но глаза такие молодые, а в них столько любви и нежности к юноше, прижавшемуся щекой к ее щеке. Именно ему адресовано последнее из ее опубликованных писем, даже и не письмо, а всего несколько строчек, может, это была открытка, потому что написано это как раз в день рождения Андрея, за месяц до смерти Ольги Леонардовны. Если письмо сохранилось, значит, он любил свою двоюродную бабушку. Андрей Львович Книппер – ученый, академик РАН. Он умер совсем недавно, в 2010 году. В 1963 году у него родилась дочь, которую назвали Ольгой, таким образом, это была уже третья Ольга Книппер.

Я долго сидела на барьере из дикого камня, огораживающем площадку перед домом. Гурзуф мне кажется одним из самых живописных мест Крыма с его Аю-Дагом, похожим на медведя, лежащего на берегу, с его скалами-близнецами, с его уютной бухтой. С моря дул ветерок, сияло солнце, вода внизу была абсолютно прозрачной. В какой-то момент я испытала странное и необычное ощущение, которое и сразу вряд ли бы описала точно: как будто какая-то сила очень мягко подняла меня, немного подержала и как бы покачала на волнах, а потом бережно опустила. Может, души прежних хозяев этого домика почувствовали, что пришел человек, их любящий и помнящий?

В свой предпоследний день в Ялте я еще раз побывала в доме Чехова, на этот раз с полноценной экскурсией. Когда мы уже осмотрели комнату, в которой жила Ольга Леонардовна в свои приезды в Ялту, я попросила разрешения прочитать посвященное ей стихотворение, как раз был день ее рождения, 21 сентября. Конечно же, мне позволили это сделать. Я делала это не из тщеславия и вообще не для себя, я делала это для Ольги Леонардовны и Антона Павловича. Только вечером, уже лежа в постели, я осознала как следует, что это такое было – сразу, сгоряча, как-то не поняла. Это был счастливый момент жизни, который не забудется никогда, как не забудется венецианское окно с цветными стеклами в чеховском кабинете, резная дверь из кабинета в спальню, этюд Левитана на камине. В чеховском доме витал какой-то трудноопределимый запах, я бы назвала его ароматом вишневого сада, того самого, который расцвел здесь под пером писателя в 1903 году и который до конца жизни хранила в душе Ольга Леонардовна Книппер-Чехова.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

О. А. Рябов

ШЕФ-РЕДАКТОР

Андрей Иудин

МАКЕТ

Арсения Костромина

ДИЗАЙНЕР ОБЛОЖКИ

Анатолий Гришин

КОРРЕКТОР

Лев Зелексон

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Валерия Белоногова

Николай Бенедиктов

Дмитрий Бирман

Глеб Горбовский (Санкт-Петербург)

Ирина Горюнова (Москва)

Диана Кан (Новокуйбышевск)

Елена Крюкова

Захар Прилепин

Андрей Рудалёв (Северодвинск)

Роман Сенчин (Екатеринбург)

Евгений Эрастов

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Сергей Горин

Олег Захаров

Людмила Калинина

Александр Котюсов

Ольга Лисятникова

Владимир Седов

Выпуск издания осуществлен
по заказу
правительства
Нижегородской области

Издание осуществлено
при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
в Федеральной службе по надзору
в сфере связи, информационных
технологий
и массовых коммуникаций
ПИ № ФС77-60285
от 19 декабря 2014 г.

УЧРЕДИТЕЛЬ
ООО «КНИГИ»

Адрес редакции:
603057, Нижний Новгород,
ул. Бекетова, 24/2.
Тел. (831) 412-16-04
Рукописи принимаются в редакции
или по электронной почте:
jurnalnn@yandex.ru
Сайт журнала: www.jurnalnn.ru

Тексты для публикации присылаются отдельным файлом Word с указанием авторства, наименования произведения и краткой биографической справкой. Неоткорректированные рукописи с большим количеством ошибок не рассматриваются.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

При перепечатке материалов ссылка на журнал «Нижний Новгород» обязательна.

Подписано к печати 03.08.2018.
Выпущено в свет 24.08.2018.
Формат 70×108 $^{1}/_{16}$. Усл.-печ. л. 21.
Тираж 800 экз. Цена свободная.

Отпечатано в типографии
АО «ИПК «Чувашия»
428019 Чувашская Республика,
Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, д.13